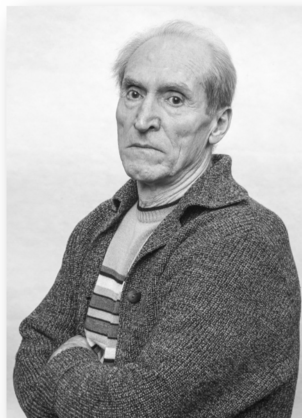


ОЛЕГ ЖДАН

*Не погибнет со мной**

Роман

Глава четвертая

Теперь, через тридцать лет, кажется, что молодежное движение того времени явилось и развивалось само по себе. На деле — все поколения и сословия болели переменами, как корью, каждый мало-мальски мыслящий человек строил и предлагал свои спасительные планы. Все испытывали потребность откреститься, очиститься, откупиться, проклясть и присоединиться. Ни тощая народническая брошюрка «Как должно жить по законам природы и правды», ни толстый роман Чернышевского ответить на свои же вопросы не смогли, лишь только формулировали то, что давно волновало многих.

Особенное было время: все недовольны, однако одни уповают на грядущую демократию, другие на сегодняшнюю полицию, на то, что государь проявит, наконец, державную волю и власть, завещанные ему от Бога, третьи... Много было таких, что считали: в самосовершенствовании спасение России, есть в истории человечества нетленный идеал — Христос, пойдемте к нему.

Но много было иных, что говорили: до демократии далеко, куда она заведет непонятно, до совершенства еще дальше, да и как мечтать о грядущем, если вот он, твой ближний, мерзко вопиет рядом о сегодняшнем, сиюминутном спасении от глада и мраза? Помочь ближнему прожить свою коротенькую жизнь, безразличную к грядущей свободе и совершенству, вот цель. Такая цель объединит и старого, и молодого, и богатого, и самодостаточного. Не пора ли вспомнить Второзаконие: «да не лишиши мзды убогого. В тот же день да отдашь мзду ему, да не зайдет солнце ему?..»

После крестьянской реформы, когда деревня вытолкнула из себя самых несчастных, неприспособленных к новой жизни, и десятки тысяч нищих, калек и убогих хлынули в города, побрели по бесконечным российским дорогам, трудно стало делать вид, что ничего не случилось. К воплям о милосердии тоже надо привыкнуть.

Тема нищеты и отчаяния стала даже модной: статьи, заметки, обзоры, очерки о бродягах, проститутках, калеках-перехожих, прокаженных, чахоточных публиковались в «Современнике», «Отечественных записках», «Духе христианина», «Православном обозрении», «Историческом вестнике»... Не этим ли объясняется, что так бурно начала развиваться общественная и личная благотворительность?

Со времен Петра и Екатерины Великой известны учреждения общественного призрения, ко времени Реформы их насчитывалось около пятисот в огромной России — чаще всего богадельни в церковных приходах, а уже

---

* Продолжение. Начало в № 3, 2014 г.

через десять лет более пяти тысяч. Еще через десять лет — десять тысяч. Нище- и сиропитательные дома, приюты для малолетних, странноприимные дома, убежища для несовершеннолетних девушек, впавших в разврат, общества попечения о больных и раненых воинах... Все это устраивалось большей частью на земские и частные средства. Жертвовали на народное благо и во имя очищения души князья и графы, бароны и баронетты, купцы и промышленники, члены царской фамилии, церковь, обедневшие и обогатившиеся дворяне, чиновники; жертвовали от нескольких рублей до сотен тысяч. Ну, а молодежи нечем было жертвовать — ринулась «в народ»...

Обыкновенно, наши историки и вспоминатели начало террора, что поразил Россию, относят либо к убийству Мезенцева, либо к выстрелу Веры Засулич. На самом деле он начался куда раньше. И направлен был не во вне, а внутрь, не на правительство, а на самих себя. После того, как образовалось то мнение, что все виновны и все обязаны к искуплению, невозможно было заявить: «не виновен». Виновны все, даже Миша Трофименко, хотя сам еле-еле выскребся из крестьян и не может себе позволить больше пятака на обед, тем более я. Уже не только нечто зловредное находили в дворянстве, но и нелепое, и смешное. Уже Иван Аксаков предложил дворянам торжественно и принародно сложить с себя это позорное звание. Уже стыдно было признаться, что лето ты провел не среди бурлаков, поденных рабочих, сапожников, золотарей, а среди братьев и сестер, с милыми родителями. Позорно было не знать имен и трудов не Цицерона, Еврипида или Марка Аврелия, а Бакунина, Лаврова, Ткачева...

Я в евангельское простодушие и христианские добродетели народа не верил, знал его нормальное своекорыстие, лукавство, не искреннее смирение, однако тоже оказался в Глуховском уезде нашей Черниговской губернии... Почему в Глуховском? Казалось, здесь буду выглядеть натуральнее: знаю народный говор, манеру одеваться в будни и праздники, ну и родной дом в сотне верст, если что...

Имелся и личный интерес: написать о народе. К этому склоняли меня и писатель Мачтет, вернувшийся из Америки после попытки устроить коммуну, и Ольхин, бывший мировой судья, а ныне адвокат и поэт — все мы подрабатывали в завалящем журнальчике — «Библиотека дешевая и общедоступная».

Нет, никакой мудрости я там не нажил.

Вот разве ненависть — мудрость?

Остановился я — как учитель — в деревне Нежевка, что в десяти верстах от Глухова, в доме Фомы Жданько, уделившего угол под школьный класс. Внешность Фома имел устрашающую: во-первых, был чрезвычайно высок и костляв, во-вторых, нос, рот, зубы, надбровные дуги — все было и неправильное, и крупное. Кроме того, был раздражителен, сварлив — черты мгновенно складывались в гримасу ярости, и даже нечастая улыбка казалась опасным лошадиным оскалом. И помахивал он в минуты удовольствия головой, как конь.

Выбирать, однако, не приходилось: дом пятистенный, просторный и пустой, как амбар весной. От всякой платы за обучение я отказался, чем сразу вызвал уважение и любовь сельчан, ребятишки бегали ко мне с радостью, и я уже подумывал, не бросить ли университет, не посвятить ли свою малую жизнь народу?..

Как вдруг неожиданное событие разом поменяло и мысли мои, и планы.

Перед первым укосом приехал из Глухова землемер делить заливной луг и уехал ни с чем: мужики не смогли договориться меж собой кому где и сколько. На другой день землемер опять явился, но не один, а с исправником и двумя солдатами. Как гуси загагакали на лугу. Больше всех кричал

Фома, пучил глаза, как цыган на базаре, махал костлявыми руками, как ветряная мельница. Пришел и я посмотреть, послушать. Пришел в самое время: исправник не выдержал, влепил Фоме оплеуху, а Фома тотчас возвратил ее землемеру, а там уж солдаты навалились на него с двух сторон. Кровь брызнула из крупного носа Фомы, он вдруг по-собачьи жалобно взвыл на весь луг — этого-то я и не вынес. «Что стоите? — крикнул мужикам. — Бей подлецов!» — и первым кинулся к солдатам.

Мгновенно все они — солдаты, исправник, мужики — оставили споры. Повалили меня на траву и... Пороли здесь же, на месте. Не знаю, сколько отсчитали розог и откуда они взялись — привезли с собой? — десять? двадцать?.. «Я дворянин!» — кричал.

Каков все же был дурень?

Когда поднимался с примятой травки, мужики ухмылялись и отворачивались, а шире всех Фома с распухшим окровавленным носом.

Не утешило меня и то, что к вечеру исправник перепорол всю деревню.

Остаток лета я провел у родителей. Возненавидел не только всех исправников — холопье мужичье стадо ничуть не меньше.

Больше «в народ» не ходил никогда.

О том, что Кибальчич вернулся в Петербург, я узнал вначале сентября от Мишеля — Михаила Трофименко, однокашника по гимназии и университету. Оказалось, Кибальчич поселился в гостинице «Московская» в роскошном номере, однако уже на следующий день подыскал комнатку на набережной Большой Невы. Я развеселился — так это было на него похоже. И прежде поселялся на день-два в «Московской», «Европейской», или, получив денежный перевод, звал на обед в какой-либо ресторан вплоть до «Ливадии» — вроде как испробовать иной жизни, мог отвалить лакею золотой полуимпериал, а через день садился на хлеб и воду.

Мишель с Кибальчичем встретились в Публичной библиотеке, куда принеслись, изголодавшись за длинное лето без журнального чтения. Мишель — из крестьян и пребывал в тот момент в плачевном состоянии, без гроша в кармане и крова над головой, Кибальчич и пригласил его в свое жилище, добавив хозяйке два рубля, кроме оговоренных восьми в месяц.

Тут я и помчался к нему. У Кибальчича была странная привычка: лежа на кровати, класть книгу на пол и читать, свесив голову. Длинные волосы при этом падали вниз, и картина получалась устрашающая, все пугались, кто видел впервые, а я обрадовался.

В квартире было пять комнат, две хозяйка оставила себе, а три сдавала студентам. Комнаты сообщались, отделенные от общего коридора лишь занавесками, потому он и не обратил внимания — мало ли, кто вошел? — и продолжал читать. На табурете, рядом с кроватью, стояла кружка воды и кусок ситника. Время от времени он наощупь отщипывал крошку и отправлял в рот — это не было признаком голода или бедности, а тоже привычкой, издавна знакомой мне.

Сел к столу, оглянулся. Ничего в комнате не было, кроме кровати, стола и стульев да еще замечательной керосиновой лампы-трехлинейки, которую он купил в минувшем году.

Через минуту-другую понял, что мой расчет на эффект обойдется дорого: Кибальчич мог читать час и два, не поднимая головы, пока не закончится либо книжка, либо корка ситника.

— Не надоело тебе? — спросил я буднично. — Такая хорошая погода на улице.

— Нет, — ответил. — Толковая книжица. — И поднял голову. — Ты? — Расхохотался.

Скоро пришел и Мишель, как всегда озабоченный, с саквояжиком, переполненном учебниками. Мишель — золотой человек, ни разу в жизни никого не обидел, всем услуживал, всех любил, а его все слегка презирали за чрезмерную скромность. Учился хорошо, старательно, но вечно жаловался на плохую память, неумение выражать мысли, на малые способности и ничего, кроме книг, в жизни своей не знал. Вот и теперь, как бедный родственник, присев к столу, начал листать учебник, а узнав, что собираемся к Болдыреву, решительно отказался, хотя ясно было, что голоден, как черниговский волк. Жил он исключительно уроками, но и здесь не везло, отказывали раз за разом — все из-за той же нелепой, уничтожающей личность скромности.

Впрочем, мы тут же забыли о нем.

Хозяйку звали Анна Васильевна Евсеева, была она словоохотливая женщина лет около пятидесяти, любопытная — тотчас явилась на голоса, и сразу же рассказала, что тоже грамотная, умеет немного читать, но не по-русски, а по-немецки, поскольку немка по национальности и родилась в Эстляндии, вышла замуж за солдата Сафона Евсеева и переехала в Петербург. Что Сафон работает сторожем на Финляндской железной дороге, зарабатывает мало — вот и принуждены брать студентов. А еще пожаловалась на дочку Машу: девице четырнадцать лет, вымахала под притолоку, а ленива, как барыня, помажет тряпкой в середине комнаты и до свидания, а все оттого, что дала ей воспитание в элементарной школе, что на Петербургской стороне. Однако, как же без воспитания сейчас, когда наступил такой грамотный век?

Говорила охотно, быстро, а кроме того еще и вопрошала ясными немецкими глазками: кто таков и зачем пришел? Причина любознательности известна: век еще и таков, что надо знать кто есть кто. В общем, обыкновенная петербургская таранта.

Вполне удовлетворив ее любознательность, мы и отправились к Болдыреву.

Там я рассказал, как провел лето.

Ну, а он рассказал об ЭнТэ.

— Кто же он? — спросил я, когда Кибальчич показал письмо.

— Не знаю. В академии его нет.

— Надо было вытолкать взашей.

— Да, п-пожалуй...

И увидел, что как раз в этом Кибальчич не уверен. Не без превосходства отметил, что в иные моменты я тверже характером, нежели он.

* * *

Казалось, ЭнТэ бесследно исчез.

Но однажды, когда Кибальчич был на занятиях, постучался в квартиру молодой человек в синих очках, хоть день был вовсе не солнечный, в фуражке с козырьком и пледом на плечах — столь обычном наряде тогдашней студенческой публики. Хозяйка студентам доверяла, никаких неприятностей от них не имела — ни воровства, ни разврата — доверилась и теперь, впустила гостя в комнату Кибальчича. Однако через минуту обеспокоилась: уж слишком торопливо нырнул в комнату, заглянула. Гость сидел у стола, листал книжку и одновременно огромным ножом нарезал колбасу и хлеб, запивал водой из графина. Такая обыденная картина Анну Васильевну успокоила, она вернулась на кухню, но, поразмышляв, насторожилась пуще прежнего: пришел

гость с пустыми руками, выходит, поедал колбасу и хлеб, которые она купила для Кибальчича. Однако и не в колбасе или хлебе дело, и не в ноже, а в том, что ел гость с замечательным аппетитом. У ее золовки, что жила на Подьяческой, полиция арестовала двух квартировавших студентов — тоже ничем не выделялись, кроме как аппетитом. Как тут не обеспокоишься? На этот раз увидела, что гость лежит на постели Кибальчича, курит трубку. Это ей понравилось. Трубку курил муж Сафон, отец и все мужчины в ее роду в прекрасной Эстляндии. Те студенты, что жили у золовки, курили табак, набивая в гильзы... и все же... Когда она снова заглянула в комнатку, гостя там уже не было. Вот теперь она испугалась по-настоящему. Когда исчез?..

На столе, усыпанном крошками хлеба, лежала записка:

«Кибальчич, я в Петербурге. Ждите».

Долго ждать его не пришлось. Он пришел в ближайшее воскресенье, когда Кибальчич и Трофименко заканчивали пить чай.

— Не ждали? — остановился в двери.

И Кибальчич обрадовался ему. Чувствовал все же вину, а появление ЭнТэ было прощением.

— Н-напротив, — ответил весело, — ждали!

День был дождливый, и плед на плечах ЭнТэ намок, он бросил его на спинку кровати, уселся и вопросительно поглядел на Мишеля.

— П-позвольте, я вас познакомлю, — сказал Кибальчич.

— Не надо. Терпеть не могу шапочные знакомства.

Мишель растерянно глядел на обоих, не понимая причины пренебрежения и готовясь обидеться. Наконец, догадался, что должен исчезнуть и забегал по комнате в поисках тетрадей, карандашей, билета в библиотеку. Собрался, шагнул к выходу и снова остановился: как уйти, не откланявшись?

— До встречи, — сказал Кибальчич, а ЭнТэ не повернул головы.

Пить чай ЭнТэ отказался. Поднялся, походил по комнате, выглядывая то в окно, то в общий коридор.

— Кто там живет? — кивнул на соседние комнаты.

— Первокурсники.

— К вам часто заходят?

— Нет... Только по необходимости. Удовлетворенно кивнул.

— Хорошо, если — по необходимости, — заметил загадочно. — Излишнее любопытство — большое свинство.

Кибальчич ожидал разговора перво-наперво о минувшем лете, готовился к обвинениям, однако ЭнТэ, казалось, вовсе забыл о том.

— Чем вы теперь занимаетесь, Кибальчич?

— Науками, — ответил. — Чем же еще?

— Из вас получится славный профессор,

— Н-нет, — возразил Кибальчич. — Я намерен заниматься обычной лечебной п-практикой.

ЭнТэ рассмеялся, и верхняя губа расслоилась.

— Порошки-клистиры?

— Что ж вы предлагаете?

— Ничего, — отрезал. — У меня вопрос к вам: можно ли оставить здесь кое-какой багаж?

— Что именно?

— Какая вам разница?

Кибальчич пожал плечами. Нечего было противопоставить бесцеремонности этого человека. Ну и в конце концов, он прав: разницы никакой.

— Оставляйте.

Затем расспросил о Мишеле: кто он, откуда, чем занимается. «Он славный человек», — сказал Кибальчич. «Не точно, — возразил ЭнТэ: — человечек. Почти, как вы. Но у вас еще есть шанс, а у него нет».

Кибальчич рассмеялся. Здесь, в Петербурге, безапелляционность ЭнТэ начинала забавлять. Ведь так просто выставить его вон.

— Как вы добрались до Петербурга? — примирительно спросил он.

— Я здесь, Кибальчич, и этим все сказано. Не люблю вспоминать пустое.

О злополучном письме, что переслал отец, Кибальчич решил не говорить. В конце концов, что — письмо? Отзвук минутного состояния.

— Когда вы принесете багаж?

— Скоро.

И они простились.

Багаж — два увесистых тюка, плотно упакованные в парусину и клеенку, ЭнТэ привез на извозчике спустя несколько дней. Выглядел он до крайности озабоченным, взволнованным. «Где ваш сожитель?» — спросил нетерпеливо, нервно. «Он перешел на другую квартиру». — «Так вы один? Прекрасно. Я зайду через несколько дней».

Конечно, было любопытно, что там, в этих тюках, и откуда они прикатили в Россию. Судя по упаковке — издалека...

Его поместили на втором этаже внутренней тюрьмы департамента полиции. Камера оказалась большая, светлая — на два окна, теплая. Стояла кровать с панцирной сеткой, плотным и чистым волосяным матрацем, лежали две перьевые подушки, две свежие простыни, новое байковое одеяло. Имелся и стол с ящиком-шуфлядкой, стул. Он улыбнулся, подумав, что за такую комнату не жалко и десяти рублей в месяц, вот только если бы не решетка снаружи окон и проволочная сетка изнутри.

Едва успел жандармский штабс-капитан составить опись наличным вещам Кибальчича и предложить переодеться в тюремное белье, тщательно выстиранное и просушенное, особенно хорош был халат — тоже новый, тонкого офицерского сукна, как принесли обед, и оказался он выше всех похвал: щи с мясом, жаркое из баранины, а на третье стакан молока. Да и по качеству, будто привезли его не из ближайшего трактира, а доставили, например, из кухмистерской Ее Высочества Великой Княгини Елены Павловны. Такой обед рядовой студент Медико-хирургической академии мог позволить себе отнюдь не каждый день. Правда, заключенным не полагалось ножей и вилок, но с таким мизерным неудобством можно мириться.

Пообедав, он разостлал постель и лег поверх байкового одеяла, улыбаясь тому, что приключилось с ним.

Скоро его пригласили на первый допрос.

Особенного волнения или беспокойства Кибальчич не чувствовал. Пока ясно было одно: попался ЭнТэ.

При обыске в квартире тюки тотчас распечатали и обнаружили много любопытного: 719 экземпляров газеты «Вперед», издававшейся, как известно, в Лондоне, 89 — брошюры «В память столетия пугачевщины», 12 экземпляров «Программы работников» Лассаля, семь «Писем без адреса» Чернышевского, а кроме того, девять свидетельств купеческих и мещанских управ на разные имена.

Увидев такое содержимое, Кибальчич подумал, что фронда ЭнТэ, возможно, имела кое-какое обеспечение.

Нашлось и у него самого нечто, вызвавшее дополнительный интерес майора Ширинкина: несколько экземпляров «Сказки о копейке», той же «Сказки о четырех братьях и их приключениях», «История одного французского кресть-

тьянина», статья «По поводу самарского голода», Memoire de la federation Jurassiene, L'internationale, а главное, рукописный «Манифест Коммунистической партии».

Впрочем, у кого из студентов не отыщется чего-либо, что не нравилось бы III отделению?

Процедура допроса не произвела впечатления. Возможно, майор утомился к вечеру: все же не каждый день обыск, арест, допрос. Возможно, дело это не сулило никаких открытий и, следовательно, радостей. Возможно, у него болел забинтованный указательный палец — перо майор держал средним и безымянным и потому записывал медленно. Товарищ прокурора Поскочин, что присутствовал на допросе, и вовсе трагически позевывал — время было всем отправляться по домам.

Не без усмешки Кибальчич вспомнил легенду, ходившую между студентами о том, что здесь, «в комиссии», имеется в полу потайной люк, через который в определенный момент преступник проваливается в подвал, а там его уже ждут двое *секуторов*.

Ни тюки с запрещенной литературой, ни Манифест Ширинкина и Поскочина не взволновали. Единственное, что вызвало их минутное любопытство — письмо ЭнТэ, которое Кибальчич не уничтожил до сих пор. На всякий случай показал, что автор письма — студент Киевского университета Николай Тимофеев, вместе с которым он проводил лето в Жорнице. После допроса Ширинкин с явным облегчением от окончания дневных дел зачитал постановление о заключении Кибальчича под стражу: ввиду доказанности обвинения его по 2-й части 252-й статьи Уложения о наказаниях, влекущих за собой лишение всех прав состояния, и на основании статей 416 п.6 и 421 Устава уголовного судопроизводства, и, согласно предложению товарища прокурора, Санкт-Петербургской судебной палаты Поскочина.

Состояние Кибальчича, кроме книг и конспектов, составляло одеяло с подушкой да еще керосиновая лампа, и он, улыбнувшись этой статье Уложения, сделал внизу помету: «Постановление мне объявлено 11 числа октября». Поставил разборчивую подпись.

Когда его в сопровождении двух жандармов с саблями наголо — один спереди, другой сзади — вернули в камеру, там уже ждал ужин: два стакана чаю и булка. Чай был остывший, но крепкий и сладкий, и булочка тоже хороша.

На следующий день и вовсе не пригласили на допрос. Утром он снова получил два стакана чаю и булку, не уступил вчерашнему и обед. А когда попросил книг из тюремной библиотеки, тотчас принесли — пусть и десятилетней давности — «Морской сборник» и «Русский вестник».

Отказали только в прогулке. Однако камера просторная, а если взобраться на подоконник, можно увидеть свободный мир — рядок тюремных карет, с задранными по-крестьянски оглоблями, арку с решетчатыми воротами. «Глазка» в двери камеры не имелось, можно стоять на подоконнике, не опасаясь быть замеченным коридорным часовым.

Еще выяснилось, что заключенным под стражу при департаменте не полагалось посещать бани. Ну, это и вовсе не имело значения, в бане он был не далее двух дней назад.

Снова обдумал меру вины и возможной ответственности за тюки и их содержимое, «Сказок» и Манифест. Нет, не нашел. Припомнил вчерашние показания: все ли говорил так, как надо? «Как появились тюки под кроватью, не знаю». Из приятелей, кроме вымышленного Николая Тимофеева, не назвал никого: появятся новые имена, «Дело» начнет расти, пухнуть, — лишнее время, а кому-то и беспокойство.

«Выходит, никто из приятелей вас не посещал?» — с иронией спросил Ширинкин. «Отчего же, посещали, — ответил. — Студент Носков пять дней назад принес связку белья для прачки. Имени ее я, однако, назвать не желаю». — «Чье имя?» — удивился Ширинкин. «Прачки», — твердо сказал Кибальчич.

Услышав такое, Ширинкин перестал писать, подул на больной палец и тяжело поглядел на Кибальчича, будто хотел сказать: «я умнее, чем вы думаете, господин студент», а товарищ прокурора впервые за время допроса подал голос: «Дело серьезнее, чем вам представляется».

Может, и правда не стоило иронизировать, в конце концов не личный у них интерес, и задавать вопросы — обязанность. Но сказано. По крайней мере, Поскочин перестал зевать, а Ширинкин оторвался от бумаг и посмотрел в глаза.

В тюрьме недавно закончили ремонт, дверь и окна выкрашены белой, а стены свежей охряной краской, не улетучился еще запах олифы. Впрочем, в его камере кто-то уже побывал. На стене, у окна, он обнаружил выцарапанную вкривь и вкось строку: «...кому судьба венец готовит...» — и неразборчивую подпись: Митя Ру... Эти строки Некрасова Кибальчич знал и улыбнулся: видно, спугнули узника или увели из камеры, недоцарапал. Похоже, совсем еще молодой человек.

Не вызвали его на допрос и на третий день. В камеру тоже никто, кроме жандармов с едой, не заходил. Пробовал требовать допроса, ответили: «Позовут».

Стало ясно, что идет следствие. Но кого департамент мог привлечь свидетелями? Хозяйку квартиры? Студентов, что проживали в соседних комнатах? Мишу Трофименко? Или причина в ЭнТэ?

Только в конце месяца, через семнадцать дней после ареста, состоялся второй допрос.

Как только он увидел Ширинкина и Поскочина, понял: что-то произошло. Майор стоял у стола, вольно расставив крепкие ноги, Поскочин сидел на подоконнике — и тени скуки или утомления не было в лицах. Глядели на него с доброжелательным интересом, пожалуй, и обрадовались друг другу. У майора за семнадцать дней зажил палец, и теперь он с удовольствием шевелил им, будто приглашая собеседника подойти ближе.

— Итак, господин студент, — начал он, — не желаете ли чем-либо дополнить ваши показания?

— К-каков вопрос, — осторожно ответил Кибальчич. — Н-не могу дополнить при всем желании.

Легкая и здоровая, даже легкомысленная, улыбка бродила по лицу майора, улыбка человека на своем месте.

— Может быть, вспомните что-либо о вашем пребывании в Липовецком уезде?

— Что ж я могу вспомнить? Т-только то, что показал.

— Подтверждаете, что студент, отдыхавший с вами в Жорнице, звался Николай Тимофеев?

Кибальчич молчал. Конечно, глупо было придумывать фамилию, не так уж трудно проверить.

— А не знакомо ли вам произведение под названием «Сказка о четырех братьях»?

— Знакомо, — тотчас отозвался, выигрывая время для ответа на первый вопрос.

— Знаете ли вы, что это противоправительственное сочинение?

— Да, знаю.

— Вы передавали «Сказку» кому-либо в Жорнице?

— Передавал. Одному к-крестьянину.

— Фамилию которого не желаете назвать? — подсказал Ширинкин и рассмеялся.

Поскочин тоже улыбался: по писаному развивался допрос. Улыбки говорили, что и еще кое-чем располагают они в этот раз. — А не знаком ли вам молодой человек, называвший себя Николай Тютчев?

Это и был главный козырь сегодняшней игры майора. Он замолчал, предоставляя Кибальчичу справиться с собой и подумать. Наконец, крупно прошагал к выходу и открыл дверь.

— Введите, — приказал в коридор.

Во все глаза глядел Кибальчич на человека, что появился в двери и вызывающе смело шагнул по ковру.

— Вас познакомить? — спросил Ширинкин.

Кибальчич улыбался. Огромное облегчение испытывал он. Он знал вошедшего, то был студент второго курса академии Николай Тютчев.

Прошлой зимой он приходил раз или два на занятия кружка политической экономии, который организовал Кибальчич, и при знакомстве представился дерзко и нервно: «Тютька. Сын потомственного дворянина. Закончил гимназию Молля». Такое у него оказалось прозвище — Тютька, и он не стеснялся его.

Выходит, ЭнТэ на свободе? Однако стало ясно, что следствие шло не только здесь, но и в Жорнице. Только там они могли узнать имя, которым назывался ЭнТэ.

— Мы знакомы, — ответил он. — Но этот человек не был со мной в Жорнице.

— А вы что скажете?

— Повторяю, — презрительно и гневно заговорил Тютька: — В Киевской губернии никогда не бывал, о местечке Жорница никогда не слышал. Военного врача Степана Кибальчича не знаю и знать не хочу. Лето провел в Симбирске, в имении отца. Все? Теперь я, надеюсь, свободен?

В прошлый раз равнодушие майора Ширинкина объяснялось не только усталостью и нарывающим пальцем, но и рутиной службы. Дело, которое ему поручили, казалось рядовым, унылым, как петербургский дождик осенью, и вдруг загадочные инициалы «NT», обнаруженные в письме Кибальчичу, повели в Медико-хирургическую академию.

И вот результат. Снова печаль и усталость выползли на его лицо.

— Уведите, — кивнул часовому.

— Бурбоны! — бушевал Тютька в двери. — Крысы гамазейные!.. Лакеи!

Ширинкин терпеливо глядел вслед. Принялся составлять протокол. Пора было избавляться от этого дела. Пусть его продолжают те, кто начинал.

На следующий день Кибальчичу объявили, что действие в Петербурге по его делу окончено, что подсудно оно Начальнику Киевского губернского жандармского управления и подлежит препровождению на его зависящие распоряжения.

Что вместе с Делом, согласно требования генерал-майора Павлова, подлежит препровождению в Киев и студент Николай Кибальчич.

Стало ясно, что не тюки с запрещенной литературой причина ареста, а «Сказка о четырех братьях», которую он подарил в имении брата бессрочно-отпускному солдату Василию Притуле. Еще через день студент Николай Сергеев Тютчев был освобожден на поруки отцу под залог в одну тысячу рублей серебром, а студент Николай Иванов Кибальчич отправился с двумя жандармами в Киев.

* * *

Вначале ноября в Петербург приехал и тотчас разыскал меня в университете брат Николая, Степан Кибальчич. Странно было видеть его в полковничьем мундире, с орденом Владимира четвертой степени в петлице, обычно громогласного, в себе уверенного, столь потерянным. Особенно жалко выглядел орден святого равноапостольного. Но и то, как сказано Великой самодержицей и учредительницей: «...сей орден никогда не снимать, ибо трудами оный приобретается...»

Он знал об аресте Николая, приехал повидаться и, быть может, помочь, знал и то, что опоздал: Николай уже содержался в Киевском тюремном замке. Об аресте брата сообщило ему анонимное письмо, которое он получил в ответ на свое с десятью рублями для Николая. Впрочем, он нисколько не сомневался в личности анонима — то был ЭнТэ. Показал мне это письмо.

В Малое Немирово Каменец-Подольской губернии, — значилось на конверте. — Его Благородию Господину Доктору Кибальчичу.

«Кибальчич, письмо, адресованное на имя Вашего брата, получено, но не Вашим братом, т. к. Ваш брат посажен в крепость. Деньги будут доставлены по назначению. Вы же поменьше глупите в Ваших письмах, которые можете посылать Вашему брату через III отделение Е.И.В.К.

Ваш... — начал было писать ЭнТэ и тут же с презрением перечеркнул несколько раз слово.

Благожелатель Вашего брата».

— Вы его знаете?

— Нет. Только и слышал от Николая.

Мы сидели на скамеечке в университетском саду, мимо торопились студенты, с интересом поглядывали на могучего полковника, а он гнулся к земле, чтобы не видеть их взглядов и терзал ладонью свои роскошные, как крылья на взлете, может быть, лучшие в Рыльском полку усы, превратившиеся за несколько дней в нечистую паклю.

— Я виноват, — сказал он. — Видел, что за фрукт, надо было сдать исправнику, что-нибудь нашлось бы за ним, это как пить дать.

Когда Степан приезжал в гимназию, я всегда остро завидовал Николаю. Тому, как глядели друг на друга, сдержанно обнимались, уединялись. Степан был старшим в семье, Николай младшим. Потому, наверно, и любил Николая особенной для брата любовью.

— Что же делать?.. Поеду, наверно, в Киев, — сказал он и, принимая решение, снова стал превращаться в сильного человека — появилась надежда.

— Уверен, что скоро все разъяснится, — сказал я.

— Как бы не так.

— Отец знает?

Степан кивнул.

Понятно. Законопослушному старику арест сына был серьезным ударом.

— Что Тетяна? — спросил я, вспомнив свое случайное увлечение.

— Не знаю, — сухо ответил Степан. — Не заходил к ним. Она тоже виновата. Николай должен был жить у нее.

В тот же день он уехал.

Киевский тюремный замок находился за городом, на Лукьяновке, и даже внешне хорошо соответствовал своему назначению: огорожен остроконечными бревнами и каменной стеной. Трехэтажная тюрьма, выстроенная буквой «П», была битком набита уголовными, а политические занимали два коридора на втором этаже.

Камеры уголовных открывали рано, едва рассветало, и тотчас они валились во двор: несли с соответствующими шутками параши, пилили и рубили дрова, катили из колодца на тачках воду в сорокаведерных бочках на кухню, в прачечную, пекарню, баню... Начиналась нормальная тюремная жизнь. Работали уголовные шумно, бодро, умело и всегда по крестьянской своей привычке торопились, будто перед переселением или отъездом. Имелось и женское отделение, двор под его окнами — самое оживленное место в тюрьме.

Политических выпускали на прогулку попозже, когда заканчивались основные хозяйственные дела и уголовных загоняли обратно. Однако прогулки короткие: по получасу два раза в день и не более, чем по два человека. Зато в своем коридоре можно было даже ходить в гости друг к другу. Надзиратели редко отказывались отпереть камеру, они и вообще благоволили к политическим. Большинство уголовных жили тем, чем кормила тюрьма, а политическим случались и богатые передачи, что-ничто перепадало и надзирателям.

Имелись на территории замка и другие постройки: крохотная деревянная церковь, баня, казарма, больничка на десять коек, мастерские.

Особенно охотно и дружно все — и политические, и уголовные — посещали церковные службы. Зрелище и действо то было яркое: молодой иерей с высоким, почти женским голосом и столь же женственными чертами лица и хриплый, густой хор с бритыми и битыми головами.

Были и иные преимущества в сравнении с тюрьмой департамента полиции. В тюремной библиотеке оказались самые неожиданные книги: университетские курсы высшей математики, геологии, «Основы химии» Менделеева, история Шлоссера, антропология Топинера, сборники государственных знаний — правоведение и даже Маркс под обложкой «Сельскохозяйственное дело» Ермолова... Имелись и учебники французского, английского, немецкого. Все это, понятно, не приобреталось на казенный кошт, а осталось в наследство от предыдущих узников.

Разрешалось и жечь лампу до десяти часов.

Кое в чем, однако, киевская тюрьма сильно уступала петербургской. К примеру, не щи и жаркое подавали к обеду, а рядовой всероссийский брандахлыст на первое и кашу с явными крысиными экскрементами на второе. Мяса же полагалось сорок два золотника на человека, из которых добрая треть не доходила до стола арестантов. Заржавевшей от постоянной сырости была железная кровать, а вместо панцирной сетки с чистым волосяным матрацем — доски и свалявшийся за долгие годы войлок, постельное белье с ветеринарным запахом креозота.

На первый допрос в губернское жандармское управление Кибальчича привезли ровно неделю спустя после прибытия. Все было, как обычно, законно и должно: от жандармского управления — адъютант, поручик барон фон Гейкинг, от прокуратуры — товарищ прокурора Свицкий. Те же, что прежде, оказались вопросы.

Впрочем, один из вопросов был неожиданный: почему он, Кибальчич, по дороге в Жорницу, на станции дилижансов в Голендрах, записался фамилией Яковлев?

Объяснил: без всякого умысла. Лишь только вследствие неудобства в произношении своей фамилии.

Гейкинг не поверил ему ни на одно мгновение. Однако его личная роль в этом дознании была формальной: дело переходило в ведение министерства юстиции, заниматься им будет какой-либо член судебной палаты, и поручик не желал вникать в эту историю. Излишнее рвение по пустякам вредит, а не помогает жить, в этом он убедился вполне. До сих пор азартно брался

за любые дела и что же? В двадцать пять лет — поручик. А Николя, его друг и сверстник, помощник начальника управления Павлова, который начинал дело Кибальчича, капитан.

Он, Николя, провел первичное дознание, как всегда, легко и быстро, не вникая в ненужные подробности, но и не упустив чего-либо важного, — так и надо работать. Ни к чему предлагать начальству то, чего оно не ждет. Три дня понадобилось Николя вместе с дорогой в Жорницу и обратно — и в Петербург полетела секретная телеграмма с требованием произвести обыск у студента Медико-хирургической академии Кибальчича. Отныне и он, Гейкинг, будет работать именно так: три дня и — прощай. Вопрос — ответ, и никаких углублений с подробностями.

А Кибальчича вопрос о фамилии, которой подписался в Голендрах, озадачил всерьез. Ничего уличающего здесь не было, но все вместе говорило о том, что география дознания расползается. Петербург, Жорница, Киев, Голендры... Ну и до сих пор не знал ни повода, ни главной причины к аресту. Что же произошло?

Скоро он узнал — что. Василий Притула дал почитать «Сказку о четырех братьях» пономарю Стефановичу. Стефанович почитал и отнес отцу Наркиссу Олтаржевскому. Отец Наркисс тоже прочитал и тотчас взволновался, сам отвез ее в Киев, вручил в собственные руки Его Преосвященства господина Митрополита. Митрополит передал губернскому прокурору, прокурор — начальнику жандармского управления генерал-майору Павлову — и дело было принято к неупустительному исполнению: в Жорницу воспоследовал капитан Николя.

Так много оказалось лиц причастных к его судьбе. Поначалу происходящее казалось нелепым и смешным. Из-за тоненькой брошюрки, которую одолеть смог, по-видимому, только пономарь, заволновался, заработал столь мощный аппарат... А ведь еще майор Ширинкин, товарищ прокурора Поскочин, инспектор академии Песков, пристав 2-го участка Выборгской части, хозяйка квартиры, студенты, жившие рядом, дворники, присутствовавшие при обыске в качестве понятых, жандармы, смотрители, надзиратели... И — чего не мог знать Кибальчич — уже дважды о его аресте и происходящем дознании, было доложено в Ливадию, Его Величеству. Естественно, в ряду иных арестов и дел.

Когда Гейкинг закончил составлять протокол, вошел капитан Николя и тоже захотел увидеть Кибальчича. И как только возник на пороге, Гейкинг вдруг понял, чем объясняются его успехи по службе: не умом, не особенной хваткой, не усердием, а единственно — выправкой. Трудно было отвести глаза от стройной, подтянутой, звенящей фигуры, от ясного и честного лица. Но совсем не зависть почувствовал Гейкинг, а радость — оттого, что этот человек — его друг. Николя тоже ответил дружелюбным взглядом. Прочитал толково и просто составленный протокол и на мгновение положил руку Гейкингу на плечо.

— Что значит «неудобство в произношении»? — обратился к Кибальчичу.

— Призовите ваше в-воображение, капитан, — ответил он.

Николя призвал и рассмеялся. Действительно, для писаря в конторе дилижансов юмор в самый раз. Хотя, если откровенно, не отвергали такой и в управлении. Даже генерал-майор Павлов. Пожалуй, тут больше ничего не найти.

Именно он, капитан Николя, обнаружил в Голендрах фамилию Яковлев, когда искал следы ЭнТэ.

Лицо Кибальчича располагало. Во-первых, Николя любил правильные черты — равно у мужчин и женщин, во-вторых, не было в нем ни робости, ни той упрямой страсти к противоречию, которую так охотно выказывают

все эти жалкие пропагандисты, попав в руки правосудия. Он с симпатией относился к сдержанным в страстях молодым людям. Он сразу почувствовал скудость содержания этой истории, ее никчемность и замкнутость на факте передачи брошюрки, и ехал в Жорницу скрепя сердце, поругивая в душе ничтожных пономаря и попа, а вдобавок оказалось, что спутником ему будет товарищ прокурора Соломаха — скучный, рыхлый, пожилой человек, с которым ни умных разговоров в дороге, ни мгновенных приключений с женщинами, которые только и украшают такие поездки. Кроме того, всегда с отвращением относился к дознаниям, в которых замешаны крестьяне — люди лукавые, скрытные, опасливые.

Так и оказалось. Сперва они, свидетели, притворялись, что ничего не помнят, не ведают, потом яростно уличали друг друга. Особенно раздражало, что приметы той книжки все называли разные. Василий Притула, главный свидетель, заявил, что была она в синей обложке, Николай Стефанюк — в желтой, Буймистренко — в зеленой, ну а отцу Наркиссу, слащавому патриоту, от страха почудилась в красной.

Капитан считал, что такие дознания, дело не только бесполезное, но и вредное. В любом государстве есть нижний порог оппозиции, она всегда массовая и выражает не столько инакомыслие, сколько присущую человеку неудовлетворенность жизнью, какой бы она ни была, и естественное желание перемен. Ее необходимо учитывать, но нельзя по каждому поводу приводить в действие государственную машину, в противном случае, государству грозит участь переродиться в полицейское, то-есть, бесконечно, по кругу контролирующее самое себя и оттого слабеющее, которое рано или поздно рухнет под ударами оппозиции действительной... Однако понимал он и то, что его размышления могут быть знакомы всем: от поручика Гейкинга до генерал-майора Павлова, и дело не в сознании простых истин, а в том, что нет такой силы, что была бы способна прервать инерцию, набранную государством за сотни лет. И если даже Государь с его великими реформами оказался бессилен перед этой инерцией, значит, выхода нет. Надо честно исполнять свой долг и понимать время, в которое довелось жить, как лучшее из времен.

Он ободряюще улыбнулся всем, в том числе и Кибальчичу, вышел.

Гейкинг с сожалением поглядел на закрывшуюся дверь. Скучным голосом зачитал вслух протокол, дал подписать Свицкому и Кибальчичу. Оставалось отобрать показания у брата Кибальчича и его отца, вызов которым — в Короп и Малое Немирово — он уже послал. Затем подытожить и передать на зависящие распоряжения генерал-майора Павлова.

Первые дни в Киевском замке Кибальчич чувствовал даже облегчение.

Приехав в Петербург из Коропа, он ожидал, что попадет в такой же котел, как в прошлом и позапрошлом году, когда сходки происходили едва не каждый день, и, казалось, ради них, а вовсе не для учения собралась здесь молодежь со всей России. Когда обсуждалось не только, как жить и что делать, что читать и как понимать, о чем думать, а и что есть, пить, носить, на чем спать российскому интеллигенту, чтобы не оказаться захребетником у народа. Мяса, к примеру, по мнению многих, есть нельзя, поскольку целые губернии голодают, бобровый воротник носить позорно, а цилиндр стыдно; то же и для женщин: мужская рубашка, прическа — прекрасно, платье с турнюром — мерзко. То было время, когда утверждения Бакунина, что в России столько революционеров, сколько учащейся молодежи, и что страсть к разрушению — страсть творческая, казались само собой разумеющимися,

а мнение Лаврова, что наука — единственная сила в переустройстве общества, сомнительным. Те, кого называли «троглодитами», в грош не ставили лавристов, то есть, образование, лавристы, в свою очередь, осмеивали «троглодитов» за нарочную дикость и немытые уши. Однако большинство было таких, что признавали все понемногу, и ничего — в целом. Кибальчичу правильным казалось рассуждение Лаврова. В самом деле, что, как не образование, поможет темной России?

Впрочем, до осени семьдесят третьего он спокойно наблюдал происходящее и только после ареста долгушинцев возмутился: за что?.. Было за что. «К вам, интеллигентные люди, которые вполне поняли крайнюю ненормальность современного порядка, к вам мы обращаемся, — говорилось в одной из прокламаций, — и приглашаем вас идти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства...» С того времени искал сходок, мнений иных, нежели свое.

Теперь, осенью семьдесят пятого, котел кипел более ровно, но появилась назойливая требовательность: что делал летом? что теперь? как дальше?

Причиной тому был готовившийся политический процесс, — около четырех тысяч молодых людей было арестовано по России. Казалось, что-то срочное, решительное надо предпринимать.

Что?

Ждали друг от друга ответов, поступков.

Каких?

Ощущение было такое, будто совесть каждого не чиста.

Но к таким ответам он, Кибальчич, был не готов.

Здесь, в тюрьме, тревожные вопросы отпали сами собой. Беспокоило лишь только предстоящее свидание с отцом и братом.

Свидание и в самом деле получилось памятное.

Когда часовой выкликнул его фамилию, он пилил дрова на тюремном дворе с татарином Хабибулаем, своим постоянным партнером в этом занятии. Разрешение работать во дворе было знаком особого доверия, и заключенные старались его оправдать. Уголовные сами себе подбирали напарников, политическим назначал смотритель, чаще всего ставил кого-либо из инородцев: татар, башкир, чувашей, из тех, кто плохо говорил по-русски.

Хабибулай ожидал суда за поджог, грозила ему многолетняя каторга, пребывал он всегда в загадочно хорошем настроении: пел вполголоса татарские песни, улыбался, если обращались к нему, и отвечал одно: «не понимай». Однако понимал больше, чем выказывал. Со временем, приглядевшись к Кибальчичу, твердить «не понимай» перестал, а в минуты особого доверия решался произнести несколько слов.

«У тебя жена есть?» — спросил в одну из таких минут Кибальчич.

«Нет жена. Хабибулай молодой».

«А отец, мать?»

«Есть-есть. Отец есть, мать есть».

«Поедем с тобой в Сибирь, Хабибулай?»

«Поедем. Хабибулай сильный, помогай тебе».

Но в иные дни пел громче обыкновенного и не отвечал на вопросы. Это означало, что Хабибулая обидели и нет у него больше доверия к русским людям. «Хабибулай не поедет. Хабибулай скоро жиг-жиг», — резко ударял твердой ладонью по шее.

В один из таких дней, морозный, ветреный, и выкликнули. Так, в драном полушубке, что выдавал смотритель на время работы, засыпанный снегом

и опилками, в валенках, подвязанных тряпками, вместо подошв, он и вскочил в комнату для свиданий. Наверно, внешний вид и сразил их: брата и отца.

Отец один только раз и посмотрел на него, встал, сел и больше уже не поднял головы, лишь только кивал на слова Степана. А Степан, упорно глядя в глаза, чтобы не замечать заросшей — два раза в месяц наведывался в тюрьму парикмахер — бороды, тряпок на ногах, улыбался и говорил громко о том, как получил приглашение явиться в Киев в жандармское управление, как встретился с отцом у Гейкинга, что Гейкинг, несмотря на молодость, человек серьезный, толковый, товарищ прокурора Свицкий тоже понравился... А потом — о поездке в Петербург и встрече с майором Ширинкиным, который сказал: «Найти бы «NT», все тотчас устроилось бы». Что ЭнТэ из тех людей, которых не укрывать надо, а ловить всем миром и в кандалы на всю жизнь, не долго раздумывая, вот и десять рублей, посланные ему, Николаю, где они? И опять письмо прислал — такое же, как предыдущее, без подписи, оскорбительное... А еще заходил в академию, повидал, между прочим, письмо водителя Музыкатова, который отдал десять рублей неизвестно кому, овца беспамятная, хотя, понятно, дело не в деньгах, — в порядках. Побывал и у начальника академии Быкова, обещал он содействовать в восстановлении Николая студентом, как только разъяснится эта история. А чтобы разъяснилась, надо поймать подлеца, который сбивает с толку людей, ест чужой хлеб и забывает сказать спасибо, получает чужие деньги и скрывает свой адрес...

Николай брата почти не слушал, глядел на отца, кивающего будто в забытьи, не смыслу, а в такт фразам Степана, и надеялся увидеть в его извечно недоступных глазах пусть неискреннее, пустое, но одобрение. Ободряя других, человек ободряет и свою душу, порой такой взаимный обман очень нужен.

Однако отец не умел выражать иное, нежели то, что чувствовал. Он и в самом деле не слышал Степана, а думал о том, почему младший сын оказался в тюрьме и есть ли в этом его вина. Чувствовал — есть. Но когда она появилась? Тогда ли, когда умерла мать его сыновей, и он закрылся от всех своим горем, а затем отправил от себя младшего сына к Максиму в Мезень, или когда вместо гимназии отдал в духовное училище, или когда настоял, чтобы в семинарии продолжил учебу, или, наоборот, когда допустил перейти в гимназию, но отказал в содержании? Нет, не таинственный «NT» виноват в том, что случилось, а он, отец, человек, заканчивающий свою жизнь, и потому бессильный помочь.

Настойчивый голос Степана беспокоил, произносил что-то пустое и бодрое, будто не знал, что на Руси дорога широка в тюрьму, а из тюрьмы тесна, и печать этой дороги человек носит всю жизнь.

Степан не умолкал: убеждал, требовал. Можно найти ЭнТэ, есть у них общие приятели, есть дома, где познакомились и встречались, надо назвать их тем, кто производит дознание, и тогда все развеется, позабудется, разве мало таких судеб и случаев, тюрьма на Руси не позор, а училище, надо лишь только быстрее вырваться отсюда любой ценой.

Они давно просрочили отпущенное им время, часовой дважды беспокойно заглядывал в дверь, но то ли произвели на него впечатление суровый старик в подряснике, полковничий мундир брата с Владимиром в петлице, то ли сунул брат рубль за терпение, — не торопил.

Наконец вошел, попросил закончить свидание.

Да, отыскал ободрение в донцах поблекших глаз отца. Даже улыбка, чего никогда не видел на его лице, появилась на бесцветных губах.

Все могло бы получиться иначе, если бы не тряпки на валенках и заросшее щетиной лицо.

Только сегодня, глядя на них, Кибальчич осознал, что он — узник. В передаче, которую оставили брат и отец, кроме иных припасов, оказалось много чаю и сахара. Это было славно. В тот же вечер они, политические, подарив по осьмушке фунта чаю надзирателю и ключнику, поставили в своем коридоре стол, самовар и весь вечер кутили, даже пели вполголоса старинные тюремные песни. Лучше всех пел ключник: и голос был сильный, и слова знал лучше других. Не пел только виновник торжества, Кибальчич: не владел таким искусством, но гудел, согласно открывал и закрывал рот.

Подарил осьмушку и Хабибулаю. Грустить начал парень: приближался его судный день.

Больше чем на неделю хватило чаю и сахару. Славно пожили эти дни.

И еще было одно замечательное свидание. Но уже весной, в марте. Катерина Зенкова пришла к нему.

На этот раз он выглядел вполне прилично. Приятели одолжили чистую рубаху, у смотрителя взяли на прокат ботинки, выбрали самый исправный халат. Опять же, накануне водили политических в баню, а после бани парикмахер выскоблил, как огнем выжег тупой бритвой усы и бороду. Лицо после такого сеанса горит аж до четырнадцатого дня, когда парикмахер явится в очередной раз.

Он вышел к ней — кум королю.

Она заплакала, как только возник на пороге, спутала все мысли и заготовленные слова.

— Ну что ты, Катя, — утешал ее. — По-моему, я не так плохо выгляжу. Посмотри на меня.

Конечно, отощал за полгода, посерел и ослаб, но не настолько же, чтобы проливать девичьи слезы?

Она трясла головой, утирала платочком и ладонями замечательно толстые золотистые щечки, сморкалась, и Кибальчич смущенно оглядывался; часовой, не получив на этот раз рубля за риск и терпение, не захотел оставить их наедине.

— Катя... Катя!

Впрочем, столь же бурно плакала она два года назад, когда ее впервые обозвали поповной — Анисим Жузовский, сын викарного архиерея Серапиона, впервые в то лето обратил на нее настойчивое внимание.

Так же отчаянно рыдала, когда ее впервые отправляли в епархиальное училище, и еще раньше, когда... Всегда плакала безутешно и горько, словно сейчас-то и начиналась главная драма и беда ее беззащитной жизни. Черные глазки сливались в щелочки, золотистые ушки совершенной формы наливались кровью, вспухала нежная шейка.

Однако означает ли все это, что родилась с глазами на мокром месте? Не может ли быть такого, что больнее, чем у других, отзывается на несправедливость или обиду душа?

Наконец успокоилась, улыбнулась.

— Очень хотела тебя увидеть.

Оказалось, что она уже замужем — на рождество сыграли их свадьбу. Живут в Чернигове. Свекор и муж приехали в Киев на прием к митрополиту, а она, грешная, пришла к нему.

Все же Катя понравилась часовому, и он добавил им несколько минут.

После свидания его отвели в камеру. Был первый по-настоящему весенний день, сияло солнце, во дворе тюрьмы стояли гомон и гвалт: всех уголовников вывели на работу — отводить воду, выкладывать дорожки из камней: близилась Святая Пасха, «Велик день».

Прошло полгода со дня ареста. Жандармское дознание закончилось, но прокурорское следствие еще не началось.

Семьдесят шестой год с первых дней выдался для Министерства юстиции трудным. Причиной тому был грандиозный процесс о пропаганде в империи, что потребовал сотен безотлагательных следствий. Кроме того, в каждом губернском городе копились и разбирались отдельные дела.

В результате только в конце сентября член Харьковской судебной палаты господин Ненарочкин получил секретное предписание начать предварительное следствие по обвинению студента Николая Кибальчича в государственном преступлении.

Ненарочкин, любивший работать так, чтобы новое дело лежало на столе, прежде чем будет закончено предыдущее, тотчас затребовал вещественные доказательства. Гейкинг, Николя и петербургские жандармы дознание провели поверхностное. В вещественных доказательствах Ненарочкин обнаружил рукопись, тетрадь из пяти листов почтовой бумаги — «Нечто о граде, продавшемся антихристу» — ни слова в дознании не нашел о ней. Опять же, не было произведено графологическое исследование рукописи «Манифеста коммунистической партии», хотя основания сравнить почерки — налицо.

Кроме того, осталось невыясненным, о чем беседовали Кибальчич и ЭнТэ с крестьянином Пасько, с помещиком Артамоновым, с учителем. Так ли уж мало знают о Кибальчиче соседи его по петербургской квартире: дворянин Лифляндской губернии Ререн, сын губернского секретаря Солодовников, крестьянин Демьянков? Представимо ли, чтобы молодые люди, живя по соседству хотя бы неделю, не познакомились, как они показали в дознании? И как особое присутствие правительствующего сената — дело, скорее всего, попадет в его руки — будет судить о преступности Кибальчича, если не выявлены его связи в Петербурге, участие в студенческой жизни, в кружках и сходках, если неизвестно, как учился, какие науки предпочитал, почему перешел из одного института в другой?

Много неясного оставалось за Делом.

Получив бумаги, он, как всегда и прежде всего, сравнил даты первого протокола и последнего, ареста обвиняемого и того дня, когда следствие перешло к нему. И, разумеется, увидел то, что ожидал. Торопливость в правосудии — последнее дело, но *тринадцать* месяцев, прошедшие со дня ареста... Тут уж никакие всероссийские процессы не могли служить оправданием, тут крылось нечто и вовсе безнадежное: в государственной идее, в русском характере... А впрочем, полно: барон фон Гейкинг и Николя — русские?

Причина, скорее всего, мистическая: в роке, тяготеющим над страной. Все, как было десять, двадцать лет назад, и никакие судебные реформы не помогут ей.

Седьмого ноября он прибыл в Киев. Предстоящая большая работа воодушевляла его.

Он был в расцвете сил, сорок исполнилось в минувшем году. К дальнейшей карьере не стремился, должность члена судебной палаты вполне удовлетворяла его. По крайней мере, кувыркаться перед искусившимися в интригах чиновниками был не намерен. В палате у него было прозвище «плугарь», и оно нимало не оскорбляло его. Да, старательный и добросовестный плугарь. И после его пахоты все сорняки оказываются вывернутыми наружу, а поле готово принять культурные семена. Нет, он ничего против всех этих социалистов, радикалов и нигилистов не имел. Довольно часто они вызывали личную симпатию, он во многом соглашался с ними, но он служил не только Государю и государству, а и юстиции. При всех нынешних и вечных несо-

вершенствах, юстиция стремится к ясности, а следовательно, к максимально возможной на сегодняшний день справедливости. Человек должен жить в согласии с ней, ну а если не согласен — ответственность берет на себя.

Причины нынешнего движения молодежи казались ясны. Слишком много и скоро предложил государь России, и поведение общества можно было сравнить с поведением голодного человека: хватали возникшую свободу, как хлеб. Нужна была постепенность, умеренность, к каждой новой реформе требовалось привыкнуть, проверить ее перспективы и последствия, переболеть. Естественно, истощенный разум не мог усвоить все вдруг.

Правительство долго не понимало, кто и где его новый враг. До сих пор — крестьяне, порой дворяне, а ныне — те, кто должен быть признателен, кто, благодаря реформам государя, получил и свободу, и возможность поменять жизнь. Однако сомнений не было: когда поймет и оценит опасность, *их* дело будет проиграно тотчас.

Он понимал, почему капитан Николя столь поверхностно провел дознание в Жорнице. Эти блестящие офицеры считают, что только в больших городах рождается инакомыслие, на самом же деле оно зарождается в провинции, там, где студенты соприкасаются с крестьянами, с русской жизнью, а города — отражение, зеркала.

Он уже мечтал поскорее увидеть подследственного. Очень много могло сказать даже лицо.

Однако встреча с Кибальчичем разочаровала Ненарочкина.

Этот, вдоволь походивший в упряжке рабочий конь, за двадцать лет службы не потерял, а развил в себе страсть к необычным людям. И чем значительнее встречался ему человек — равно политический или уголовный, — тем с большей жадностью въедался в обстоятельства и мотивы, в личность и окружение подследственного. Выкапывал из-под него землю, обрывал помочи, вытаптывал вокруг мертвую зону, и, когда заканчивал дело, суду оставалось только оценить факты и вынести меру наказания. Он валил их наземь напором, опытом, без жалости вскрывал душу, но никогда не торжествовал над противником: победа была естественным результатом правосудия и его профессиональной состоятельности. И чем труднее доставалась победа, опаснее попадалась личность, тем с большим сожалением он с ней прощался.

Последнее дело, которое вел, было уголовное, о кузнеце, вырезавшем в одну ночь половину волостного начальства. Богатырского сложения, упорный, умный, он долго не давался в руки, немногословно, но умело выстраивал алиби, большой огонь пришлось развести, чтобы сковать достойные цепи.

А предыдущее — политическое, тоже из ряда пропаганды в Империи, о студенте Киевского университета Иванове-Разумнике, устраивавшем сходки в деревне Изболоть под видом обучения грамоте — натурально с подложным видом. Стоило Ненарочкину лизнуть паспорт, как все стало ясно. То был простейший способ обработать чужой документ двухлористой известью и смыть щавелевой кислотой. Впрочем, Иванов-Разумник не отпирался, напротив, бравировал смелостью, насмешничал, развил сарказм за время следствия, как Салтыков-Щедрин. Ненарочкин не отвечал на его иронию, работал, выявлял связи и — победил.

Дело Кибальчича ничего интересного не обещало. Однако значение и смысл юстиции не исчерпывается сегодняшним днем, и если не разобраться в случившемся, кто скажет, что будет завтра?

Ненарочкин разделял людей на два типа: умственный и физический. Те, кто относился к физическому, вели себя тревожно, говорили плохо, сбивчиво, торопились или, наоборот, медлили, волновались, требовали предположений

о своей участи... Умственный — хорошо владели собой, говорили ровно и связно, мысль их опережала слово или, быть может, чувство отставало от мысли, — слушать, понимать и записывать их легко, но оценивать, отбирать зерна от плевел трудно.

Кибальчич явно относился ко второму типу, это стало ясно прежде первого слова: по взгляду, сложению, очерку лица, но тревожился он, волновался и молчаливо жаждал ответов об участи, как тип первый. Понятно, второй год в крепости, а до суда еще далеко... На вопросы отвечал охотно и дружелюбно, возможно, искренне считал себя невиновным. Тоже рядовой случай: порой человек не знает о своей вине. Для его же будущего блага эту вину следует выявить, доказать, объяснить.

Кое-что новое сравнительно с протоколами предыдущих дознаний Ненарочкин узнал при первой же встрече: рукопись «О граде, продавшемся антихристу» принадлежала студенту Медико-хирургической академии Тихону Руденко. Он писал ее для «Недели», а Кибальчичу передал для редактирования и поправок. Новое имя — вот что важно.

И все же владел собой Кибальчич неплохо. Только в самом конце допроса покорно спросил, как долго продлится следствие.

«Недолго, — ответил Ненарочкин. — Завтра же еду в Жорницу и Немирово».

«Передайте привет моему брату», — попросил, неуверенный, что имеет право на подобную просьбу.

«Передам».

Еще раз встретились взглядами. Да, второй тип. С некоторыми уклонами в первый.

В целом Ненарочкину нравились такие молодые люди. Но они отделяли себя ото всех старших поколений, брали на себя их — а следовательно, и его — некую вину перед Россией и историей, а вины Ненарочкин не чувствовал. Он жил, как большинство честных людей, желающих исполнять свой малый гражданский долг, не считал, что, заметив несправедливость, должен непременно и тотчас пожертвовать жизнью или хотя бы свободой. Аввакумовские натуры, быть может, и показывают возможные направления развития, но в каждый текущий момент приносят вред, а не пользу; показывая направления, сами же, своим нетерпением закрывают дорогу к нему.

Прокурорского надзора ради был командирован с Ненарочкиным снова Александр Иванович Соломаха. Перспектива второй поездки по тем же местам радости ему не доставила, тем более, что была памятна предыдущая, с капитаном Николя, с которым они за три дня возненавидели друг друга. Ну а Ненарочкину, с кем ехать, было решительно все равно, он одинаково мало придавал значения и личностям своих невольных попутчиков и прокурорскому надзору вообще. Они не были знакомы, но что-то неопределенное друг о друге слышали: один о том, что другой спит на ходу, другой — что первый землю копытом роет.

Вчера, седьмого ноября, Ненарочкин допрашивал подследственного, а сегодня постановил ехать. Почему сегодня, в дождь и промозглый ветер, а не завтра, какой смысл погонять лошадей вскачь, если торопиться некуда? Больше года просидел Кибальчич — не торопились, явился Ненарочкин — понеслись.

Увиделись и убедились в достоверности слухов: один — сонная тетеря, другой — сторожевой пес.

Ну хоть бы с утра выехать, так нет, сейчас.

Ехали крайне недовольные друг другом, и Соломаха, любитель послушать и порассказать, дал себе слово молчать — и молчал до самого Липовца. И оттого, что слово сдержал, настроение немного поправилось.

В Липовце, однако, пришлось заночевать. Тот жандармский франт, с которым Соломаха ездил прошлый раз, капитан Николя, тщательно просчитывал время выезда-приезда, чтобы засветло представиться какому-либо местному помещику и устроиться у него.

С Ненарочкиным пришлось остановиться на постоялом дворе — главном уездном клоповнике.

Проснувшись ночью от того, что клопы рвали на куски его теплое тело, Соломаха сперва рассвирепел от ярости, а потом обрадовался: точно так они рвали и Ненарочкина. Утром господин член судебной палаты выглядел озабоченным, поглядывал на Соломаху вопросительно и, наконец, поинтересовался:

— Как вас, извините, клопы не беспокоили?

— Нет, — ликуя ответил Соломаха. — Спал, как младенец.

— А я вовсе не спал. Черт знает что за безобразие...

После завтрака Ненарочкин вдруг решил побывать в Липовецком тюремном замке — понятно, настоящего конюха всегда тянет в конюшню.

Отправился. А через час явился возбужденный, обрадованный: оказалось, во-первых, в тюремном замке содержится Емельян Беспальченко, бывший повар доктора Кибальчича, за кражу у него денег, во-вторых, липовецкий уездный исправник собрал здесь все бессрочно-отпускные чины уезда, потому, возможно, здесь же находится главный свидетель по делу Василий Притула.

Соломаха не без уважения поглядел на Ненарочкина — нюх у него в самом деле был.

А Ненарочкин суетливо от предчувствия скорого успеха, сел писать Постановление:

«...свидетеля Беспальченко, вызвав из тюрьмы, теперь же допросить, а Липовецкого уездного исправника просить уведомить находится ли ныне в Липовце Притула, если же выбыл, то когда, куда именно и какого полка он бессрочно-отпускной».

Соломаха с любопытством заглянул в Постановление. Ах, какой почерк у Ненарочкина! С таким почерком не в Харьковской судебной палате служить, а выписывать направления в рай. А какая подпись! Мыслимо ли кому-либо еще так закрутить «Н» и таким легким бисером сыпнуть остальные девять букв!

Процедуру дорожного делопроизводства Соломаха знал, но сегодня показалась она особенно смешна: сам Ненарочкин приехал, сам себе вынес постановление, сам подписал...

Допрос бывшего повара, как и следовало ожидать, ничего нового не принес. С первого взгляда ясно — ворюга, а потому и осторожен, как кот: да, видел книжку, что передал брат доктора денщику Иващенко и Еремею Стефанюку, но неграмотен, не читал, а про что она — не слышал. Памятлив был, ушаст, зорок, все запомнил: кто когда уехал-приехал, в чем ходил, что за столом говорил, но как только касалось книжки — нет, не вникал. Двадцать семь лет ворюге, хитер, опытен, но и глуп: сидит сторожко, смотрит недоверчиво, подозревает, что и здесь козни доктора — не удается упечь за воровство, хочет засадить за «политическое».

Единственное — сообщил, что после отъезда Кибальчичей, ЭнТэ ходил в гости к сыновьям помещика Артамонова, к «панычам».

Так что Ненарочкин радовался зря.

Пришел ответ и от исправника: Притула призван на службу.

И опять Ненарочкин насмешил Соломаху. Велик и необъятен город Липовец! Из конца в конец не прошагаешь его за двадцать, а может, и за тридцать

минут! Лужа в его центре, как в Миргороде, и по одну сторону ее постоялый двор, по другую апартаменты уездного воинского начальника — как ее обойдешь? Надо писать, гнать нарочного и с нарочным же получить ответ. Воинский начальник сообщил, что Притула отправлен в Житомир для формирования подвижного лазарета 32-й пехотной дивизии.

Громкие события происходили в это время в Сербии и Черногории. Следовало поторопиться, как бы не пришлось догонять Притулу на Балканах, и Ненарочкин вынес новое постановление: срочно отправляться в Житомир.

Поездочка обещала быть интересной...

Однако здравый смысл все же вернулся к Ненарочкину. Поразмыслив, решил ехать сперва в Жорницу.

Здравый смысл, но не чувство меры.

Остановившись у Артамонова, он пошел к Марии Кибальчич, жене доктора, обнюхал комнату, где жили летом молодые люди, побывал даже в конюшне, где они передали книжку Гришке Иващенко, заглянул в дома свидетелей, проходивших по делу, в общем, вел себя, как жандарм. Следующие три дня Ненарочкин с утра до позднего вечера вел допросы, и Соломаха, вынужденный присутствовать и подписывать протоколы, одурел от уныния, скуки, с ненавистью и недоумением глядел на его бодрое, не знающее устали лицо.

Но было и кое-что интересное. Пономарь Стефанюк, донесший на Кибальчича отцу Наркиссу, поначалу с утра топтался под окнами, выступал меж крестьян как спаситель отечества, а после допроса исчез, так что на повторный пришлось его доставить из погреба. «Почему ты заинтересовался книжкой?» — пытливо спрашивал Ненарочкин. «Думал, занимательная и смешная». — «Ну и как? Смешная?» — «Нет». — «Но занимательная?»

Вот тогда пономарь и померк, нырнул в погреб. Известное дело — Россия. Скажешь, что не смешно — плохо. Не занимательно — еще хуже.

Тут надо бы вмешаться Соломахе — не имел права Ненарочкин на такие вопросы, но уж больно противен пономарь, пускай постучит костями.

Озадачены были все в Жорнице, не ожидали повторных, после приезда капитана Николя, допросов. Тот же Артамонов, у которого остановились, тревожился, угождал за обедом и ужином. «От моих детей, Леонарда и Виталия, они были далеки». Вот в чем причина скрываемого волнения. Ладно, будущее покажет далеки ли и насколько. «Почему товарищ Кибальчича часто приходил к вам?» — «Единственно, ради чтения газет и журналов. Я — единственный здесь, кто выписывает «Дело» и «Отечественные записки».

Не волновались только отец Наркисс Олтаржевский — исполнил долг перед государем и духовным начальством, и Миша Буймистренко, сын крестьянина Григория, парнишка двенадцати лет. «Увидел у Притулы книжку, что за она? Читал-читал и не дочитал». — «Не интересная?» — «Нет».

Ничего нового не сообщил и Семен Пасько, лишь только еще раз рассказал, как его высекли розгами. То же и Стефанюки — Николай, Иван, Владимир и Еремей — учитель Трусевич, однодворец Герасим Дониковский. Все односельцы, памятуя допросы капитана Николя, с порога твердили, какая была книжка — красная, синяя или зеленая, будто поиски шли пропавшей «Сказки».

Только через три дня Ненарочкин и Соломаха прибыли в Малое Немирово, где квартировал 12-й стрелковый батальон Рыльского полка. Доктор Кибальчич на вопросы отвечал обстоятельно, но нетерпеливо, явно подчеркивая голосом, что не видит смысла в повторном допросе, и только привет от брата расположил его. «Боюсь, не скоро увидимся, — сказал с грустью. — Похоже, скоро отправимся на Балканы...»

А вот Иващенко, денщик доктора, очень обрадовался, узнав, что Емельян Беспальченко все еще сидит в липовецкой тюрьме. Оказалось, именно он донес на бывшего повара, когда у доктора пропали деньги. Всегда знал — ворюга. У него, Иващенки, тоже спер три рубля лет пять назад. Кто же еще?

Василия Притулу они разыскали в Житомире через штаб 32-й пехотной дивизии. Сняли обычный допрос.

Между прочим, и здесь, в подвижном лазарете, происходило нечто им, штатским, неясное. Непривычная бодрость, готовность сквозили в лицах, отрешенность от будничных дел. И в самом деле похоже было, что скоро — война...

К концу поездки Ненарочкин, хотя по-прежнему исправно писал протоколы и самому себе постановления, изменился: устал. Теперь можно бы и поговорить с ним по-человечески, послушать и порассказать, но — вышел срок.

Пятнадцатого ноября они возвратились в Киев.

Накануне суда, пятнадцатого дня ноября, повесился Хабибулай. Тюрьма готовилась к зиме, дров ломовые извозчики навозили гору — там, за бревнами, на веревке, что уронил извозчик, и нашел Хабиб, скинув полушубок, выход на желанную волю. Пилил с башкиром Хурзаевым и вдруг метнулся за бревна, будто по малой надобности. А еще час назад прибегал к женскому отделению, договаривался с Машкой Митрюхиной пожениться в Сибири.

Увидел оброненную веревку?

Всех заключенных — и уголовных, и политических — разогнали по камерам, тело освидетельствовали и уволокли.

В тот час и явились Ненарочкин и Соломаха зачитать Кибальчичу показания свидетелей. Печальное событие, но откладывать дела Ненарочкин не привык.

Кибальчич равнодушно выслушал их.

— Есть ли у вас возражения?

Нет, особенных не было.

Ненарочкин принялся составлять заключительный протокол.

— Жаль Хабиба, — произнес Кибальчич. — Знаете, отчего он повесился?.. Много возражений имел в душе.

Ненарочкин на секунду оторвал легкое перо от листа. Что ж, правильно. Именно так. Больше возражений, чем согласия, больше неверия, чем надежд. Самоубийство — не редкий случай в тюрьме. И, как правило, в первые дни после ареста или — перед судом. Но велика ли потеря для человечества? А если с позиции чистой гуманности: что сулила ему дальнейшая жизнь?

Протянул Кибальчичу протокол:

— Запишите ваши возражения — все, какие есть.

Было в этой истории нечто неясное. Весьма желательным казалось доследование. А чтобы получить его, Кибальчич должен был возразить. Ненарочкин даже подсказал — как: «Манифест коммунистической партии» лежал не на комоде, а в тюках. Там же и «Memoire de la Federation Jurassiene, L'international». О том, что разыскивает полиция, узнал от инспектора академии Пескова, но не чувствуя за собой вины, не уклонился от встречи с ней.

Опасливо покосился на Соломаху: не станет ли, недреманое око, заявлять свое особое мнение? Нет, посапывает и молчит. Впервые почувствовал расположение к этому рыхлому и ленивому толстяку.

Дело на доследование Ненарочкин послал. Но о Тихоне Руденко, авторе «Града, продавшегося антихристу», не упомянул. Кто знает, какую цепочку вытянул бы новый человек... Время от времени приходила в голову старая-

престарая мысль, что юстиция все же не сама по себе. И законы ее так же временны, как общество или человек.

Хорошо бы поехать на доследование самому, но три тысячи верст от Киева до Петербурга, не даст начальство денег на такой путь...

А в общем, совесть его и перед юстицией и перед подследственным чиста. Можно было возвращаться в Харьков, а Кибальчичу — ждать.

Глава пятая

Как бы мне объяснить положение молодого человека в тогдашнем Петербурге, если гражданское чувство ему не чуждо?.. Прежде всего, он знал, что наступает главное время, особенная эпоха, что такого не было и не будет, и если он прохлопает ее, то прохлопает жизнь.

Позорно было думать о себе, а не о России, невозможно желать себе удачи, успеха и справедливости, не связывая их с народом. Само слово «народ» казалось сладким, обнадеживающим, как, наверно, сладкими и обнадеживающими были для французов понятия равенства и братства в их великой романтической революции. То же и мне, как только остыли рубцы от розог и забылась ухмылка на окровавленной роже Фомы. Каждый считал себя явившимся в этот мир не случайно. Казалось, будущее взирает на нас с вполне достижимой высоты.

Человеку надо куда-то карабкаться. На Руси привыкли жить плохо, и потому богатство — цель привлекательная, но не доступная, а нравственное — доступно и зависит от нас самих.

Нет, время первого энтузиазма, замкнутых коммун, где ели кошек материализма ради, так же, как и время летних походов в народ, уже миновало. Уже мы знали, что мужик недоверчив, неповоротлив, косен, что слово исправника для него важнее слова студента, но от такого знания нисколько не убавилось желания открыть ему заспанные глаза, встряхнуть кости в голодной шкуре, заставить возопить о справедливости, а может, подвинуть к действию. Уже мы страстно ждали, чем закончится многолетнее сидение в тюрьмах наших товарищей — по делу о пропаганде в империи, и слово «империя» казалось анахроническим.

Во всяком движении есть событие, после которого оно либо затухает, либо, несмотря ни на какие преследования, начинает быстро развиваться вопреки логике, опасности, очевидности поражения. Если бы тогда, у Казанского Собора, правительство не разогнало студентов, не похватало, кого успело схватить, не начало этот позорный процесс, движение было бы иным, мирным. Молодежь поняла, что с ней намерены говорить только силой. Прокурору Жихареву, который придумал этот процесс, Россия немало обязана тем, что вскоре началось и произошло. Одно дело, когда судят пяток в Киеве, десяток в Москве или Петербурге, одних зимой, других осенью — совсем иное, *если сто девяносто трех* и всех разом. Тут уж к ответу призвано ни много, ни мало, а поколение. И что же ему, поколению, молчать?.. Именно тогда совершило правительство главную ошибку. Вместо того, чтобы попытаться привлечь молодежь, за ней погнались с лаем и улюлюканьем. Но как было не понять, что гонимому ничего не остается, кроме самообороны, а значит, и нападения?.. То было первое поколение, которому оказалось мало чести чувствовать себя подданными Российской короны, которое поняло, что история — не рок, а дело рук человеческих, почувствовало себя гражданами... Совместное сиденье в тюрьмах перезнакомило их и сплотило, выработались новые ценности и, конечно, характеры. Ну, а главное — был открыт счет.

О, если бы в те времена нашелся такой политик, как граф Лорис-Меликов! Он пришел поздно.

Организовал и я небольшой кружок молодых литераторов, взялся толковать о роли литературы, о том, почему нам до сих пор дорог Николай Алексеевич Некрасов и уже не мил Тургенев, почему интересен Успенский и значительно меньше господин Достоевский. Привлек в свой кружок Ольхина и Мачтета, мечтал превратить его в общепетербургский, эдакий полулегальный, где мы дискутировали бы вопросы и общечеловеческие, и политические, как вдруг оказался в тюрьме. Странное, знаете, состояние, когда ты еще вчера летел из конца в конец Петербурга, спешил, опаздывал, а сегодня — попалась мышка в картонный ящик, прижалась чутким носиком в угол: какой из четырех безопаснее?.. Очень высокие потолки оказались в Литовском замке, и ощущение было такое, будто именно оттуда исходит опасность.

Я оробел. Много ли надо в России, чтобы законопатить человека лет на десять-пятнадцать или выкинуть из столицы на окраину империи, а империя у нас — ого?

Однако, поразмыслив, пришел к выводу, что никакой вины за мной нет. Кружок? Разговоры о литературе и будущем? Но кто ж в России о будущем не говорит? О чем еще говорить, если не о будущем? Я даже возгордился своим нечаянным заточением. Дескать, серединный человек редко попадает в политическое узилище, они удел лучших, избранных...

И только через неделю-две, когда понял, что моей особе не придают значения, но и не собираются отпустить, впал в уныние. А из уныния в бешенство: как смеете меня держать? Почему? Ответила мне от имени правосудия ленивая рожа коридорного часового: чего, барин, неймется? Сиди.

Дал знать о месте моего пребывания Петру Александровичу и скоро получил письмо. Было оно, как обычно, лукавое, эдакое партикулярное, но и загадочное...

«...тюрьма, мой друг, древнейшее изобретение человечества и мало изменилась за свою историю. Когда-то яма, ныне крепость, замок, каземат. И эта неизменность, между прочим, говорит в пользу совершенства ее идеи. Замечу: общественная идея, доведенная до совершенства, близка к абсурду, а потому не оставляет человеку никаких надежд. Однако власть абсурда тоже не абсолютна: есть шанс разрушить его, если привлечь здравый смысл... Читайте, думайте и не трещите. Тюрьма любит тишину и покой...»

Описывать свое трехмесячное заключение не стану. Скажу только, что совет Петра Александровича принял к сведению и был вознагражден: Ефремов нашел людей, которые просили за меня.

Благополучно выйдя на волю под надзор полиции, я почувствовал себя совсем иначе, чем прежде. Меня, пострадавшего, приглашали в самые разные кружки и на сходки, бурно приветствовали и поздравляли. Я стал популярен и находил в том немалую сладость. И когда в феврале пригласили выступить на балу художников в пользу сосланных и арестованных студентов, я согласился. А на следующий день был арестован опять.

Теперь уж Петр Александрович не смог помочь.

Что ж, Олонецкая губерния — не худший вариант...

* * *

Вдруг его начала мучить мысль, что мог уклониться от ареста, но сам пошел в полицию, уверенный, что вины нет. Утром того дня, второго октября, он явился в академию позже обычного. Первой парой стояла лекция

по физиологии, читал ее профессор Цион — один из самых скучных людей и равнодушных к предмету преподавателей. Глупо было бы сидеть два часа, вяло слушая монотонный голос. Он поступил умно: проспал до девяти, плотно позавтракал, а, явившись, прошел в академический сад. Там увидел, что не одинок: толпились и расхаживали по дорожкам еще десятка полтора единомышленников. Настроение, превосходное с утра, подскочило еще на градус.

— А вот и Кибальчич, — произнес один из гуляющих, Никита Оржих-Оржевский. Маленький, крутолобый, в сапогах и шляпе а-ля Гарибальди он производил комическое впечатление. Вообще-то студентам академии полагалась форма, но редко кто носил ее. И почти все отрастили за минувшее лето волосы до плеч — время, когда исключали за длинные волосы, уже миновало. Держу пари, вчера он хорошо провел время, почему и опоздал на лекции.

— П-пари тебе не поможет, Жих, — добродушно ответил Кибальчич. У Никиты было два прозвища: «Ор» и «Жих». — Проще попросить взаймы.

Оржих был игрок и, проигравшись, вечно и у всех спрашивал денег.

А время Кибальчич провел, действительно, хорошо, чем и объяснялось повышенное настроение. В сентябре он организовал среди первокурсников кружок самообразования, в котором предпочтение отдавалось политической экономии, и вчера втолковал кружковцам, а главное, сам себе уяснил марксову мысль о том, что экономические отношения и формы лежат в основе всех иных общественных форм. Мысль простая, ясная, но сам он тоже, только добравшись до «Капитала», освоил и оценил ее.

Оржих-Оржевский напоминание о своей страсти понял, как комплимент, заулыбался, а академический письмоводитель Музыкатов, что стоял тут же, раскрыв рот в ожидании хоть какой-либо завалящей шутки, громко и с опозданием захохотал. Музыкатову было около тридцати, но вечно тянулся к студентам, искал себе среди них друзей. Однако первокурсники его остерегались, старшекурсники пренебрегали — ходили слухи, скорее всего, наветные, о его связях с полицией, и только третий курс допускал и привечал.

— Вот Музыкатов, — продолжал Кибальчич. — Он тебе не откажет.

Степень внимания, на которую претендовал письмоводитель, была превышена, и Музыкатов загрустил.

— Нет, конечно, не откажу, — печально согласился он.

И тут все увидели, что по аллее торопливо шагает инспектор Песков.

— Я вас ищу, Кибальчич, — сказал он. — Вашей незаурядной личностью интересовалась полиция. Как вам это нравится?

— Та-ак... — обрадовался Ор Жих. — Что я говорил?

— Чепуха какая-то, — отозвался Кибальчич.

— Да уж не знаю, — инспектор поморщился: не было случая, чтобы студент, которым интересовались, согласился: да, разумеется, давно пора. — Прокурор Выборгской части приходил.

— Какая честь, — улыбнулся Кибальчич.

— Вы не иронизируйте, — тотчас сказал инспектор, поскольку ирония падала и на него. — Я бы на вашем месте сходил в часть и выяснил. Всегда лучше выглядишь, если приходишь сам, хуже, если ведут.

Посещение академии полицией и прокурором не столь уж редкий случай, и если бы речь шла о ком-либо другом, например, о том же Оржевском, что словечка не вымолвит в простоте, инспектор ограничился бы коротким сообщением, а там — как знаешь... Но Кибальчичу он давно симпатизировал, отчасти за ясность в общении, отчасти, что не причинял неудобств: не шумел на студенческих сходках, не стремился в распорядители касс взаимопомощи, библиотеки или, там, столовой. А еще за то, что одинаково держал

себя и наедине, и в компании, хотя... Ирония, прозвучавшая сейчас, дань им, студентам.

Песков нахмурился, пошагал обратно.

— А ведь тебя, Кибальчич, посадят, — уверенно сказал Никита. — За что? А просто так, для назидания. За что упекли Затворникова и Фермера?

Но все же. Поименованные студенты устроили принародную читку первой главы Манифеста...

Никакой вины за собой Кибальчич не чувствовал и поэтому спокойно отправился на лекцию. Конечно, любопытно. Однако не настолько, чтобы бежать в полицейскую часть. На лекции мысли тоже нет-нет да и возвращались к сообщению инспектора. Может, стоило сходить?.. Если — прокурор, похоже, интерес не случайный?

И, столкнувшись на перерыве в рекреации с Песковым, который опять вопросительно поглядел на него, решил идти. Просто интересно, в конце концов. До сих пор полиция им не занималась.

Ближе к академии 2-й участок Выборгской части, туда и отправился. И, странное дело, вины не было, а волнение, беспокойство чувствовал. А увидев пристава — высокого, грузного, сердитого — еле выговорил от заикания свое имя.

Нет, равнодушно ответил пристав. Таким не интересуемся. Обратитесь в 1-й участок. Прямо, налево, направо.

Вышел на улицу и рассмеялся. Нет, полиция — это сила. Чуть ноги от страха не отнялись.

В 1-й участок он не пошел. Оказавшись на улице, вспомнил тюки ЭнТэ и быстрым шагом направился на набережную Большой Невы. У дома увидел полицейскую карету. В этой карете его и увезли...

В середине декабря в Киевскую тюрьму проникли слухи о пожаре в доме министерства юстиции и о демонстрации у Казанского собора. Пожар в родном министерстве — это приятно. Поговаривали, что сгорели все бумаги у помощника правителя канцелярии барона Корфа, а еще парадный вицмундир в шкафу, и барон очень убивался. Граф Пален, министр юстиции, неистовствовал, топал на Корфа коротенькими ножками, визжал, как мясник, у которого украли свиную тушу, принародно и со слезой расцеловал брандмейстера, что первым ринулся в огонь, и отвалил пожарным за храбрость тысячу рублей. За пожарных порадовались вдвойне.

Слухи о демонстрации, несмотря на избиение студентов и аресты, тоже были отрадными. Самое интересное — знамя над толпой: «Земля и Воля». Что это, новая организация со своим лозунгом или случайный отголосок той, начала шестидесятых?

Ну и конечно, известия о войне на Балканах, о добровольцах из России во главе с генералом Черняевым. Казалось, все эти события — пожар, демонстрация и война — неким образом связаны между собой.

Был слух и другого характера: в Одессе социалисты совершили страшное по жестокости покушение — разбили череп и облили лицо серной кислотой некоему Гориновичу, которого посчитали предателем. Однако Горинович остался жив: обезображенный, безглазый ходит по городу, как вечное проклятие и укор.

Жестокость была непостижимой. Оправданий покушавшимся быть не могло. Ничего, кроме отвращения, этот акт революционной справедливости у Кибальчича не вызвал. Что общего у него с ними? Ничего.

Когда там же, в Одессе, год назад они убили шпиона Тавлеева, хотелось верить, что это — случайность, жестокий порыв, необдуманная месть.

Не хотелось, что — метод, система. Злом невозможно погасить зло. Путь зла долгий, непредсказуемый и приводит к еще большему злу. Зло не расходуется, а накапливается, производит само себя. В отдельно взятый момент оно может казаться необходимым и справедливым, а порой и выглядит так, будто оно добро. Но добро покойно и вечно, а зло минутно и требовательно — нельзя подчиняться порыву и мстить. Нельзя отнимать у людей то, что невозможно через минуту возвратить, то есть, жизнь.

Количество политических в замке постепенно увеличивалось, одиночек уже не хватало, и в камеру Кибальчича подселили Романчука. Был он небольшого росточка, мелок костью, моложе на два года, однако держался с превосходством, будто и сильнее, и старше. Арестовали его на сходке киевских железнодорожников: открыл пальбу, ранил одного из жандармов. Ему грозила многолетняя каторга, и, выслушав историю Кибальчича, Романчук снисходительно улыбнулся.

— Вы случайный человек в тюрьме, — произнес. — Но в Сибирь поедете вместе со мной.

Все в поведении Кибальчича вызывало у Романчука возражения, даже занятия языками, химией, математикой.

— Революционеру не надо так много знать, — утверждал он.

— Я не революционер.

— А кто же вы?

— Арестант.

— Глупо. Вам двадцать третий год, а вы не определились.

Сам он не мог просидеть над книгой более часа.

Романчука ничуть не смущала перспектива каторги. «Сбегу, — говорил он. — На первом же этапе сбегу». Иногда он брал у Кибальчича уроки французского: пригодится. Но дальше «как пройти» или «сколько стоит» с сильнейшим малороссийским акцентом дело не двигалось.

Кибальчича тоже время от времени одолевало отвращение к книгам. Бессмысленным казалось заниматься, не зная завтрашнего дня. С усилием переворачивал страницу.

Романчук дважды в день, утром и вечером, занимался гимнастикой: бегал по камере, приседал, прыгал, превратил кровать в гимнастический снаряд. «Кибальчич, жалкий вы человек, прекратите читать, подумайте о своем здоровье. Выйдете отсюда инвалидом. Революционный кодекс требует физического совершенства!»

В Петербурге у Кибальчича, как у многих, стояла под кроватью пудовая гиря, каждое утро пыхтел, бросая ее то левой, то правой рукой, терзал себя на турнике, что стоял во дворе дома.

Но совсем не кодекс, не физическое совершенство волновали его.

Когда пошел второй год заключения, а особенно после следствия Ненарочкина, он ожидал со дня на день, с часу на час объявления о суде. Любой стук и шорох у двери камеры вызывал одну только мысль: к нему. Вглядывался в лица надзирателей, ключников, жандармов: не слышали ль стороной благую весть? Даже в лицо Романчука после прогулки или работы: не скрывает ли, чтоб повеселиться за чужой счет? Уж больно значительно сидит и глядит...

Новая возникла привычка: прислушиваться к ходу и раз от разу заводить часы. Не остановились? Идут?

Романчук догадался:

— Боитесь опоздать на суд?

В марте, когда зазвенела капель над тюремным окном, не выдержал, написал министру юстиции прошение ускорить рассмотрение дела — все ж таки

семнадцать месяцев в тюрьме без суда. В мае, когда запели соловьи на Лукьяновке, просил освободить под поручительство с залогом — все ж таки двадцать месяцев. И брат обещал собрать денег. В первом прошении обратился к министру «ваше превосходительство», во втором — «ваше сиятельство». Романчук посмеивался: «На что вы рассчитываете, Кибальчич?» Как — на что? На справедливость. Как выразился Бомарше: я верю в вашу справедливость, хотя вы представитель правосудия.

К министру справедливости он обращался не впервые. Сразу после ареста отправил ему письмо на шести листах казенной бумаги. Плотным, убористым почерком, стараясь не жаловаться, оставаться спокойным и доказательным, объяснял нелепость ареста и невиновность.

Возможно, слишком длинное получилось послание. Министрам следует писать короче и проще. И последнее прошение вместилось в половину странички.

Когда стало известно, что Россия объявила войну Турции, и русские войска форсировали Дунай, тюрьма пережила взрыв энтузиазма: пролетел слух, что заключенных тоже будут брать добровольцами.

В эти же дни прислал письмо брат Степан, сообщил, что отправляется в далекий поход... Пора, пора освободить всех славян, — писал он. — Пора вообще подумать об объединении в единое государство.

Прежде такие размышления брату были не свойственны, и Кибальчичу показалось, что мир изменился, пока он сидел в тюрьме. Или — вот-вот переменится. Вся Россия очистится и объединится.

А в конце лета пришла весть, что в Петербурге, в ДПЗ — доме предварительного заключения — произошел бунт политических, арестованных по делу о пропаганде. Причиной бунта оказалась экзекуция над Боголюбовым: высекли розгами за то, что не снял шапку перед посетившим тюрьму градоначальником Треповым. И хотя назначено было двадцать пять ударов — минимум по российским традициям, рассчет на уязвление заключенных был верным: розги не эшафот, с гордо поднятой головой не пойдешь. Примечательно и то, как готовили розги: на обозрении, у женского отделения ДПЗ. Кричали, стучали, ломали стулья и оконные рамы, били стекла. Жандармы набрасывались с мешками, чтобы заглушить крики, усмиряли одну камеру за другой — экзекуция над Боголюбовым померкла перед этой расправой.

На следующий день Трепов послал Боголюбову для утешения фунт чаю и сахару, а остальным приказал выдать усиленный обед. Чем, кроме как насмешкой, это назовешь?

Цели своей градоначальник достиг. Униженными чувствовали себя не только там, в ДПЗ, но и здесь, в Киеве. Стало ясно, что ничего не поменялось в России. По крайней мере, высечь могут любого в любой момент.

Романчук метался от двери к окну и обратно.

— Я бы не дался!..— твердил он. — Я бы покончил с собой!

Его хождение взад-вперед вызывало у Кибальчича головокружение. Он сидел на кровати и молчал.

— Ничего... — бормотал Романчук. — Мы отомстим.

В сентябре появились новички: Стефанович, Дейч, Бохановский. Смешным получилось знакомство с Дейчем.

Порядки в тюрьме все еще оставались либеральными, можно было через форточку — их камеры оказались рядом — объясниться друг с другом. Условились при выходе на прогулку показаться один другому в «глазок». Однако, когда выводили Кибальчича, прильнули к «глазку» одновременно.

— Новичок, покажитесь, — сказал Кибальчич.

— Нет, сперва покажитесь вы.

— Но я первым подошел к двери.

— Нет, я.

Кибальчич отступил и с иронией поклонился.

— Ну, к-как я вам нравлюсь?

— Вполне, — ответил из-за двери Дейч. — Будем дружить?

Дейча поместили со Стефановичем, а Бохановского — в конец коридора, к Малавскому, что на тот момент оказался один.

В тот же день, подарив надзирателю полтинник, устроили чаепитие в коридоре. Переговоры с ним вел Малавский, очень уважал его надзиратель за рост и силу, главное же — за щедрость: Малавский мог дать и рубль и два, добавить осьмушку чаю, а заработок надзирателя в месяц — десять рублей.

Наибольшее, даже загадочное впечатление произвел Стефанович. Узкоплечий, со впалой грудью, сосредоточенный и, казалось, осторожный, он даже здесь, за столом, улыбался напряженно, болезненно, будто с трудом приоткрывая два ряда прекрасных белых зубов. Был молчалив, а, пожалуй, и подозрителен, и когда Лев Дейч порывался поделиться их приключениями, охлаждал презрительным взглядом: «Замолчи, Лейба».

Дейч и Стефанович были понятнее. Им хотелось не только рассказывать, но и слушать, однако Стефанович не одобрял ни словоохотливости, ни любопытства — с опаской поглядывали на него. Постепенно причина ареста выяснилась. Все трое были организаторами «Тайной дружины» в Чигиринском уезде.

С шестьдесят седьмого года, когда было введено новое положение о поземельном устройстве государственных крестьян, ходили слухи о сокрытии чиновниками царского указа о всеобщем переделе земли — этими слухами они — Стефанович, Дейч, Бохановский — и воспользовались. Ездили по деревням, собирали «старостны» по двадцати пяти человек в каждом, читали при свете лучины «Высочайшую тайную грамоту»... Для вступления в старство требовалось принять присягу при двух поручителях, и — «всякий, кто умертвит предателя, совершит доброе и богоугодное дело».

Старостная рада выбирала себе атамана, через него дружина сносилась с царскими комиссарами, а комиссаров назначал якобы сам государь Александр Николаевич.

Готовили ратища, пики, ножи, и к середине года дружина насчитывала около тысячи человек, восстание было намечено на 1 октября.

Наибольшее доверие у крестьян вызывал Стефанович — «комиссар Найда», сын деревенского священника, наименьшее — дворянин Бохановский, его и арестовали первым.

— Странно, что вы продержались полгода, — сказал Кибальчич. — Ничего тайного в деревне не может быть. А мысль о п-предательстве появляется, наверно, в первый же день. Тут мало надежды.

— Нет, — возразил Дейч. — Мы упустили время. Ждали, когда закончатся полевые работы, а надо было начинать.

Кибальчич несогласно качал головой. Дело не в сроках. Восстание возможно, если у народа нет надежд и ненависть сильнее чувства опасности. Бунт поднимается со дна жизни, без подготовки и сокрытия намерений. Никаких признаков его он не видел. Или что-то изменилось за два года тюрьмы?

— Что такое тысяча человек? — сказала он. — Для победы нужны миллионы. Поражение ждало вас на другой день.

— Вы рассуждаете, как трусливый гимназист, — заявил Дейч. — В «глазок» вы смотритесь интереснее.

Романчук и вовсе принял их в штыки.

— Сколько же вы совершили добрых и богоугодных дел?

— В том-то и беда, быть может, что мы не пролили крови.

— Знакомо. Слышали о таком лет шесть назад. От Сергея Геннадьевича Нечаева.

— А что ж, — усмехнулся Дейч. — Не так уж он был глуп.

— Кровь может проститься, а обман — нет. К чему придем, если начинаем с обмана?

Романчук, как всегда, драчливо таращил глаза, подергивался — поначалу он ко всем относился недоверчиво и агрессивно. Кибальчича при знакомстве огорошил вопросом: «Вы не подсадной?» — «Т-так я вам и признался», — ответил. «Внешность ваша мне не нравится». — «Вы тоже п-противный».

— К революции, — сказал Дейч.

Романчук подскочил, будто его ударили шилом, всхрапнул, захохотал.

— Вожди! — закричал, указывая на самовар. — Триумвиры! Поглядите-ка на себя!

Конечно, в начищенных боках самовара все выглядели превосходно. Желтый нос Дейча лез в петлистое ухо Бохановского, язвленый морщинами лоб Стефановича сузился до бровей.

— Однако, если бы не тюрьма, я намял бы вам бока, — сказал Дейч.

— Мне? — возликовал Романчук.

— Успокойтесь, — тихо сказал Стефанович и разом погасил драчливый энтузиазм.

Имелась в нем некая скрытая сила. Малавский с восхищением глядел на него. Он тоже сидел за пропаганду, а главное, было ему восемнадцать лет. Суть споров его интересовала мало, любые высказывания казались основательными, все представлялись единомышленниками. Его часто навещали друзья, родители, приносили еду, деньги, и еду он сразу же рассылал по камерам, а деньги отдавал надзирателю, ключнику — единственно, чтобы разрешал ходить к другим заключенным. Некоторое время назад потянулся к Кибальчичу. Однако говорить не умел, высказывать мнения не решался — листал книги, молчал.

Теперь, когда его сокамерником оказался настоящий революционер, Бохановский и вовсе выглядел именинником.

— Смотря, ради чего обман... — подал он голос.

— Нет ни обмана, ни правды, — пресек его Стефанович. — Есть цель.

Малавский вспыхнул и опустил голову.

— Нет, к революции мы так не придем, — сказал Кибальчич. — Только к местному б-бунту. Есть еще у людей надежды и нет отчаяния.

— Прикажете ждать? — Стефанович осторожно приподнял голову и снова сверкнула полоска белых острых зубов. — Жить и помереть с надеждой?

Кибальчич замолчал. В самом деле, когда и какой ей быть, как вычислить этот срок? Не только успех или неуспех зависит от сроков, но и количество пролитой крови, без которой, конечно, не обойтись.

Таинственность и скрытая энергия Стефановича казались ему опасными. Они хороши при верной идее, но могут привести и к беде. Однако, кто сегодня подскажет верную? И не честнее ли принять сомнительную, чем выжидать?.. Так много идей носилось в воздухе — от молчаливого и безропотного служения униженному народу до кровавого бунта — где главная, которой можно посвятить жизнь?

Кроме того, Стефановичу, Дейчу и Бохановскому грозила вечная каторга, а может, и смертная казнь — можно ли им теперь возражать?

— Что вы замолчали, Кибальчич? — собрался с силами и снова насмешливо заговорил Романчук. — Вы так много прочитали за полтора года сидения книг. Что говорит наука? Нашли вы утешение в ней?

В камере, наедине, Романчук был доверчив и дружелюбен, на людях — насмешлив и сварлив.

— Нет, — ответил. — Не нашел.

— По-моему, вы из тех людей, которым хорошо в любые времена. Засунул, как страус в песок, голову в книжку и спокоен.

— Откуда вам знать про спокойствие страуса? — улыбнулся Кибальчич. — Может, он прячет голову, чтобы не показать слез.

— И шутите вы странно. Теперь не время для шуток, трагедия разыгрывается на Руси, и вы ее рядовой участник, хотите этого или нет. Вопрос только в том, какое место выбрать — на сцене или в зрительном зале?

— Т-так ли уж зависит от нас выбор роли? Мне кажется, жизнь выбирает где и кому быть.

— Не зависит? — неожиданно заговорил Стефанович, хотя, казалось, вовсе не вслушивается в их спор. — Жизнь? Она вас засадила в тюрьму?.. Не из поповской ли вы семьи?

— Да, — сказал Кибальчич.

И Стефанович также неожиданно умолк.

— У меня отец тоже деревенский священник, — тихо добавил через минуту. — А мы с вами в тюрьме. Неужели это ни о чем вам не говорит?

У него было слишком узкое лицо, невыразительные мелкие глаза, морщинистый лоб, он сидел сутулясь, бессмысленно двигал руками по столешнице, но эта явная неуклюжесть и некрасивость, когда говорил и глядел в упор, завораживала и подчиняла.

— Неужели вы серьезно считаете, что надо ждать, когда иссякнет надежда и начнется всеобщее отчаяние? По-христиански ли это, в конце концов?

Он уже ерзал, почесывался, дергал тощей шеей, будто противоречие Кибальчича вызывало у него чесотку.

— А не думаете ли вы, что народ уже притерпелся к отчаянию? Что еще немного и начнется нравственное вырождение нации, неспособной более ни на что, кроме как на тупое терпение и вечную покорность? И тогда уже ничто не поможет ему... Не чувствуете ли вы перед ним вины, вы, образованный молодой человек?..

Возразить ему было легко. Но в том-то и дело, что — чувствовал. И чувство это возникло куда раньше той знаменитой статьи в лондонском русском журнале. Статье он обрадовался, как единомышленнику, а не откровению, даже не стал перечитывать ее — так все было понятно и близко. А возникло оно, то чувство, много лет назад, когда старый, лысый, с чудовищным носом крестьянин, утирая ладонью мелкие слезы, сыпавшиеся как горох, выкладывал на стол из торбочки яйца — гонорар отцу за соборование сына.

И каков выход? Толкать народ на скорее всего напрасную кровь или жить со своим народом и получать от него гонорар куриными яйцами?

— Интересно мне знать, как вам спится на тюремном матраце? Или притерпелось?

Стефанович так и не прикоснулся к своей кружке с чаем. По-видимому, он относился к тем людям, которым трудно начать говорить и так же трудно остановиться.

— Не лучше ли пролить кровь тысяч, чтобы спасти миллионы?

— Понятно, — сказал Кибальчич. — Вот только относительно крови... Что если — напрасно?

Стефанович уже почти с презрением взглянул на него.

— А гарантий и не бывает, — сказал, заканчивая безнадежный спор. — Потому мы и сидим в тюрьме.

Рад был закончить спор и Кибальчич. Да и надзиратель несколько раз беспокойно заглядывал.

Ясности, однако, в душе не было никакой. В камере он долго ходил взад-вперед, пока Романчук не вышел из себя:

— Да прекратите вы мельтешить!

Осторожно присел на кровать.

Все они — и Стефанович, и Дейч, и Бохановский — твердили одно: пора российскую колымагу перевернуть. Пробовал возражать им: на чем ехать дальше? Не переворачивать надобно, а пристегнуть хороших лошадей, смазать колеса, прогнать с телеги праздных седоков. Развивать земства, совершенствовать суд, требовать Думы или Учредительного собрания, расширить просвещение, призывать к переделу земли... Не воевать надо, поскольку в войне обе стороны укрепляются в заблуждениях, а мирно протестовать. Первые годы царствования великого государя показали, как много можно добиться на пути реформ.

В ответ они снисходительно улыбались: «Слишком много хотите, Кибальчич. Не проще ли — перевернуть?»

Вдруг почувствовал, что его не принимают всерьез.

Романчуку объявили уже день суда, и теперь он впадал то в легкомыслие и веселость, то в меланхолию. То лежал пластом лицом в подушку, то истово занимался гимнастикой. А еще стало известно, что жандарм, которого Романчук ранил при аресте, скончался.

— Ну что вы молчите? — закричал он. — Что вы все думаете? О чем здесь думать? Все говорили глупости — и вы, и они!..

Возможно. Однако предмет спора был серьезным.

Ночью очень тихо было на тюремном дворе, тихо и в камерах. Только из женского отделения доносился неясный говор и смех.

— А знаете, Кибальчич, — вдруг сказал Романчук. — У меня еще ни разу не было женщины. Я и не любил еще никого... Как вы думаете, меня в ссылку или на каторгу? Не хотел же я убивать его!.. Только бы не приковали к тачке. Сбегу на следующий день.

Романчук страдал необъяснимой страстью к пению. Голос у него был ужасный, слуха и вовсе никакого — выл по-волчьи, скрипел как коростель, особенно невыносимо любимую «Раз я видел сюда мужики подошли». Кибальчич накрывался с головой, затыкал уши. Иной раз, видя, как не по душе Кибальчичу его пение, Романчук усиливал звук, а то и повторял песню два раза.

— Ради всех угодников, замолчите! — не выдерживал в конце концов Кибальчич.

Обычно Романчук радостно хохотал в ответ, а тут замолчал. Ночью Кибальчич проснулся от неясного, насморочного всхлипывания. Прислушался и понял, что Романчук плачет.

Случались и спокойные вечера, когда вспоминали, как жили прежде, до тюрьмы. У Дейча оказалось прозвище — «дер Дейч», унаследованное им от деда, австрийского еврея Брейтмана. Дед это прозвище получил, когда приехал в Россию, а в царствование Николая I, когда евреям давали фамилии, его и записали «Дейчем». Им неплохо жилось здесь, в России. Отец стал куп-

цом первой гильдии, мама называла Александра II не иначе, как «дер гитер кейзер» — добрый царь, отец устроил в Киеве школу для сирот — «Талмуд-Тойре», мечтал о медицинском образовании для сына, и так продолжалось до Пасхи 1871 года, до первых антиеврейских беспорядков в Одессе, когда стало ясно: то, от чего бежал дед из Австрии, притащилось по пятам, приплыло следом, приехало — колесо в колесо. Удобно расположилось, набрало силу и отныне будет расти.

Ему, Льву — Лейбе Дейчу, было тогда шестнадцать и, казалось, он знает причины. Евреи виноваты. Они дали повод для подозрительности и недовольства. Они должны оправдаться перед русским народом.

Отсюда и началась тропинка, что привела в тюрьму.

Стефанович чаще всего рассказывал об отце — сельском священнике, Бохановский о матери, Романчук о сестре — больше у него не было никого. Рассказывал и Кибальчич. То были замечательные вечера. Казалось, что родители и родные все поняли и согласились. Как же иначе? Душа должна быть спокойна, а совесть чиста.

На суд Романчук снова уходил веселым.

Но в камеру уже не вернулся. Скоро стал известен и приговор: смертная казнь.

Его поселили в одиночке в левом крыле тюрьмы.

Дознание по делу о тайном обществе в Чигиринском уезде вел знакомый Кибальчича — барон Гейкинг, ныне уже штабс-капитан. При аресте Стефанович стрелял в него — это существенно осложняло общее положение.

Крестьяне, несмотря на клятву и обет молчания, выдавали друг друга на первых же допросах. Дело разрасталось и принимало опасные очертания. К началу зимы арестовано было около тысячи человек. Очные ставки следовали одна за другой, и в камеру Стефанович, Дейч, Бохановский возвращались замкнутые и притихшие.

В декабре, когда пошел двадцать второй месяц заключения, и стало известно о тяжелых потерях русских войск под Плевной, Кибальчич снова написал прошение министру юстиции: «...или же дозвольте мне, если возможно, поступить в качестве фельдшера или солдата в ряды армии, где я могу оказать услугу государству, которое ниспровергнуть путем революционной пропаганды я будто бы имел стремление...»

Как и прежде, ответа не получил.

Вот эта немота и отравляла душу. Он начал ловить себя на том, что и читать уже не в состоянии, а часами глядит на одну и ту же страницу, или беспокойно ходит по камере, или глядит в потолок. Что лютой ненавистью ненавидит свою камеру, однако одни места больше, другие меньше. Особенно же — выступ-кирпич над окном, огрех каменщика.

Порой чувствовал, что впадает в тихое бешенство, порой — в аппатию. Иногда жаждал отмщения, злой и жестокой мести, выбирал лица, которых подвергнет казни, иногда — только освобождения. Закончить учебу, уехать из Петербурга на родину и тихо жить, смиренно помогая больным и старым, купить участок земли, построить дом, завести хозяйство и никогда больше не думать ни о политике, ни о политической экономии. Читать только «Русский календарь» со сведениями о мире — сколько верст от Коропа до Москвы и Санкт-Петербурга, когда восход и заход солнца, чья дочь принцесса Дагмара и Ее Императорское Величество Великая Княгиня Мария Федоровна, каких полков командиры Великие Князья — не так уж много надо человеку знать, чтобы чувствовать себя счастливым.

Еще ему попалась немецкая книжка о новых изобретениях в хозяйственной деревенской жизни. Он прочитал ее с наслаждением. Вот непочатый край для приложения сил. Сеялки-веялки, размеренный труд на лоне природы — не это ли город Солнца? Он даже попросил бумагу, карандаш и вычертил, нарисовал такое разумно устроенное хозяйство: мельницу у реки, пароконные косилки и жатки в полях, довольных крестьян, прогуливающихся у леса. Подумал — и нарисовал себя, удачливого, просвещенного молодого хозяина с цилиндром в одной руке, тростью в другой. Еще подумал — присоединил молодую женщину с ребенком на руках...

Эта женщина последние дни не давала ему покоя.

Дейч на одной из прогулок сказал, что имеется еще способ освобождения на поруки — вступить в брак. «С кем?» — удивился Кибальчич. Ответил: «Этот вопрос мы берем на себя. Согласен?» — «Еще бы», — ответил Кибальчич. И очень скоро Дейч сообщил, что невесту нашли, зовут ее Елена Андреевна Кестельман, по прозвищу «Веньяса». В общем, понятно — связи с киевскими студентами.

«Вы ее знаете? — вдруг взволновался Кибальчич. — Она... хороша?» Дейч поглядел с иронией. «Какая вам разница? Или надеетесь на роман? — Однако, увидев, как смутился Кибальчич, смилостивился: — Она красавица. Я бы и сам, откровенно говоря, женился на ней. Да и не только я...» — «Она... молода?» Глаза Дейча снова стали насмешливыми. «Обижаете, батенька. Семнадцать лет... Вот уж не ожидал от вас. А впрочем... Может, вы и на самом деле подойдете друг другу. Очень она склонна... к неожиданным поступкам, и у нее тоже... — тут уж голос Дейча и вовсе стал издевательским, — романтическая натура».

В размышлениях о будущей уже договоренной встрече, он теперь жил. Даже попросил парикмахера постричь бороду и усы, безобразно разросшиеся за последние месяцы.

Веньяса!

Опыт отношений с женщинами у него был ничтожный. Катя Зенкова, троюродная сестра?

Лето семьдесят четвертого он проводил в Мезени. Там и собралась группа молодежи — из Петербурга, Козельска, из Киева и Чернигова.

Странная образовалась компания. Срывались в яростный спор по любому поводу: от значения Петра Великого для России до времени сева гречки, от причины покушения Каракозова на государя до права употребления мяса человеком умственного труда. Ни разу не удалось доспорить, выяснить, каждый вечер встречались с новым запасом доводов и убеждений. Стоило одному сказать — можно, другой заявлял — безнравственно, нет — да, прекрасно — отвратительно. И вместе с тем чувствовали себя единомышленниками. Так оно и было, конечно, а причина азарта проста — Катя, она одна была среди них, и только к ней могли обратиться их невостребованные нежные чувства. Катя оказалась, однако, не из тех девушек, что упиваются общим поклонением, и как под защиту, потянулась к Кибальчичу. Для всех это было понятно и натурально, сестра — брат, пусть и троюродные, тоже и для них самих, но пришло время прощаться, протянули друг другу холодные руки и...

Вот, собственно, и все, что было. Брат Федор известил недавно, что родила уже двух дочерей...

Еще Дейч сказал, что Елена-Веньяса закончила гимназию Фундуклеева и собирается в Петербург, в фельдшерскую школу. И что в пику прозвищу, которое она сама придумала себе, в киевских кружках ее называют «Маруськой». А еще «Вивиен де Шатобрен».

Из таких обрывочных сведений составил Кибальчич ее внешний облик: девушка с тонкой талией, высокой грудью, в испанском платье. Вполне волнующий облик. И уже не мог думать о чем-либо ином.

«Пишите прошение на вступление в брак, — сказал Дейч. — Да не откладывайте». — «Но как же... Мы еще не виделись. Вдруг не понравимся?» Дейч расхохотался. «Это я вам гарантирую. Вы для нее слишком пресный. Вас надо посолить, поперчить, сбрызнуть уксусом, хорошенько прожарить, а тогда уж... Но она вам понравится. Все это — перец, соль, уксус — у нее есть».

Наконец, разрешение на свидание было получено и назначен день.

Позже ему не раз пришлось вспоминать этот день.

И не в том дело более или менее красивой, чем ожидал, оказалась Лена, и уж, конечно, не в объеме талии и высоте грудей, не в мужской сорочке вместо испанского платья, а в том, что, войдя в жарко натопленую комнату для свиданий, она сразу протянула к нему руки, и он, не зная, что делать, прижал их к лицу.

— Вот мы и встретились, — сказала она. — Я очень много думала о тебе, Кибальчич!

— И я, — обрадованно отозвался он.

— Ты не передумал? Согласен взять меня в жены?

— Очень согласен!

— Я тоже. При тюрьме есть церковь? Мы ведь здесь будем венчаться с тобой?

— Конечно, есть. И довольно п-приличный, из уголовников, хор.

— Как это интересно!

— А свадебное п-путешествие мы совершим по тюремному двору.

Так они разыгрывали свои роли, привыкая друг к другу.

Часовой, сидевший в углу комнаты, улыбался во весь широкий молодой рот — надоели слезы и причитания, совсем иное дело, когда разговор о венчании и любви. Кроме того, и ему понравилась Елена, так понравилась, что решил вступить в разговор.

— Я тоже... на левом клиросе могу, — сообщил он. — Батя мой... головщиком был... на левом.

Елена оглянулась — часовой в мгновение покраснел.

— И поп здесь хороший, — добавил. — Много не возьмет.

— Вот видишь? — сказал Кибальчич. — Все просто. Осталось получить разрешение.

— Прошение написал?

— Сегодня же напишу.

У нее оказались узкие глаза и заметно выдающиеся скулы. А шея в распахнутом вороте мужской сорочки выглядела слишком высокой и тонкой.

— Что тебе принести?

— Книг, — и Кибальчич протянул список, составленный накануне.

Часовой дернулся, увидев листок, оглянулся на дверь и окно, но Елена снова улыбнулась ему, и он опять покраснел, кивнул.

— Книги — это можно. Смотря какие само собой...

Она обещала придти на следующей неделе. И так же, как при встрече, прощаясь, протянула обе руки.

Но здесь, в тюрьме, встретиться больше не пришлось...

Еще осенью в Киеве возникли случаи заболевания возвратным тифом, принесенным в Россию с турецкой войны, а незадолго до нового года в тюрьме началась эпидемия. Больничка переполнилась за одну-две недели, мерли

прежде всего уголовные — из-за скученности в камерах, и потому занемогшие держались на ногах до последней возможности: считалось, что в больнице — верная смерть. Каждое утро из больнички вывозили на дровнях два-три трупа.

Тюрьма притихла. Сокращены были до одного раза прогулки, отменены утренние работы, прекратились и чаепития у политических, с воли не принимали никаких передач. Отказали и в книгах из тюремной библиотеки.

А перед новым годом умер тюремный фельдшер. В тот же день Кибальчич написал очередное прошение, на этот раз о том, чтобы ему разрешили, как имеющему кое-какое медицинское образование, находиться в больничке или посещать ее. С такими прошениями он обращался и прежде, до эпидемии, чтобы разрешили — для практики, но всегда получал отказ.

Своего доктора при тюрьме не было — наезжал раз-два в неделю из Киева, и однажды он в сопровождении надзирателя появился в камере Кибальчича.

— Вы писали прошение?

— Я.

Доктор был стар, угрюм и не поднимал глаз.

— Знаете, чем это грозит?

Они подошли к больничке как раз, когда подъехали сани с гробами, и двое уголовных тихо переругивались с извозчиком из-за того, что привез два гроба, а умерших оказалось трое. «Соображать должен», — говорили уголовные. «Не напасешься», — отвечал извозчик. Двух уложили, а третьего сволокли в сени ожидать пару. Смрад и грязь в больничке были ужасные, ропот стоял от бредящих голосов, будто все тихо переговаривались друг с другом. Доктор сразу прошел в свою комнатку, вернее, в свой уголок со столом, — уже и здесь на полу, на тех же войлочных матрацах, сбивая тощие одеяла, лежали и ползали в поисках облегчения люди. Одного из них, забравшегося под стол, доктор, не брезгуя и не опасаясь, за ноги оттащил на матрац, приподняв за волосы голову, приставил кружку к воспаленным губам.

— Вот и вся ваша задача. Больше мы ничем не в силах помочь.

Он был малоподвижен, грузен и, по-видимому, печально глядел на жизнь. Замер за столом, не обращая больше внимания ни на Кибальчича, ни на больных, требовавших помощи и воды. Не без робости озирался Кибальчич вокруг себя.

— Что вы стоите? Беритесь за дело, раз вызвались. А впрочем... как знаете.

Через минуту-другую поднялся:

— Вечером загляну.

Кибальчич остался один. Вдруг понял, что никакой жалости не испытывает к этим несчастным, а только отвращение, гадливость. К зрелищу массового умирания человеческой плоти он оказался не готов.

Но двадцать пар глаз с надеждой и последней тоской глядели на него, еще столько уже не видели белый свет.

Осторожно подошел к ближнему, что, заломив шею, тяжко храпел на полу, застряв головой меж ножек соседних кроватей, оттащил на матрац, и вдруг опустился на колени рядом: то был Романчук. Взывал к нему, тряс за плечи, пытался влить воды в запекшийся рот.

Но, видно, Романчуку уже нельзя было помочь. Единственное, что мог сделать для него — поднять с пола, переложить на освободившуюся кровать.

И другие лица оказались знакомы. Мыл, чистил, переодевал. Поил и кормил тех, кто еще способен был пить и есть.

Доктор, как и обещал, вечером заехал в больничку. Оглянулся, покивал старой заросшей головой.

— Может, вам и зачтется это, молодой человек. Не здесь, там.

— Доктор, — сказал Кибальчич, — нельзя ли ему помочь? — показал на Романчука.

— Приятель?

Подошел к кровати, пальцами приоткрыл глаза. Не ответил.

Кибальчич и сам знал — нельзя. Да и надо ли, если б было возможно?

Романчук умер через три дня, так и не придя в себя. Кибальчич сам заполнил на него лист, сопровождающий через тюремные ворота в последний путь. В ту ночь выпал свежий снег, и тощая лошадка, похожая на отцову Лохматку, легко взяла с места привычный, покрытый рогожею груз.

Что там его сестра? Идут ли еще на тюрьму ее подробные нежные письма? Скоро, скоро заплачет, узнав, что жизнь брата уже позади.

Эпидемия не унималась. Больных увозили и за пределы тюрьмы — в некую карантинную больницу. Отвращение и страх он давно преодолел и теперь чувствовал только бессилие и бесплодность усилий.

Между прочим, через неделю после смерти Романчука стало известно, что пришло ему помилование из Петербурга: вечная каторга вместо смертной казни. Власть оказалась великодушна.

А однажды доктор, взглянув на Кибальчича, сказал:

— Покажите-ка мне ваш язычок... Так-так... Очень хорошо. А я подумал было...

Уже несколько дней Кибальчич чувствовал жар и слабость. К вечеру того дня понял, что минутами ему изменяет разум.

Что рассказать об Олонце, куда я попал на исходе зимы семьдесят шестого?

В глубокое уныние впал я, ступив на его землю. Один каменный дом в городке, полторы сотни деревянных. Одна каменная православная церковь, четыре рубленых. Земская больница на двенадцать кроватей. Две богадельни — по тридцать призреваемых в каждой...

Самые крупные события в году — ярмарки, когда съезжались и русские, и корелы со всего обонежья. Оживал Санкт-Петербургский почтовый тракт, шумно и ненатурально весело становилось окрест. Поднимался шест с веником наверху — знак трактира — у сарая купца Курогина. Но ярмарки в году две. Все остальное время — тишина.

Жителей в городке менее полутора тысячи. И, как ни смешно, каждый десятый — дворянин. Большинство из тех, что переселил сюда из окрестных сел Алексей Михайлович в 1649 году, «дабы в городе не пусто было». Еще чуть-чуть — и пойдут по миру с протянутой рукой. Но — дворяне. А поскольку и я такой же дворянин, которому два раза в день хлеба с кваском поесть радость, приняли меня славно, уныние мое рассеялось.

Поселился я у бездетной четы Солутановых, как раз из тех дворян, у которых обед — два грибка на тарелочке, хлеб-таскун да щи водянец, и мои пять рублей за постой существенно дополняли семейный бюджет. Вины мои перед государством никто не принимал всерьез, да и отнюдь не первый я оказался здесь из петербуржцев. Коротали в Олонце свои дни Василий Тимошкин, бывший студент горного института, и Андрей Брузгин — технологического.

Скоро я полюбил и городок, и забитые снегом Олонку с Мегреги, и обывателей, даже капитан-исправника, что едва не расцеловал при встрече — был не то что бы слишком, а так, буднично и благородно пьян. Мне тайно улыбались девушки-корелки, молодые люди искали знакомства, пожилые с почтением провожали взглядом. Из ссыльных ближе

сошелся с Тимошкиным, добрый оказался человек. Он жил здесь уже пять лет, хотя срок ссылки вышел, был тоже почти всегда навеселе, имел даже свою теорию о недостатке алкоголя в организме человека и говорил, что пишет работу о богатствах края, намереваясь представить в географическое общество.

Андрей Брузгин — замкнутый, угрюмый — жил в Олонце третий год, ни с кем не сблизился, отклонил и мою попытку дружить. По слухам, получал он едва не все петербургские журналы, но в обсуждение их ни с кем не вступал.

Намерен был и я основательно заняться самообразованием — привез два ящика книг. Нашел и работу — учителем новейшей истории в городском училище, где обучалось семьдесят учеников.

Со мной поступили несправедливо, размышлял я. Но не затаю обиды, не возмечтаю в гордыне о мщении. Спокойно и с возможною пользой приму сущее: долгая жизнь впереди. Отныне не поддамся террору общественного мнения, никаких больше кружков, досужих разговоров, никакого народа, которому на все наплевать, кроме собственного живота. Буду изучать древних авторов, писать о вечном и жить, как хочу.

С первых дней я взял себе за правило гулять рано утром и вечером вдоль Олонки или Мегреги в любую погоду — снег ли, ветер — и очень гордился своей настойчивостью. И однажды, вскоре после того, как речки вскрылись, стал свидетелем необычного зрелища: девушка, раздевшись на проталине, вошла в воду и, оттолкнув подвернувшуюся льдину, поплыла. Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. Минуту спустя она так же спокойно, будто на дворе июль, выбралась на берег, набросила легкий полушубок и пошла по тропинке к городу — в двадцати шагах от меня.

В тот же день я поделился поразившей картиной с Тимошкиным.

— А-а, — улыбнулся он, — это Марфа, внебрачная и непривенчанная дочь купца Курогина, владельца того единственного каменного дома в городе, единственного в округе кожевенного завода. Купается она каждый день, как только вскроется река и пока не станет, зимой барахтается в сугробе за высоким забором. Странная особа: уж слишком характером тверда.

Пошел я к реке и на следующее утро. Можно меня судить, а можно и простить: что привлекательнее для молодого человека, чем девушка, купающаяся в реке? Вспомните свою молодость, если вам еще не сто лет.

И вдруг она остановилась напротив того места, где за кустами ольховника притаился я.

— Выходите.

Что было делать? Я вышел.

— Вам не стыдно?

— Стыдно, — признался я.

Тем временем она без всяких признаков интереса разглядывала меня.

— Вы тот самый ссыльный, что живет у Солутановых?

— Да, — сказал я. — Простите меня.

Она усмехнулась.

— Да что ж, — сказала она. — Вас можно понять. Не вынуждайте меня менять место. Здесь удобно купаться.

— Хорошо, я больше не приду, — поклялся я.

Опять усмехнулась, будто разочарованная моей готовностью.

— А я собиралась знакомиться с вами. Говорят, у вас много книг?

— Да, — обрадовался я. — Кое-что есть, приходите.

— Приду.

Не попрощавшись, пошла по тропинке к городу.

Что я был должен? Бежать следом? Не звали. Остаться на месте? Глупо. Тоже захотелось ринуться в воду, и я уже было шагнул к берегу, но, увидев густую шугу, затянувшую прибрежье, тотчас остыл. Не для вас, молодой человек, эта дикая сладость.

Больше всего меня поразила... Впрочем, что придумывать и украшаться? Конечно, и независимость поразила, и решимость, и смелый взгляд, и низкий, словно простуженный голос, но, если открыто и правду, — нагота ее поразила. Натура, взгляд, голос могли быть любыми — все равно я оказался бы влюблен.

Новое состояние я осознал тотчас. Думаете, радость ощутил, надежду? Никаких надежд. Слишком совершенной показалась эта девушка.

Придет, но когда? Я уж боялся выйти из дома вечером, чтобы не разминуться, а утром, прогуливаясь, держал в обозрении дом. Начал ходить в церкви на самые малые праздники, рассчитывая ее увидеть, и по дороге в училище делал крюк, чтоб пройти мимо того дома на высоком фундаменте, где ее окно?

Но, в конце концов, успокоился. Сколько можно?

Тут-то она и явилась. В той же овчинной шубейке, пуховом платке. Кивнула моим удивленным хозяевам, мне протянула руку. Ладонь оказалась твердой, грубой, видно, не зря говорили, что пилит и рубит дрова для дома она сама.

— Ну, что вы приготовили для меня?

О, как я кинулся к моим ящикам! Тут ведь дело не только в том, чтобы выполнить просьбу и обещание, но и в том, чтобы поднять свои, извините, фонды. Все вывалил перед ней. Как писал Гольц-Миллер:

Два тома древних мудрецов —
Платон, Аристотель,
И страх вселяющий в глупцов,
Великий Макьявель.
Есть Конт и Бокль, есть Риттер, Риль,
Сыны иных времен —
Старик Бентам, Джон Стюарт Милль,
И Пьер-Жозеф Прудон...

Словоговорение нашло на меня безудержное, но чувствовал я, что говорю умно и вдохновенно, что мысли мои значительны, что тонкость в суждениях не противоречит пафосу, что...

— Не понимаю, за что вас выслали из Петербурга, — перебила она меня. — По-моему, такие, как вы, как раз там нужны.

Озадачивающая получилась фраза.

— Какие? — осторожно поинтересовался я.

— У кого глаза на затылке. Те, что интересуются древностью. Очень надежный разряд людей.

— Разве я...

— Да.

Я растерянно глядел на нее. Конечно, она — совершенство, а я червь ничтожный, но...

— Не сердитесь, — вдруг раскаянно произнесла она. — У меня дурной характер. Я всем не доверяю и никого не люблю...

Как так? — возликовал я. Как можно? Я, напротив, всем доверяю и всех люблю. Я доверял даже жандарму, доставившему меня сюда, поскольку разве

он виноват в моей ссылке? Или виноват генерал Мезенцев? Или здешний капитан-исправник? Нет, виноваты российские законы, что ограничивают, а не наделяют правами, но, опять же, разве можно любить или не любить закон? Причины наших неудач надличные, а вот успехов — в нас... Новый поток слов понес меня по стремнине.

— Вы, видно, славный человек, — вздохнула она и поднялась, повязывая платок, запахивая шубейку.

Да! — едва не вскричал я. Да, я славный! У меня только один недостаток: люблю похвалиться знаниями, но ведь это не страшно, простительно? Это никому не во вред?

— Ну, а книги? — напомнил я.

— Нет, — сказала она. — Я хотела другое. Я не для самообразования читаю: от тоски.

— От тоски? — удивился я. — Какая может быть тоска в двадцать лет? Что вы, Марфа? Разве не чувствуете, как прекрасна жизнь?

— Нет, не чувствую. Жизнь — случайность, а потому — что прекрасного в ней?

— Но разве вам не хочется жить?

— Хочется. Однако это иной вопрос.

Опять я поразился и восхитился. В самом деле, жить хочется несмотря ни на что.

— Что же вам предложить?

— Не знаю... Что-нибудь очень простое: поплакать.

— Вы умеете плакать?

— Странно, да? А я реву каждый день.

Так и ушла, оставив меня в растерянности и неведении. Позже я узнал о ней много любопытного. Закончив в Петрозаводске гимназию, она поехала в Петербург поступать на родовспомогательные курсы, а через год оказалась в Саратовской губернии, «в народе». Там ее и арестовали. Немало потребовалось усилий купцу Курогину, чтобы вызволить дочь и привезти в Олонец. Однако несколько месяцев спустя ловить ее пришлось уже на российской границе.

И — совсем уж вызывающее для дочки купца: каждое утро после купания шла в богадельни, убиралась, подавала помощь старым и немощным.

Мы сблизились очень скоро. Она назначала мне свидания далеко от города, на Олонке, и никогда больше не заходила в дом Солутановых. Почему? — спрашивал я. Она усмехнулась недобро, скрытно.

И это прояснилось. Жил здесь до минувшего года один из петербургских студентов, она приходила к нему. Теперь он очень и очень далеко.

Пытался отец отдать ее замуж за молодого хозяина пудожского кожевенного завода Ирбитова — принародно рассмеялась жениху в лицо.

«А может, напрасно смеялась? — вопрошала меня. — Может, это был выход?»

«Где он? В чем?»

«В ребенке. Был бы ребенок, был бы смысл».

«Но почему — Ирбитов?»

«А кто? Может быть, ты?» — расхохоталась, будто нелепость такого варианта налицо.

«Зачем же ты... ты...»

«Не знаю. От бессмыслицы. Ну и все же... ты славный. Почти никакой. С тобой легко».

Вот так она расправлялась со мною. Я забывал обиды, стоило ей...

Да ничего не стоило. Сам жаждал не помнить и забывать. «Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвила», — твердил я с утра до вечера, хотя стрижена она была по-мужски.

«Так и будешь сидеть здесь, пока не выйдет срок?» — спросила она однажды.

«Что же делать?.. Бежать? Куда?»

«Не знаю. Пойди хотя бы на Балканы волонтером».

Тогда много и с одушевлением писали о войне с турками. Неким национальным празднеством рисовалась эта война. Одни считали, что причина одушевления в любви к болгарам, — как же, славяне, братья по крови и вере, по языку и культуре; другие — в ненависти к туркам. Дескать, глухой этой ненависти исполнилось триста лет — столько, сколько туркам в Истанбуле. И не в голубом Босфоре причина постоянных войн, а в унижении веры: Россия, преемница Константинополя, должна отмстить за православный мир. Десять тысяч славян, вырезанных в 73-м, взывают к отмщению. Ну, а третьи одушевлялись тем, что после позора Крымской войны была надежда на легкую победу.

Однако, при чем тут я, если ни разу в жизни не видел ни турка, ни болгарина и даже в вере отнюдь не крепок? Если не считаю себя ответственным за Крымское поражение и главная моя мечта — она, Марфа?

«Бедный, бедный Сильчевский, — говорила она, обнимая меня. — Как невыносимо долго ты будешь жить...»

Что ж, и пророчество, и ее руки на моих плечах устраивали меня.

«С удовольствием, — отвечал я. — Рядом с тобой, хоть вечность».

«Нет, без меня. Одинокий и забытый всем человечеством».

«Что вы все про человечество? Думать надо о ближнем и о себе».

«Разве мы существуем сами по себе?»

А вот метафизические споры с женщинами не моя стихия. Куда приятнее зарыться в ее волосы, пахнущие простым мылом.

«С ума сошел, — сказал мне Тимошкин, — Курогин вышвырнет тебя на край земли».

И даже исправник, как обычно, мокро расцеловав при встрече, заметил: «Дело, понятно, молодое... Однако, если подумать... Гляди, студент. Советую».

На лицах стариков Солутановых и вовсе поселился испуг. Они мне ничего не советовали, я, само собой, конченый человек, но что ожидает их?

И, наконец, мучаясь и страдая, отказали мне от квартиры.

Не так легко оказалось найти другую: опаслива и осторожна жизнь в городе, где даже в богадельне знают, кто ты и что.

Сперва меня приютил Тимошкин, позже — старик-корел, единственный, кто ничего не знал обо мне, поскольку не понимал по-русски.

И, разумеется, я уже не работал в училище. Попечитель, барон Шерц, нашел, что уроки мои неосновательны и опасны.

Ну, это уже они зря так навалились: Марфа давно отказалась от встреч со мной.

В конце года она уехала в Петербург.

Только тогда я по-настоящему почувствовал, что такое ссылка: ни одной близкой души на пятьсот верст. И самый родной человек — капитан-исправник.

Много позже я понял, чем она была или могла бы стать для меня. Еще яснее понимаю это сейчас, когда мне пошел пятьдесят четвертый год, и жизнь, можно сказать, позади.

Впрочем, нет, все я понял тогда же, когда стало ясно, что Марфа в Олонец не вернется. Да что из этого понимания?..

* * *

Первым, кого увидел Кибальчич, придя в сознание, был тот самый старый доктор. Солнце било сквозь решетки окна прямо в лицо — оттого и застонал, требуя тени, и доктор тотчас подошел, склонился над ним.

— Солнце мешает?.. Это хорошо, если мешает. Вот когда не мешает... Вроде, жить будем? Как считаешь, поживем маленько?.. — бормотал и вглядывался в лицо Кибальчича, похлопывал по щекам, будто опасаясь нового долгого беспамятства, пробуждая сознание. — Воды дать? Пить хочешь?

Ту же жестяную кружку поднес к губам, поднял за шею.

— Никак не думал, что выцарапаешься. Нет, не думал...

Оказалось, что беспамятство от сознания отделяет тонкая паутинка, без всяких страданий переплывал из одного в другое. И еще неизвестно, какое было отрадней. Первые дни не отвечал доктору, только следил за ним взглядом.

— Глядишь?.. Ну и слава богу. Теперь моя совесть совсем спокойна. Хотя помри ты — вины моей нет. Если б была вина за всех, кто на моих руках помер... Давно б в огне горел. Я и на холере был в Астрахани в пятьдесят седьмом, и на оспе — и жив, копчу небо, хотя, может, и пора помирать.

Ходил тяжело, медленно, следить за ним было легко. Больничка была пуста.

— Да, братец, ты у меня последыш!.. Кого увезли, а кто и сам выполз.

Еще через неделю Кибальчич почти совсем окреп, лишь только не было желания говорить.

И, наконец, они простились: «Не могу больше держать тебя здесь, пора...»

Сто шагов от больнички до тюрьмы, преодолел половину — оглянулся. Доктор стоял на крыльце, слабо махнул рукой.

Увидятся ли еще?

Надзиратель в коридорчике политических был незнакомый, новый. С любопытством поглядел на Кибальчича, улыбнулся. Улыбающийся надзиратель — это интересно. «Здравствуйте, — сказал ему Кибальчич. — С назначеньицем-с!» — «А вас со здоровьицем, — ответил тот. — Как оно, интересуюсь спросить, на том свете?» — «Не знаю. Не добрался маленько». — «И слава богу. У нас тут веселей».

Кровать Романчука убрали, видно, в тюрьме после эпидемии стало свободнее. Почувствовал себя так, будто вернулся домой. На столике «Астрономия» Араго, «Архив судебной медицины», — будто не месяц минул, а отлучался на прогулку или, например, в баню.

Но и новое было в ощущении: теперь-то он сюда ненадолго.

Открылась дверь и на пороге показались Дейч, Стефанович и Бохановский.

— Живой?

Смеялись, обнимались. Надзиратель тоже улыбался, терпеливо глядел на них. Дейч шагнул к нему, чтобы обнять от избытка чувств, однако надзиратель попятился.

— Не балуйте, барин, — произнес строго и вышел, примкнув за собой дверь.

Новостей накопилось немало. Во-первых, пришло сообщение, что дело Кибальчича передано в Особое присутствие Сената. Во-вторых, ответ из министерства юстиции: вступление в брак не разрешено.

В-третьих, Елена-Веньяса уехала в Петербург поступать в фельдшерскую школу.

Опять открылась дверь — надзиратель внес самовар.

— Пожалуйте и мне конфекту для деток, — попросил он.

— Нет конфекты, Тихонов, — проворчал Стефанович. — Будет передача, пожалуем.

Какая-то игра почудилась Кибальчичу за всем этим, что-то одинаковое мелькнуло в лицах.

— Что за человек? — спросил он. Все дружно пожали плечами.

— Хороший, — ответили невнятно. А Дейч добавил:

— Дашь пятачок — хороший, гривенник — еще лучше. Полтинник— социалист.

Были и другие новости. В Петербурге закончился Большой процесс о пропаганде в империи. Мышкин произнес такую речь, что слабонервные дамочки теряли сознание, а его самого жандармы на руках в свалке и панике выкатили из зала. Глуховатый Муравский прикинулся совсем глухим и высказал о судьях все, что хотел. В середине процесса сенат отставил первоприсутствующего Петерса и назначил Ренненкампфа. Всероссийский конфуз получился вместо суда. Теперь весь мир спрашивает: за что и почему продержали в тюрьмах двести человек от трех до четырех лет?.. Девяносто оправданы, многим зачтено время предварительного заключения, всерьез пострадало только двадцать восемь.

События назревают в России. Как вырваться из тюрьмы?

Опять возник Тихонов.

— Накушались?

Развел всех по камерам.

В тот же день Кибальчич написал Елене-Веньясе.

Не получилось, — сообщил ей. — Не вышло. Ну что ж...

Попросил зайти на набережную Большой Невы к бывшей его квартирной хозяйке Анне Евсеевой, забрать, если сохранились, вещи: подушку, одеяло, лампу.

Хорошо бы и — гирю, но — смешно... Сдержанное получилось письмо. Не чувствовал права писать о чем-либо еще. Не писать же о том, что хотел бы ее увидеть? О таком пишут, когда знают, что желания у обоих одни.

А через несколько дней получил известие от брата Федора о том, что умер отец.

Ни один человек не занимал в его жизни столько места. Все было связано с ним: и первые радости, и обиды. В особенности обиды. Отец мог забыть дать ему поцеловать наперсный крест после службы, и тогда Николка заливался слезами, мог сердито отослать от Лохматки или забыть дать вожжи поуправлять до околицы, мог, раскричавшегося, вывести в холодные сени: «Кричи здесь».

Однако мог взять за руку и повести к реке или в бескрайний и мрачный закоропский лес, на который и глядеть-то страшно, не то что войти. И тогда — снег ли, дождь, луна или безлунье — надежно и безопасно под небом на земле.

«Знаешь ли, кто сотворил солнце, кто послал гром и град, кто реки и озера водой наполнил, жизнь нам с тобою дал?»

«Знаю, — отвечал уверенно и охотно, — Бог!»

Отец удовлетворенно кивал. «Правильно. Он, один Он».

Надолго умолкал. Так хорошо было чувствовать свою руку в его руке.

Отец уже тогда решил, что быть ему, младшему, священником, служить Богу и людям, и он, Николка, гордился таким выбором и решением. Истово молился перед сном, просил Бога дать отцу, матери, братьям и сестрам и, конечно же, ему самому долгую, бесконечную жизнь.

Мать уже была больна и не подпускала к себе.

Ей выделили отдельную комнатку, в которой ничего не было, кроме кровати и табуретки, и отец, прежде чем войти, замирал у двери, торопливо и мелко крестил грудь.

Все реже он брал его за руку и выводил из дома. А однажды, приказав приодеться, ввел всех: Степана, Федора, Катерину, Тетяну, Ольгу и его, Николку, в ту комнатку. Мать улыбалась, она тоже была умыта и причесана и замечательно теплой, горячей была ее рука. Она всех любила одинаково, никого не выделила и в тот день, и только руку младшего чуть дольше погрела в своей руке. Счастливые явным облегчением матери, в обновах отправились на улицу, гоняли мяч, сбитый из коровьей шерсти, и никто вечером не учил их уму-разуму, не приказал отмываться, никто, однако, и не дал, изголодавшимся, поесть — сами перехватили хлеба с солью, а утром в доме было людно, и в руках матери, сложенных на груди, горела свеча. Отец стоял над ней согнувшись и сосредоточенно отгонял мух, раз за разом садившихся на уже безответное лицо. О, как они все, даже Степан, старший, кинулись — нет, не к ней, а к нему, отцу. И он, может, уже последний раз в жизни, так обнимал их всех.

А как страшно было ехать в Мезень! Дед Максим то пел песни, погоняя лошадку, то громко плакал, но не в этом дело, а в том, что — как же без сестер, братьев и без него, отца? Впрочем, и с отцом стало неприютно, не брал больше за руку, а если пытался Николка приласкаться сам, недолго выдерживал, высвобождался, уходил. Будто его жизнь тоже подошла к концу и, не желая лишних терзаний, он отгораживался ото всех.

Дед Максим, а потом Степан заменили ему отца.

Знает ли Степан о его смерти? Жив ли сам? Неважные вести приходили с Балкан.

Сколько споров и ссор было у Степана с отцом, когда ему, младшему, пришло время учиться. «В гимназию, — твердил Степан. — В гимназию!» — «Нет, нет!..» — тихо и яростно отвечал отец. «Ну, а сам ты, что хочешь?» — взывал брат. «В училище». Как можно было ослушаться, не внять воле и желанию отца?

И когда стал учиться в духовном училище, возродилась их взаимная преданность и любовь.

На каждый праздник приезжал отец в Новгород-Северск. Привозил пироги и ватрушки, что так хорошо пекли Ольга и Тетяна, и, разложив снедь на берегу Десны, продолжал тот разговор, который никак не мог закончить и прошлый и позапрошлый раз.

«Легко понять, что сотворил небо и землю. Даже и человека. Главное надо понять: душу вдохнул».

Слушал его Николай вполуха: сам знал и нисколько не сомневался в том. Сомнения появились позже, в семинарии. Впрочем, и не в сомнениях дело, а в том, что тоскливо было думать о своем определившемся будущем. А может, иная пища потребовалась уму.

«Тело наше — дрянь, ничуть не лучше, чем у скотины, зато душа... Никому больше, только человеку вдохнул». Много говорено на эту тему, а отец все настаивал, убеждал. Поневоле возникали вопросы. «За что же он возлюбил нас?» — «Неправильный вопрос, — терпеливо, но жестко поправлял отец. — Вдохнул, чтобы любить».

Спорить Николай не хотел. Не в ином взгляде на человека и Бога дело, а в том, что все это перестало его волновать. Попадались кое-какие журналы и книжки, они обещали новую веру и более интересную жизнь. Богословие уже поняло и объяснило мир, все, кто не соглашались с ним, только начи-

нали объяснять. А может, все дело в возрасте. Хотелось присоединиться к тем, кто не понимал и плутал. Потому и заявил, поступив в черниговскую семинарию: «Хочу в гимназию». Отец был готов к такому заявлению. «Ни копейки не дам».

Поначалу собирался держать экзамен там же, в Чернигове, но поразмыслив, решил — в Новгород-Северск. В тамошней гимназии учился Павел Сильчевский, там дешевле прожить.

Только через год навестил отец.

Прежде всего сходил к директору гимназии Фрезе, услышал поощрительные слова и теперь был уступчив, значительно молчалив. Расположились на старом месте, на склоне монастырской горы, снова отец извлек из вечной котомки вареные яйца, соль, хлеб, отломал кусок пирога к творогу со сметаной, сам съел три ложки, испачкав сметаной бороду и усы. Николай вытер ему усы и рассмеялся детскому выражению на лице. «Что? Что?» — «Ты, папа, похож на праведника со скоромным в великий пост». Отец поджал губы, что означало улыбку. Говорил о братьях и сестрах, о Боге и человеке больше не толковал.

Здесь же, на склоне монастырской горы, возмутился последний раз в жизни сыном, когда узнал, что собирается в институт инженеров. Почему — путей сообщения, а не медицинская академия, не технологический, горный, не университет?

Но многим тогда казалось, что дороги — самое важное, и будущее России — в них.

Зато как был рад, когда узнал, что переходит в академию. Прав старший сын: врач ближе к людям и Богу, чем инженер.

Ну и самое памятное: встреча здесь, в замке, когда обсыпанный опилками, снегом, в драном полушубке и подвязанных валенках он прибежал в комнату для свиданий. О чем думал он, законопослушный и праведный? Что пережил за эти два с половиной года? С какими мыслями ушел в иной мир? С верой в продолжающуюся жизнь или уже без нее?

Федор сообщал, что похороны были торжественные, таковых не бывало в городе, семь коропчанских иереев кадили усопшему, а во главе процессии шел, прибывший из Чернигова, викарный архиерей Серапион.

Глава шестая

В конце января, когда в скученных камерах уголовных уже копилась одуряющая духота, а политическим пришло время гасить лампы, осторожно звякнули ключи у двери Кибальчича, мелькнуло загадочное лицо надзирателя Тихонова, и в камеру ворвались Дейч, Стефанович, Бохановский. С выражением дикой радости они накинулись на него, тузили, валяли по кровати, тискали. Надзиратель тоже с любопытством наблюдал происходящее. Тузили не только Кибальчича, но и друг друга, избывая непонятный энтузиазм, и, наконец, встрепанный Кибальчич вырвался, вскричал:

— Да погодите вы! Что случилось?

Весть и в самом деле оказалась поразительная: Вера Засулич стреляла и тяжело ранила в Петербурге градоначальника Трепова — с трех шагов, в кабинете, в упор.

То была месть за избиение Боголюбова. Расплата за фунт чаю и сахару, первый ответ на трех- и четырехлетнее заключение без суда лучших людей России.

Замечательно, что стреляла не розовая курсистка, а женшина двадцати семи лет. Ее уже арестовывали дважды: в шестьдесят девятом, по делу Нечаева. А два года назад она занималась пропагандой здесь, на киевщине, была членом киевского кружка.

Трепову, «Федьке-взяточнику», по заслугам. Старательный бурбон много сделал, чтобы довести до отчаяния сотни студентов. Недаром император выпустил в его честь жетон, увенчанный родовым гербом генерал-адъютанта и девизом: «Храню и охраняю», а на обратной стороне — гербом столицы с воистину царской рифмой: «Сердечный привет за десять лет».

Дейч носился от двери к окну и обратно и вдруг остановился, как вкопанный:

— Что же вы не радуетесь, Кибальчич?

— Как не радуюсь? Радуюсь... — неуверенно ответил он. — Это х-хорошо... с-славно...

— Или вам жаль Трепова?

Вопрос оказался неприятен Кибальчичу. Ответил с неохотой:

— К-как вам сказать?.. Что хорошего, если человеку в-вгоняют пулю в живот?.. Но еще больше жаль эту девушку. Что ее ожидает?

— Ее ожидает слава! — произнес Стефанович и бесцветные его глаза злобно вспыхнули. — Признательность всей России!

— Да... — отозвался Кибальчич. — Может быть.

Впрочем, восторг миновал и у других. Иные чувства и мысли встали на очередь. В самом деле, что ожидает Веру? Смертная казнь?

— Хочу в Петербург, — сказал Дейч. — Представляю, что там творится.

Хотеть, как говорится, никому не заказано. Однако на каждом этаже свой надзиратель, ключник, жандармский пост во дворе, часовой у ворот, высокие стены в два кольца, бревенчатые и кирпичные... Единственная надежда — на скорый суд и побег с каторги или этапа.

У Кибальчича и Малавского положение проще. Ничего серьезного за ними не значилось, грозила им, скорее всего, ссылка. Ну а из ссылки предприимчивому человеку все дороги открыты, по крайней мере, в эмиграцию.

— Я хотел бы восстановиться в академии, — сказал Кибальчич.

Дейч захохотал.

— Ну-ну. Вас там очень ждут.

— Что мне делать в эмиграции? Я хочу заниматься н-наукой, других способностей у меня нет.

— Способностей? — завопил Дейч. — А совесть у вас есть? По-вашему, в России можно с чистой совестью заниматься наукой?

— Чем же еще? С-социализмом? Мы не готовы к нему. Я присоединяюсь к Лаврову: путь к социализму лежит через ф-физику, химию, физиологию. Социализм — общество образованных людей, для д-диких больше подходит монархия.

— Глупости, социализм — общество равноправных. Вы хотите спрятать свой нос в книги. Вы...

— Тихо! — вдруг рявкнул надзиратель. — Щас разведу по камерам!

И Дейч тотчас притих, а Бохановскай со Стефановичем ухмыльнулись.

— Уведи его одного, — сказал Бохановский. — Надоел «дер Дейч».

Опять почудилась некая тайна в Тихонове. Во-первых, странен был интерес, какой проявлял к разговорам политических, во-вторых... Бесплатно ходил в магазин за покупками, хотя обычная пошлина пять копеек, при чем не в ближайший, тюремный, где и селедка ржавая и хлеб черствый, а ездил

с мешком в город; заглядывая в камеры, отворачивался от некоторых подозрительных книг...

Успокоились, опять заговорили о Вере.

— Что т-толку в этом покушении? — сказал Кибальчич.

— Прикажете молчать, когда вас станут драть?

— Вот если бы из д-двухстволки дробью в ф-филейную часть...

Заулыбались: картина была бы хороша.

В двенадцать ночи менялся караул, и Тихонов забеспокоился.

— Расходимся, — сказал он.

Через полгода Кибальчич узнал, какую необычную роль сыграл здесь странный надзиратель.

Не много, но кое-что все же становилось известно в тюрьме о том, что происходило в России. Стачка рабочих в Петербурге на Новой бумагопрядильне, вооруженная схватка в Одессе на конспиративной квартире с типографией, арест Ковальского, Виташевского. Казнь шпионов Никонова, Финогенова. Новая волна слухов среди крестьян о переделе земли.

Вернувшись из больнички, Кибальчич написал очередное прошение, но уже не в министерство юстиции, а первоприсутствующему, сенатору Ренненкампфу. Через две недели снова потребовал бумагу и повторил прошение — уже возмущаясь, негодуя, требуя ответа *немедленно*.

Каждое из прошений начинал подсчетом месяцев, проведенных в тюрьме, казалось, что это важно, и сегодня он, просидевший два года и четыре месяца, имеет больше прав на суд, чем полгода, тем более год назад, что с каждым месяцем шансы его растут. Письма свои он показывал чигиринцам — Стефанович морщился, Дейч и Бохановский посмеивались. Почему бы вам не перевести месяцы в дни или часы? Логика вас погубит, Кибальчич.

Понимал — глупо, и это прошение, как предыдущие, канет в темную воду, но не было сил терпеть и ждать. Не было больше сил заниматься языками, физикой-химией, испытывал отвращение к каждому предстоящему дню.

Становилось понятно, почему сходили с ума и кончали с собой, не дождавшись суда, арестованные по делу о пропаганде. За три года одиночества самые неожиданные изменения происходят в душе.

Начал ловить себя на том, что вместо чтения раскладывает слова на четные пары и волнуется, если выходит нечет. Или старается, вышагивая по камере, наступить на сучок в полу. Поделился такими самонаблюдениями с Дейчем: бывает у него или нет? Эй-эй, — ответил он. — Возьмите себя в руки, Кибальчич.

Часами обдумывал то, о чем говорил со Стефановичем, Дейчем, Бохановским. «Спешить надо, спешить! — говорил Стефанович.— История предоставила России последний шанс! Если мы его не используем, потомки проклянут нас».

Но, во-первых, всегда и каждому поколению кажется, что шанс, если и не последний, то исключительный. С точки зрения человеческой жизни это действительно так. Но надо ли спешить?

Не надо. Если кратчайший путь к добру лежит через зло, — следует выбрать дальний. Добро не может располагаться так близко, на расстоянии человеческой жизни, оно конечная цель человечества. А если кажется — рядом, это ошибка, обман зрения. Кратчайший — обязательно неправильный. Добро и зло понятия совсем не мистические. Они варятся в одном сосуде, и зло является поначалу как добро. Добро — цель, а зло результат движения к нему. И люди, если хотят добра скоро, немедленно, плодят зло.

Потому нельзя спешить. Надо искать путь, на котором меньше зла. У человека две основные позиции и два чувства: я и они, правота и вина. В итоге прав я, они виновны. Но где кончается «я» и начинаются «они»? Нужно ставить себя на место и в положение других людей.

Ну, а порой Кибальчич чувствовал, что и думать не в состоянии. Часами в полудреме лежал, закрыв глаза.

И вдруг его пригласили к начальнику тюремного замка и сообщили, что завтра же этапом отправляют в Петербург.

Он был счастлив. Чувствовал себя так, будто исполняется заветная жизненная мечта.

Выдали сапоги и портянки, почти не ношеный полушубок и шапку.

Малавский дал в дорогу пять рублей.

Нежно простился со всеми. «Может, и встретимся», — сказал на прощанье загрустившй Дейч. «Конечно», — бодро отозвался он.

Дела чигиринцев были нехороши: аресты ширились, ожидался большой процесс. Барон фон Гейкинг получил новое звание — капитан.

Тихонов тоже подошел проститься. «Желаю вам стать начальником тюрьмы», — сказал Кибальчич, поскольку тот за два-три месяца поднялся от тюремного рабочего до надзирателя. «А вам больше не попадаться».

Заканчивался февраль, приближалась весна. Дни стояли солнечные, капель звенела за тюремным окном. Впереди были пересыльные тюрьмы Курска, Москвы, наконец, Петербург.

Сюда его везли ошую и одесную два жандарма, отсюда этапом — тоже хороший знак.

В Петербурге Кибальчича поместили в Дом предварительного заключения — не так давно построенное здание, просторное, светлое, пятиэтажное, лестницы окованы медью — свадебный дворец сравнительно с Киевской тюрьмой. Больница, мастерские, баня, школа, церковь православная и лютеранская — сооружение достойное цивилизованного государства, и, как во всяком достойном, на стенах извлечения из правил, обязанности заключенных и права. Умывальник в каждой камере, канализация, никаких «параш» и мерзких запахов, можно носить собственную одежду, читать и переписываться — все соответствовало новому, европейскому пониманию суда: обвиняемый в преступлении еще не преступник. Но и все, как прежде в России: трехлетнее ожидание суда — не срок.

Камеры, битком набитые с октября минувшего года, к приезду Кибальчича уже опустевали. Приговор по делу о пропаганде в империи был объявлен в окончательной форме, оправданных освободили, в ДПЗ остались только те, кто отправлялся на каторгу и в ссылку.

Петербург жил ожиданием суда над Верой Засулич. Уже известно было, что Трепов поправляется, клянется, будто выпорол Боголюбова по совету министра юстиции графа Палена; что дело будет слушаться в Окружном суде, где председатель двадцатисемилетний юрист Анатолий Кони, что прокуроры Жуковский и Андреевский отказались от обвинения.

Были и другие новости: в Киеве совершено покушение на прокурора Котляревского, и появились прокламации, подписанные неким «Исполнительным комитетом» с печатью в виде револьвера и кинжала.

Кибальчич попросил разрешения работать в мастерских. Осужденные имели право ходить друг к другу в камеры и гулять во дворе, однако те, кто еще ждал суда, сидели в одиночках и на прогулку их выводили в специально устроенный загон-клетку. Мастерские были единственным местом, где он мог встречаться с людьми.

Появление здесь Кибальчича вызвало немалое оживление. Особенный интерес — то, что сидел с Дейчем, Стефановичем, Бохановским. Собственное дело Кибальчича впечатления не произвело — пустяк. Почувствовал, что его не принимают в свою среду. Что интересны им только те, кто ходил «в народ», стрелял, скрывался и, наконец, пострадал. И чем суровее приговор, тем, выходит, значительнее судьба. Смирился. В самом деле, его взгляды на мир иные, а к одиночеству он привык. Убеждения не меняют ради хороших людей.

Однако, каково самомнение!.. Подняли его на смех, когда заявил, что попытка переворота приведет к реакции. Только они знали, как жить и что делать, больше никто. Упивались своим единомыслием и союзничеством, своими минувшими и предстоящими страданиями. Что для них неприметный рядовой человечек, случайно просидевший три года в тюрьме? Дружелюбно, но снисходительно хлопали по плечу: «Ну, Кибальчич, что еще прочитал?»

Приходил в мастерские, становился к своему верстаку, пилил, строгал и перестал добиваться их внимания и любви. В конце концов, психика у него такова, что говорить может только с единомышленниками. Спор — не его стихия, не было такой потребности в душе. Будущее покажет, кто прав: они, жаждущие немедленного переворота, или он, считающий, что переворот — утопия, а время революций не пришло.

Единственно — написал Брешковской, что тоже содержалась здесь, в ДПЗ. Передал привет Стефановича — они вместе работали среди крестьян в Тульчине Подольской губернии, и изложил свои взгляды. Была она из старшего поколения революционеров, а кроме того, родилась на Черниговщине, потому и решился на откровенность. Ну и, если совсем откровенно, хотелось пожаловаться. Найти человека не столь уж уверенного в своей правоте.

В последний день месяца, когда начался суд над Верой Засулич, тюрьма притихла. Казалось, судьба России решается на этом процессе.

Известие утром пришло ошеломляющее: оправдана!

Тюрьма бушевала и праздновала несколько дней. С воли рекой шли подробности о том, какие замечательные речи произнесли Кони и защитник Александров, как несли студенты Александрова на руках по Литейной, что Вера освобождена и скрылась. Ночной пожар на фабрике за Невой, на Выборгской. Распоряжение градоначальства о задержании Засулич. Избиение студентов в Москве. Отставка управляющего ДПЗ Федорова за то, что упустил Веру. Опала Кони и даже графа Палена. Летучая фраза Кони: «суд постановляет приговоры, а не оказывает услуг».

С завистью прислушивался Кибальчич к таким разговорам. Чувствовал себя чужим.

Ничего, скоро суд. Первоприсутствующий сенатор Ренненкампф уже вручил ему копию обвинительного акта, список лиц, что будут вызваны к судебному следствию, и объявил, что в семидневный срок должен избрать защитника. Не желает ли вызвать других лиц в качестве свидетелей и по каким таким обстоятельствам?

Не желает, ответил, ни по каким.

Представил переполох, что произведут в Жорнице повестки крестьянам Владимиру и Николаю Стефанюкам и улыбнулся. Воспоминание у них об участии в столь важном государственном деле останется на всю жизнь. И детям будут рассказывать, и внукам.

Защитником выбрал Ольхина — посоветовал один из новых знакомых, Тимофей Квятковский.

Суд назначен был на первое мая.

* * *

Письмо Кибальчича на Катерину Брешковскую не произвело впечатления. Слишком обстоятельно, без повода и причины, рассказывал он, как и за что арестован, где и сколько сидел. Мало ли их, случайно арестованных? Трехлетнее заключение еще не причина для жалоб и не повод для дружбы с ней. Она занималась революционной работой с шестнадцати лет и давно научилась распознавать людей, отбрасывать случайных попутчиков и визитеров. Презирала тех, кто, подавшись моде на сочувствие народу, приобретал две-три запрещенные книжки, а, попавшись, горько жаловался на правительство и судьбу. Особенное право на презрение она чувствовала теперь, на тридцать пятом году жизни, после приговора. Она собиралась бежать с каторги, но даже если не удастся, если прикуют к тачке, ко времени освобождения ей будет тридцать восемь — на заводских работах восемь месяцев засчитывались за год. И только упоминание о Стефановиче заинтересовало ее. Тотчас запросила друзей: кто он, Кибальчич? Ответили: интереса не представляет. Правда, толковый. Знает три языка и вообще прочитал в тюрьме кошмарное количество книг. Любит рассуждать о роли просвещения и экономическом факторе. Знает больше, чем все мы вместе на пяти этажах, но в революцию не верит, возможностей для перемен не видит. Собирается продолжить учебу. Проповедует добро как таковое, которое сильнее зла.

Все подтвердилось. Случайный человек, полиция совершила обычную ошибку. Сколько таких возможных врачей, инженеров, ученых, наконец, просто полезных чиновников она отворотила от себя? Ничтожества и глупцы, не разумеют своих.

Вы еще много успеете добиться, — ответила ему в короткой записке. Стать профессором или потомственным дворянином. Обзавестись семьей и парой выездных. И ничего дурного в том нет. Желаю крупных успехов.

Тотчас забыла о нем. Такие люди со всеми их знаниями достойны сочувствия, но никак не уважения. Они — масса, которой обстоятельства жизни еще не открыли глаза. Толковость и знания не помогут, только — сердце, а сердце у них, как правило, отстает от ума. У нее самой сердце опережало, и слава богу, именно оно вывело на полезный родине путь. Ее отец — не слишком образованный, не слишком толковый, но с сердцем, в бытность мировым посредником на черниговщине помог крестьянам выбрать в гласные знаменитого помещика Байдаковского, и неважно, что Байдаковский был выслан, а отец подал в отставку — все они сделали *шаг*. Ей было семнадцать той весной шестьдесят первого, когда отец, захлебываясь от восторга, читал вслух Герцена к Александру: «Ты победил, галилеянин!» — и девятнадцать, когда зачитал иное: «Зачем Вы не умерли в этот день?»

Отец считал, что польская кровь, национальный вопрос погубили реформы, и так будет всегда, поскольку ничего, кроме короны, не объединяет народы этой громадной страны.

Два с лишним года она скиталась по России в поисках единомышленников, дважды — сперва с Машей Коленкиной, потом с Яковом Стефано-

вичем — ходила в народ. При арестовании у нее обнаружили четыре экземпляра рукописной прокламации «Как должно жить по законам природы и правды» — этого оказалось достаточно, чтобы приговорить к пяти годам заводских работ. Впрочем, не только в прокламациях дело. «Имею честь принадлежать к социалистической и революционной партии российской», — заявила она на суде. И потому чувствовала за собой право без снисхождения относиться к людям.

Через три дня снова получила письмо. Недоброе шевельнулось чувство, когда узнала почерк Кибальчича. Она изъяснилась ясно, о чем теперь он может писать?

Почерк у Кибальчича был мелкий, но разборчивый, письмо либо перебелено, либо хорошо обдумано: никаких правок, пять страниц строка к строке. Он писал о покушениях последнего времени, о том, что жестокость ничего не рождает, кроме ответной жестокости, что только просвещение всех, от мужика до сенатора, может дать какой-то результат. Абсолютной справедливости добиться нельзя, а относительной можно. И просвещение, массовый мирный протест — главный путь. Но и просвещения мало: условия для революции должны созреть. Читала ли она Маркса? Что думает по поводу его экономических взглядов?

Все покушения, на его взгляд, были ненужными, даже вредными, вместо одних полицейских и шпионов приходили другие. Что произошло после выстрела Каракозова? Массовая смена губернаторов: 29 заменено из 53. Что произойдет теперь, после выстрела и оправдания Веры Засулич? Ограничение компетенции суда присяжных.

Все это было ей известно, обдумано и отвергнуто, он повторял то, что она давно пережила. Рассердилась, написала несдержанное, даже ругательное письмо, которое отбило бы у него охоту к переписке, пусть тащится со своим просвещением в хвосте революции, если не хватает чести и мужества, пусть упивается книжной мудростью, если глаза не видят, что происходит вокруг. Что спрашивать у человека с отсталым сердцем?

Но уже на другой день начала ждать ответ. А когда не получила его ни на третий, ни на четвертый, опять рассердилась. Что за себялюбие, в самом деле, спровоцировать на откровенность и молчать?

На пятый сама написала ему. Хотелось все ж таки объясниться. Пусть знает, что единственная ее надежда и забота — революция. Ей она посвящает жизнь. И потому имеет право на непримиримость. Даже — на резкость.

Отправила письмо с надзирателем и тотчас раскаялась. Опять наговорила невесть что. Что стало с ней за четыре года в тюрьме? Где та женственность, о которой, заикаясь, твердил Яков Стефанович в деревне Цебулевка, и пятнами вспыхивало его некрасивое морщинистое лицо?

Ответ пришел утром еще более обстоятельный. И опять непонятно было то ли проповедует, то ли оправдывается, то ли ищет истину и сомневается в том, что нашел. Одно ясно: не хочется ему менять взгляды. Потому и обращается к ней, женщине, в надежде на присущую женщинам умеренность и мудрость. Террор по-прежнему вызывал у него протест и отвращение: зачем было убивать Тавлеева, Никонова, Шарашкина, обливать кислотой Гориновича, сталкивать под поезд Чугуя?

Слово «революция» не вызывало у него никакого трепета, «партия» — никакого дополнительного уважения, и это было особенно досадно, потому что сама она трепетала перед такими понятиями даже теперь, на тридцать пятом году. До революции и партии ему еще так же далеко, как далеко до истины. Что же, снова оттолкнуть его?

Он признавал необходимость революции, но не стихийной, то есть, кровавой, а подготовленной десятками лет развития, просвещенной, продуманной, с которой согласны все и требуют все. С выстрелами не от ненависти, а от энтузиазма, с клинками залитыми не кровью, а солнцем, с учеными, а не народными трибунами в первых рядах.

Между прочим, было ему уже двадцать четыре года. Не много ли для таких воззрений?

Однако было нечто еще за наивными представлениями. Не ради того, чтобы заявить свои убеждения писал он. Действительно хотел знать и по знанию своему жить.

Камера Брешковской была клубом, к ней, старшей, набивалось столько, что сесть некуда: валились на пол. Переписка с мужским отделением шла бурная. Каждое письмо читалось и обсуждалось, изучалось, ответы писали и коллективно, и поодиночке. И вдруг поняла, что письма Кибальчича не вызывают интереса у ее подруг. Больше того, они вызывали иронию, а иногда — хохот. Все письма Кибальчич начинал одинаково: «Катерина!» — писал крупно, на всю строку. Так появилось нелепое прозванье. «Что за скучный человек твоя «Катерина»!» Было обидно. «Погодите, может, мы еще услышим о нем». Что ж, никто не возражал, все бывает. Но читать такие длинные и мудрые письма — уволь.

Впрочем, письма его становились все короче. А перед судом прислал всего несколько строк.

Нет, от наук своих он не отрекался. «Я займусь такой наукой, которая помогла бы приложить свои силы самым выгодным для революции образом».

Уклончивое, как ни посмотри, обещание...

Увидеться им так ни разу и не довелось.

И еще был запомнившийся человек, Тимофей Квятковский, единственный, с кем сблизился: встречались в мастерских. Его ждала девятилетняя каторга, но Тимофей надеялся на смягчение: каторжные приговоры послали Государю.

«Сомневаюсь, — говорил Кибальчич. — После выстрела Веры Засулич, тем более, ныне, после оправдания...»

«Вы, наверно, думаете, что оправдали из великодушия? Они боятся нас».

Давно заметил: всем социалистам свойственно преувеличенное понимание своего значения. Оправдание Веры, конечно же, уступка, но не социалистам — общественному мнению: власть силы теряла кредит.

Тимофей был сыном Томского дворянина-золотопромышленника и начал жизнь обычно: поступил в университет. Однако оставил учебу, кинулся за истиной в Цюрих, Париж и вдруг — за ней же, за истиной, — в село Хотуши Тульской губернии. Устроил слесарно-замочную мастерскую, повел с мужиками разговоры о настоящем и будущем. Полиция очень быстро взяла его след.

По взглядам Тимофей был не то бабувист, не то бакунист. С одной стороны — «пусть все ввергнется в хаос, и пусть из хаоса изыдет мир новый и возрожденный!» С другой — исключить из жизни народа принцип власти вообще. Революцию готовить не надо, русский народ — вместилище бунтарского духа, стоит только взорвать государство и...

Бакунин, скончавшийся в Берне два года назад, был женат на его двоюродной сестре. Этот факт, по-видимому, тоже сыграл роль в его взглядах и судьбе. Говорить с ним было трудно, чужих мнений не признавал. «Знаете, кому на пользу пойдет ваша ученость? Думаете, народу? Ха-ха».

Иногда Кибальчич пытался быть последовательным.

— Допустим, — говорил он, — революция назрела. Но почему — в хаос и из хаоса? Революция вполне может быть и бескровной, если назрела, если по необходимости, а не по воле. Кровь льется от обоюдной дикости, страха, от непонимания того, что революции не делают, они — свершаются. Нужно готовить общественное мнение. Нужна основательная, понятная всем программа, наука о революции.

— Как бы не так, — отвечал Квятковский. — Революция — это не только программа, а еще и месть. За что вас три года продержали в тюрьме? Вам не хочется отомстить?

— Так ведь не обо мне речь. О поколении.

— Ах, о поколении! А вы к нему и не принадлежите. У вас нет поколения. Вы не то младенец, не то старик. Хорошо, если бы вас упекли на каторгу лет на пять.

Такие вот разговоры изо дня в день. Сперва необязательные, случайные, потом — уже готовился к ним.

— Понятно, если — п-предатель. Но зачем убивать шпионов? Их достаточно выявлять. Шпионство тоже вид службы. Нельзя лишать жизни человека за то, что выполняет с-служебньй долг.

Квятковский издевательски хохотал.

— Вы сын священника, Кибальчич? Чувствуется. Во времена революций священникам ничего не остается, как молиться за упокой.

— Революция еще не началась, а к-кровь вы уже отворили.

— Разве мы, Кибальчич? Хотите, я назову десятка два имен? А голодная Россия — это не кровь?

— Россия не готова к революции.

— Ошибаетесь. Мы не готовы. Мы не знали, куда ее повести. Или нам тоже было наплевать на нее. Или — совесть просыпается позже ума. Не рано, а поздно, быть может, начинать революцию. Народ уже не верит нам. Да и не верил никогда — вот причина. Теперь своей кровью мы должны эту веру заслужить, иначе грош нам цена, на каторгу и дорога...

Но постепенно агрессивность Квятковского затухала. А за день до суда он сказал: «Прощайте, Кибальчич! Мне вас жаль. Совесть у вас проснулась, а вера — нет. Жаль, если не встретимся. Я научил бы вас без промаха бить из шестиствольного. Очень быстро продвигается сознание с пистолетом в руке». — «Избавьте, — ответил. — Это не для меня».

Так и не научился распознавать, где у Квятковского кончается юмор и где начинается ненависть. Юмор — житейское качество, ну а ненависть? Где ее исток? «Голодная Россия»? Недоставало некоего важного звена.

Судоговорение началось в двенадцать дня и продолжалось недолго — часа полтора-два.

Правосудие, кроме первоприсутствующего Ренненкампфа, представляли сенаторы Пятницкий, Червинский, барон Медем, князь Голицын, ну и, как обычно, добровольцы благонадежности: предводитель нижегородского дворянства Зыбин, предводитель сумского Кондратьев, псковский городской голова Сутгоф, старшина московской волости Гельке, а также прокурор Жуков.

Внушительная собралась компания. Однако ясно было, что приговор окажется пустяковым. Никак не смотрелось дело Кибальчича после процесса о пропаганде в тридцати шести губерниях и дела Засулич.

Публики в зале оказалось немного, около тридцати человек: приказчики, дворники, квартировладельцы и владелицы. Из Жорницы приехали Владимир

и Николай Стефанюки. Николай, доносчик, заворачивал голову, чтобы не встретиться взглядом.

Все это использовал Ольхин в защите. Воздал судьям уважение полной мерой, вспомнил о недавних событиях в правосудии и государстве, посочувствовал Стефанюкам, принужденным тащиться в столицу в разгар посевных работ, публике — за обманутые ожидания... В самом деле, каков путь, что проделали свидетели? От Жорницы до станции Голендры, от Голендр до Калязина, от Калязина до Бреста, от Бреста в Санкт-Петербург. Истратили по двадцать пять рублей в один конец, потеряли пять дней — ради чего? Какого-то похлебать киселя?

За окном то сеялся легкий майский дождик, то выглядывало на минуту солнышко, и такое же легкое, обнадеживающее настроение жило в зале. Ольхин отвлекался от главной темы защиты, вопрошал и иронизировал, держался, как победитель, но первоприсутствующий не останавливал, даже позволял себе перемолвиться словом с князем Голицыным и снисходительно улыбнуться там, где Ольхин оказывался остроумен. Обстановка в зале суда была, как в гимназии накануне вакаций: трудный год позади, оценки проставлены, остается дождаться последнего звонка и с облегчением разойтись.

Да, атмосфера в России изменилась. Если господин Ненарочкин предполагал Кибальчичу каторгу от четырех до десяти лет, то ныне он обвинялся по 251 статье, п.39, 56 и 4 Уложения о наказаниях, что грозило арестом от семи дней до трех месяцев и надзором от одного года до трех. Ольхин обещал даже освобождение из-под стражи в зале суда под залог в пятьсот рублей. «Где же я возьму такую сумму? Для меня сейчас равно, что пятьдесят, что пятьсот...» — «Не беспокойтесь, — улыбнулся Ольхин. — Деньги внесу я. Пятьсот — наш профессиональный минимум, неприкосновенный запас. Вам придется оплатить только судебные издержки». — «Много ли?» — «Дорогу свидетелям в оба конца, священнику за приведение к присяге. Около ста рублей». — «Ста?!» Ольхин рассмеялся: «Как хорошо, однако, иметь дело с купцами и взяточниками. Никаких проблем».

Суд и начался с того, что Ольхин просил об освобождении Кибальчича из-под стражи и отдаче на поручительство.

До суда они виделись только однажды и сразу понравились друг другу. «Ну-с, молодой человек, — весело спросил Ольхин, — каковы ваши притязания?» — «На свободу». — «Недурно. А возмещения убытков не желаете?» — «Не желаю». — «Что ж, скромно, как говорится, и с достоинством. Об одном прошу: откажитесь от последнего слова. Ваша публика, как я заметил, что ни скажет — все плохо, во вред себе».

Голос прокурора был равнодушный, громкий, он не выговаривал звук «Ч» — получалось «Кибальшиш». Такое же равнодушие и разочарование тлело в лицах случайной публики. И только Стефанюки, пережив робость, с уважением глядели на судей и со смущенным любопытством — на Кибальчича. Да, будет о чем рассказать в Жорнице, не каждому выпадает счастье прокатиться в столицу и поучаствовать в суде... Из свидетелей не приехал только Василий Притула, как было сказано: «лазарет 32-й пехотной дивизии в декабре 76-го года выступил в военный поход».

Нет, ничего похожего на желание мести он сейчас не чувствовал. Случались такие минуты и в Киевском замке. Бывало, что хотелось отмщенья всем: верноподданному пономарю, сладчайшему отцу Наркиссу, его преосвященству митрополиту киевскому, губернскому прокурору и губернатору, генерал-майору Павлову, Ширинкину, Поскочину, Гейкингу, Ненарочкину...

А иной раз — никому лично, а всей государственной машине, пришедшей в движение из-за ничтожного доноса. В самом деле, все вместе и каждый в отдельности поступали по совести. Не из-за врожденной подлости отнес пономарь «Сказку» отцу Наркиссу, Наркисс митрополиту, митрополит губернатору, не по злобе или патологической жестокости его на три года закрыли в тюрьме. Так понимали свой служебный долг и гражданскую обязанность. У каждого определенная роль в государственном механизме и могли ли они поступить иначе?.. Придет новое время, переменятся ценности и изменится государство, но всегда чиновники будут ревностно исполнять свой долг. Понятно: государство охраняет себя. Есть тут и диалектика: уничтожая слабых, оно воспитает силы, способные изменить его. Обозримо ли это будущее? Квятковский, Катерина Брешковская считают — да, обозримо. И достижимо, если хотя бы одному поколению организоваться и собрать силы.

Но сейчас ему не хотелось думать ни о прошлом, ни о будущем, а только о предстоящем освобождении: суд удовлетворил просьбу Ольхина.

О том, как, не оглянувшись на ДПЗ, пойдет по Шпалерной, Литейному, Невскому, сам выбирая себе дорогу и направление, заглянет к сестре, к квартирной хозяйке Анне Евсеевой, в Медико-хирургическую академию: его приятели заканчивают пятый курс.

Первоприсутствующий прекратил прения, и Особое присутствие удалилось для постановки вопросов о виновности.

Нет, он не считал, что полностью потерял три года. Понятно, был лишен многих удовольствий и радостей, но усовершенствовал языки, усердно занимался физикой и физиологией, химией, не слишком отстал от сокурсников в медицине, разве что упустил занятия в анатомическом театре, все можно еще восполнить, поскольку — двадцать четыре года, все можно и надо успеть.

— ...По Указу Его Императорского Величества правительствующий Сенат в Особом Присутствии для суждения дел о государственных преступлениях...

Как оживились, однако, лица в зале. Что за надежды внушает им канонический текст? Тоже — на освобождение? От рутины скучного заседания, от назойливого голоса прокурора, от непонятной иронии защитника... На прогулку под теплым дождиком? Или на неожиданно суровую кару преступника — недаром потеряли время, подтверждение тому — приговор?

— ...признал подсудимого виновным в том, что он летом 1875 года, проживая в местечке Жорница Липовецкого уезда Киевской губернии, имел у себя без разрешения надлежащего высшего начальства сочинение под заглавием «Сказка о четырех братьях» по содержанию своему направленное к возбуждению бунта или явного неповиновения власти Верховной...

С каждым словом первоприсутствующего нарастал в лицах публики интерес.

— ...сына священника Николая Иванова Кибальчича, ныне двадцати четырех лет, подвергнуть аресту в тюрьме на один месяц и затем отдать под надзор полиции на один год.

Наибольшее разочарование выразилось в лицах Стефанюков. Растерянно топтались, когда публика поплелась к выходу, поглядывали на судей и на Кибальчича. Все? Закончилось государственное событие в жизни?

Подошел Ольхин, пожал руку.

— Поздравляю. Идите и наслаждайтесь жизнью. — Достал из кошелька три рубля. — Вот вам на первый случай. Прощайте?

Как однако меняется психика за три года. Привычнее было бы снова оказаться в камере, чем идти по длинному коридору одному.

Вышел на крыльцо дома правосудия, остановился. Неужели не окликнут, не остановят?

Дождик прошел, солнышко светило над Петербургом. Почки набрякли. От влажной земли теплый дух. Свободные люди идут по улице.

Сделал десяток шагов по Шпалерной и не выдержал, оглянулся на ДПЗ. Неужели — все?

В Жорнице Мария отпаивала его молоком Рыжухи, старой, хромой на заднюю ногу коровы, что давала на удивление сладкое молоко, а сливки — на три пальца в кувшине. Как и прежде, она, решительная и предприимчивая, оставила хлопоты по хозяйству с приездом Степана. Есть заботы поважнее: любимый муж, его довольство и покой. Сама готовила обеды и ужины, переодевалась к вечеру в любимые мужем платья, а однажды решила созвать гостей: помещика Артамонова, учителя Трусевича, доктора Живицкого и даже уездного исправника из Липовца, штабс-капитана Войтецкого. Что-то еще заботило ее в составе приглашенных и, наконец, спросила: «Что если отца Наркисса позвать? Как ты, Николя?» — «Да ради бога», — ответил он.

Степан, раненый в коленный сустав под Плевной 17 апреля, в день рождения Государя, рассказывал за столом о приезде Государя и его слезах при посещении Плевненского госпиталя. О том, как подошел и к нему, Степану. «Что, братец, болит?» — «Никак нет, Ваше Величество!» Но Государь печально возразил: «Знаю, болит». Слезы Государя произвели особенное впечатление, и старик Артамонов воскликнул словами Жуковского: «Да на гряде высокой не забудет святейшего из званий — человек!»

Артамонов, в свою очередь, рассказал, как сорок лет назад ездил в Киев повидать Александра Николаевича во время его полугодового путешествия, по выражению того же Жуковского: «всенародного обручения наследника с Россией», и в Петербург, на венчание Александра Николаевича с Марией Гессен-Дармштадской — Марией Александровной. Ныне многие говорят о малодушии Государя в войне с турками, но, во-первых, не от сердечной ли оно доброты, а во-вторых, какое малодушие, если за двадцать лет произведено столько реформ, сколько не было в России за все времена после Петра? Он, Артамонов, теперь уж стар, а прежде каждый год ездил в Петербург, чтобы хоть издали увидеть Государя, был и тогда, в апреле шестьдесят шестого, когда только провидение спасло Россию, попал и на знаменитый молебен в Летнем саду и на оперу господина Глинки, когда публика заставила хор восемь раз исполнить «Боже, царя храни», и уехал только после казни Каракозова, прокричав свои проклятия на Смоленском поле. Вернувшись в Жорницу, послал триста рублей спасителю Государя, бывшему картузнику Осипу, а ныне потомственному дворянину Осипу Ивановичу Комиссарову-Костромскому. Он, Артамонов, именно у Государя учится доброте. К примеру, то, что Государь послал двум сестрам Каракозова по две тысячи рублей, не добросердечие, не душевная доброта?.. Бережно хранит две медали, выпущенные в память спасения — одну с погрудным изображением Александра Николаевича и надписью: «Сердце царево в руке Божьей», другую — с изображением Комиссарова: «От инженеров, чиновников и мастеровых Санкт-Петербургского монетного Двора».

Ну а теперь довели Государя сограждане до того, что ездит по родному городу с конвоем: урядником на козлах и верховыми казаками. Каково?

Разумеется, все вопросы, и риторические, и живые, адресовались Степану. Он, проливший кровь, был самым значительным, интересным, неким образом представлял здесь государственную идею, но и друг о друге не забывали: оказывали знаки почтения, слушали каждый каждого с полным и абсолютным вниманием. На Николая поглядывали одобрительно: кто не заблуждался в молодости?

Полюбопытствовали, как собирается жить дальше. С удовлетворением узнали, что продолжит занятия в академии.

Накануне поездки в Жорницу Кибальчич заглянул туда. Бывшие сокурсники устроили ему овацию. Сбежались студенты иных курсов, не без зависти наблюдали их торжество. Никита Оржих-Оржевский поставил на стол стул, потребовал: «Речь, Кибальчич, речь!» — «Ради бога, — взмолился. — Я бывший студент, а вовсе не Робеспьер». — «Тогда я скажу! — заявил Никита. — Господа, знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами узник, просидевший в российских тюрьмах три года. Но что такое три года? Какова цена времени вообще? Она разная. Одна для узника, иная для жандарма, одна в тюрьме, другая за тюрьмой!.. Кто ответит за время, которое потерял Кибальчич? Которое теряет Россия, а следовательно, и мы с вами? Где тот судья, который востребует и возвратит долги?..» Очень бурные аплодисменты сорвал Жих.

Потом его потащили к начальнику академии, ввалились толпой: «Требуем справедливости и участия, Михаил Андреевич!» Быков, начальник, слушал с терпеливым раздражением. Разобравшись в притязаниях, ответил: восстановиться в академии можно. Требуется лишь только составить соответствующее прошение, и тогда академия запросит III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. Зачем? — поинтересовались студенты. Как зачем? Выяснить, нет ли препятствий к удовлетворению сей просьбы. А почему — Третье? А потому, молодые мои друзья, что на фоне последних событий и ввиду поднадзорности Кибальчича другого пути нет.

«Вот видите, Кибальчич, как просто? Пишите прошение». Энтузиазм, однако, таял на глазах.

Походил по пустым коридорам, прислушиваясь к голосам в аудиториях, заглянул к письмоводителю Музыкатову. Тот сразу узнал его. «Кибальчич, честное слово, я не знаю, кто получил ваши деньги». — «Какие деньги?» — «Ну как же, десять рублей от вашего брата... Я готов вернуть их, я...» Кибальчич рассмеялся. «Десять рублей!.. Я давно забыл об этом, и вы забудьте. Как думаете, восстановят меня в академии?» — «Конечно! — с жаром воскликнул письмоводитель. — Я думаю, обязательно... Нет никаких сомнений!»

Добрый, щепетильный и бестолковый был человек. Путал фамилии, имена, корреспонденцию, вечно извинялся, переживал.

Дождался следующего звонка. Холодный прием у Быкова забылся, снова явился энтузиазм. Какова она все же, тюрьма? По слухам, на дознании пытают бессонницей? Наказывают ли розгами? Бьют ли деревянным молотком по пяткам?

Теперь рассмотрел всех внимательнее. Пожалуй, не изменились, лишь Никита заметно раздался в плечах, отчего выглядел меньше ростом, да высокий лоб стал еще круче. Было и нечто неожиданное в его облике: когда-то носил высокие сапоги и гарибальдийскую шляпу, теперь один из немногих надевал форму. «Вам, Кибальчич, я посоветовал бы забыть обиды, — оставшись наедине, сказал он. — На государство — полицию, армию, суд — обижаться нельзя, как нельзя обижаться на медицину за свое

нездоровье». — «Я чувствую себя здоровым, Никита», — возразил Кибальчич. «Вы!.. А общество? Оно болеет... Кто стремится к отмщению — проигрывает. Если забудете — не пропадете, даже если не восстановят. С вашей способностью к самообразованию... Россия — страна самых неожиданных возможностей. Разве не так?» — «П-пожалуй, — ответил. — Я это уже п-почувствовал».

Прошение он составил. Слава богу, исходящие и входящие бумаги имеют свой канон и не передают чувств. Особенных сомнений в том, что восстановят, не было. В конце концов, до избытка врачей в России очень далеко. К тому времени, когда вернется в Петербург, придет ответ.

Отец Наркисс, улучив момент, накрыл его руку маленькой и мягкой ладонью. «Вы на меня не сердитесь?» — спросил ласково. «Ну что вы, — ответил Кибальчич. — За что?» — «Я не мог иначе. Все ж таки «Сказка» не хороша. Опасна...» Поглаживающая ладонь была отвратительна, но выдернуть руку не решался. Не было желания и возражать ему или обвинять. Странно было бы поступить иначе. Пономарь — да, тот совершил обычнейший донос, а отец Наркисс просто дал делу ход, поскольку если бы не дал... Что бы случилось? А ничего. Но совесть его была бы неспокойна.

Вдруг заметил, что все взгляды обращены на них, что отец Наркисс показывает их согласие, и отнял руку.

Исправник Войтецкий, крупный, мощный сорокалетний мужчина, первый, кто занимался делом Кибальчича по распоряжению генерал-майора Павлова, весь вечер упрямо сверлил его бесстрашными глазами, но не сказал ни слова. И только прощаясь, с чувством пожал руку. «Поздравляю вас, — сказал решительным, низким и отрывистым голосом, будто вручая награду. — Я знал, что правосудие... что брат такого человека, как Степан Иванович... что ваш арест...» — заплутал и еще раз, еще внушительнее сжал руку.

Прием удался. Гости разъезжались и расходились довольные общением, сытые и навеселе, удовлетворены были и хозяева.

Мария на крыльце приклонила голову к плечу Степана, он тоже обнял ее одной рукой.

— А тот фрукт... не появлялся? — вдруг спросил Степан. — Этот... ЭнТэ.

— Нет.

— Так я и знал. Всем фруктам фрукт.

И грязно, по-армейски, выругался, чего не позволял себе при жене в прежние времена.

Николай прожил у него неделю. Виделся и со Стефанюками, и с постоянным денщиком брата Гришкой Иващенко, и с Семеном Пасько. Пасько, само собой, напомнил, как его высекли три года назад, пономарь угрюмо, как старый гусь, завернул голову, попятился и исчез, а Владимир Стефанюк обрадовался: Кибальчич был свидетелем его торжества — поездки в Санкт-Петербург. Видел и Глашу, крестьянскую девушку, которую когда-то собирался учить читать. Не сразу узнал ее: по-бабьи кутала голову платком, отводила глаза.

Здесь его и настигли две новости. Во-первых, из Киевского тюремного замка убежали трое во главе с надзирателем. Во-вторых... убит — заколот кинжалом в спину — барон Гейкинг. Тот самый?

Была ли связь между этими событиями?

Что касается побега, почти не сомневался в том, кто эти трое и один...

Из Жорницы он отправился в Козелец к сестре Кате — крестил у нее племянника, здорового, терпеливо кряхтевшего в купели младенца; потом

в Короп — побывать у брата Федора и на могиле матери и отца; потом в Новгород-Северск — захотелось повидать старых учителей.

Там, в Новгород-Северске, из «Правительственного Вестника» узнал еще две поразившие новости: 2 августа в Одессе расстрелян Иван Ковальский, а 4-го в Петербурге, средь бела дня, на улице, убит шеф жандармов генерал Мезенцев.

Об аресте Ковальского слышал давно, знал, что ему грозит смертная казнь за ранение жандарма кинжалом, но с шестьдесят шестого казней в России не было...

Связаны ли эти события: казнь Ковальского и убийство Мезенцева? Убийца скрылся, никаких следов не нашли.

Невыносимо захотелось в Петербург.

* * *

Еще одна книжечка попалась мне благодаря дружбе Петра Александровича с букинистами: материалы для биографии Кибальчича, изданная в Женеве, в 1883 году, переизданная социалистами-революционерами в 1903 году. Автор одной из заметок, предположительно — Тихомиров, тот самый автор «Сказки о четырех братьях», что бежал во Францию, а через 15 лет просил простить и, вернувшись, первым делом отправился на могилу покойного императора. Ныне, как известно, Лев Александрович редактор «Московских Ведомостей» и преданнейший из верноподданных.

Не мне судить его. Тяжко на чужбине, если разочаровался и раскаялся, если подрастает безнадежно больной ребенок, сын, который не в силах освоить чужой язык, и Россия хоть какое-то будущее для него. Рано или поздно этому молчаливому мальчику предстоит остаться одному и не приходится рассчитывать на милосердие на чужой земле.

Не мне судить. Но достойно ли так кисло и высокомерно вспоминать старых друзей?

Впрочем, Кибальчича пощадил.

«...В умственном отношении он был человек вполне самостоятельный... обладал хорошей памятью и быстрым соображением... стоял на тысячу верст от всяких жизненных мелочей... внушал к себе доверие... был интересным собеседником...»

Не только пощадил, но и на три копейки добавил: «интересным собеседником» Кибальчич никогда не был. Напротив: отвратительным. В тот момент, когда я с одушевлением говорил о каком-либо своем разыскании, исследовании или публикации, мог ухмыльнуться и объявить: «До чего скучно. Хорошо бы супа поесть».

Нет, ничего, кроме общих слов, автор статьи для него не нашел. И наконец: «Знающие Кибальчича не могут удивляться его философски спокойной кончине. Он не был ни на йоту боевым человеком, не способен был поднять руку на себе подобное существо, но не мог быть и хладнокровным, когда приходилось сражаться... Он мог спокойно глядеть в глаза смерти, более спокойно, чем большинство других людей. И накануне смерти его, как известно, тревожила только судьба проекта воздухоплавания, как Архимеда — судьба его кругов».

Боюсь, в этом уважаемый вспоминатель ошибается. Конечно, отраднее считать, что близкий человек умер легко и покойно. Но как отыскать философское благовестие, что живое мгновение и неживая вечность — равны?..

Эта книжечка — последнее мое приобретение в нынешнем году.

Очень впечатляюще заканчивается 1906 год. В октябре казнены Тибилевич, Мамаева, Бенедиктова, Власов, Игнатьев, в ноябре в Тифлисе смертельно ранен генерал-майор Голощапов, в декабре повешены за покушение на Дубасова Березин и Воробьев, убит акмолинский генерал-губернатор Литвинов... А 17 декабря в Москве по народному шествию ударили из пушек.

Думаю, что к революции мы уверенно поползли с 1897 года, когда провозгласили принцип неприкосновенности Китая, вынудили японцев убраться с Ляодунского полуострова, и тут же зацапали Порт-Артур и Далянь-вань, — начали ввязываться в войну. И как тогда, в 1877 году, война казалась подходящим выходом и для тех, кто хотел реформ, и для тех, кто реформ боялся. Разумеется, ни тогдашняя победа, ни нынешнее поражение никому не принесли утешения, вот уже генерал Дурново выходит на площадь под красные флаги для переговоров с ненавистной революционной толпой... А вот и сообщение о награждениях за успокоение Москвы: 201 нижний чин медалями «За усердие», 144 — «За храбрость», 73 — орденом святой Анны.

Что еще? Ах да, матрос Егоров шпокнул главного военного прокурора Павлова... Ну, к этому не привыкать.

Похоже, что легенда о добросердечии русского народа давно разрушена, и иной судьбы у нашего общества, кроме как, отдохнувши, снова палить друг в друга и быть не может. Что это заложено в природе нации: проповедовать любовь и смирение, жить в молчаливом согласии с верховной властью, с верою в Бога, устрояющего судьбы ея, а потом взорваться и каждому достать из-за пазухи давно заготовленный камень. Только так можем двигаться по пути прогресса, догонять страны.

Прелюбопытно, что нам готовит новый, 1907 год...

ВЛАДИМИР МОЗГО

Возрождение

Вступаю в лес, как будто в храм...

Вступаю в лес, как будто в храм,
Открытый настежь всем ветрам.

Молюсь тут птице и пчеле,
Блестит живица на челе.

Здесь причащаюсь не бедой,
А родниковою водой.

Я исповедуюсь лесам —
И от берез светлею сам.

Под сенью дуба вновь и вновь
Беру извечную любовь...

Вступаю в лес, как будто в храм,
Открытый настежь всем ветрам.

Возрождение

Возрождаем замки,
Пояса.
Возрождаем храмы,
Образа.

Возрождаем —
Значит, ограждаем
От бездушья
Дух родного края.

Возродить святынь
Придется много,
Чтобы возвратилась
Вера в Бога.

Может,
Это вечное явленье —
Возрожденье —
Мира обновленье.

Мирский замок

И я опять спешу упрямо
В Мир,
Словно в давнюю мечту,
Где самый мирный —
Мирский —
Замок
Открыл столетий красоту,

Чтоб хоть на миг рукой коснуться
Его величественных стен,
На мудрость предков оглянуться
Из круговерти перемен,

В свою историю вглядеться
Глазами башенных бойниц,
Чтоб ощутить
Душой и сердцем,
Для нас сколь значимы они.

Чтоб не посмели прописные
Мы снова истины забыть,
Здесь предков башни крепостные
Стоят форпостами судьбы.

Земля Песняра

Верша свой назначенный путь,
Плывут облака на Альбуть.

Акинчицы, Смольня, Ласток —
Его родниковый исток,

Родная земля песняра,
Тех дней золотая пора,

Где колос янтарный поспел
И полнится песней удел.

Белорусский Наполеон

Из туманного прошлого он
Нам открылся,
                как облик на фреске.

Белорусский Наполеон
Проявился весомо и резко.

Память давних, забытых времен
На гравюрах
фиксировал метко,
Белорусский Наполеон,
Возродивший сокровища предков.

Всеми гранями, с разных сторон,
Раскрывался и щедро,
и гордо
Белорусский Наполеон —
Патриот нашей Родины
Орда.

Его оперным даром пленен
Был Париж,
но в порыве высоком
Белорусский Наполеон
Возвратился к полесским истокам.

И за то ему низкий поклон,
Что сумел
покорить наши чувства
Белорусский Наполеон
Не мечом,
а высоким искусством.

Маэстро

Композитору Олегу Елисеенкову

И для души, и для оркестра
Он пишет музыку, маэстро.

Душа с волненьем оживает,
Когда маэстро заиграет.

Лучами утреннего солнца
Его мелодия смеется.

И песня рдеет, как невеста,
Что под венец пошла с маэстро.

Чародей

Немало колдовства и чар
Познал седой, как дым, гончар.

Тут не отнимешь одного:
Талант от Бога у него.

Когда-то, верно, сам Господь
Вот так лепил из глины плоть.

Мелькают пальцы ловких рук,
Жужжит, поет гончарный круг.

В скульптуры птичек и людей
Вдыхает душу чародей.

И дарят нам его труды
Овеществление мечты.

Берег надежд

Наш парус, приветствуя дали,
Который уж круг пробегал,
Когда мы нежданно пристали
К чернильным, как ночь,
Берегам.

Устав от борьбы на просторе,
Упали на мокрый песок,
Где черное горе,
Накрывшее море,
Давало жестокий урок.

А вера,
Как вольная птица,
Будила надежду в груди —
С дороги не сбиться,
Сквозь волны пробиться,
До цели желанной дойти,

Где сила осилит стихию,
А воля над пленом взойдет,
Где слово услышат глухие,
Слепые —
Увидят восход.

За гранью тревожной и тонкой,
Так солнечно светел и свеж,
Откроется берег надежд
В далекой
Родимой сторонке.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

И остави нам долги наши...

Рассказ

Завьюжило, вот так завьюжило — в трех метрах ничего не видать — так и сыплет. Воистину: небеса разверзлись. И в хате холодно — хоть волков гоняй. Хорошо, что вчера не поленился и за дровишками в сарай лишний раз сходил. Как чувствовал.

От этой мысли старому Митрохе стало как-то сразу теплее.

— Счас грубку растопим, чайку вскипятим, и будет у нас как у Христа за пазухой, — довольный сказал Митроха коту Приблуде, который, заслышав его возню, спрыгнул с кровати.

Кот этот давно с ним. Еще котенком прибился ко двору — не отогнать. Пожалел его Митроха, дал кусочек хлеба, в хату пустил и нарек Приблудой. Кот как кот — обыкновенный, серой масти. Ничем особым не отличался. Одна беда — только и норовит на стол взобраться, как хозяин за порог. Уже, бывало, не раз его Митроха заставал врасплох и запускал в наглеца что под руку подвернется. Только Приблуде не идут впрок суровые уроки хозяина. Видать, подлость его натуры окончательно взяла верх над совестью и ничего не остается, как мириться с выходками котяры. Впрочем, это ли беда? За годы совместной жизни они свыклись друг с другом, и даже бывает, что Митроха переживает за Приблуду, когда тот в мартовскую пору днями не появляется в хате.

Хата Митрохи выстроена в виде пятистенка — разделена на две части: кухню и большую комнату, именуемую залой. Так уже лет пятьдесят никто не строит, а нынче и речи нет — панам такое не снилось, что теперь вытворяют — истинно дворцы строят! А тогда, в пятидесятые, из последних сил выбивались, когда строили свое семейное гнездышко еще совсем молодые Митроха и Павлина. Если бы не Павлинина родня — не быть этой хате. Да чего уж там — хлебнули...

В последнее время Митроха все время, считай, проводил в зале: тут ел, спал, смотрел телевизор и принимал редкого гостя. Все это, мягко говоря, не лучшим образом отразилось на комнате.

Со смертью жены, а минуло после Дедов восемь лет, как схоронили старуху, у Митрохи к кухне появилось некое предубеждение: не то, чтобы невзлюбил ее, а как-то совсем неловко себя в ней чувствовал. Всего-то и дело, что изредка там готовил в русской печи. А так все больше в грубке в зале. Да и не баре какие-то, чтобы котлеты выжаривать: ему вполне хватает простенького супа, кислых щей да картошки, или каши.

Собственно говоря, никому нет дела до Митрохиного житья-бытья, кроме сына. Степан живет в райцентре, в Кленово, работает механиком на заводе. У него двое взрослых детей: дочь и сын. Он уже даже дед, хотя до пенсии ему еще пять лет. Была еще у Митрохи дочь Катя, умница да красавица. За инженера замуж пошла, жила в Ленинграде. Да такая их печальная доля — оба

разбились на своей машине. Павлина от того горя и не оправилась, через год сама померла.

И вот, значит, приезжает Степан и начинает родного отца корить да учить уму-разуму:

— Ты, батька, совсем опустился и не смотришь за собой, развел настоящий бардак в хате. У тебя же есть кухня: готовил бы, да ел там, шмотки свои там оставлял. Нет, все в комнату тащишь, разбрасываешь по углам. Ей-богу, людей стыдно.

Митроха вяло реагирует на критику сына. Так — буркнет ему в ответ, что на ум придет, и — молчок. Себе дороже потом, да и что сынок в жизни понимает, хотя и до механиков дослужился, и дедом стал?

А сын, видя такую реакцию отца, плюнет в сердцах и давай наводить марафет в хате: одежду, какая лишняя, в кухне на вешалку повесит или в шкаф, что в зале, определит, половики на улице вытряхнет, полы подметет, посуду помоет и водворит на место...

Оно, конечно, так красивше — спору нет. Только... зачем? На какого хрена ему эта красота сдалась, что от нее проку? Не видел смысла Митроха во всей этой суете. Сколько уж тут ему осталось — как-нибудь доклемает до своего конца. Пусть уж они, молодые, стараются — им жить. Вот помрет — все сыну с невесткой перекочует. Впрочем, они и так всем тут владеют и командуют, не глядя, что батька жив-здоров. Степан с женой огород сажают, сын ревниво следит за постройками. Вот и нынче, как был летом в отпуске, дом покрасил, новый забор поставил.

Тут, в Ольховичах, добрую треть хат горожане повыкупили и теперь их дачами зовут. А что поделать? Старики потиху мрут, а ихние дети из городов возвращаться не хотят, вот и продают чужим людям свое наследство за гроши. Иные, из этих пришлых дачников то есть, на месте некоторых старых седиб такие домины отгрохали, что в советские времена председателям колхозов не снилось. Вот и у Митрохи напротив хоромы построили. На этом месте раньше хата Василия Гуменика стояла. И ведь ничего был дом, пожалуй, получше Митрохиного. Но вот купил после смерти Василя у его детей дом этот самый Игорь. Ничего, что молодой да ранний: за одно лето замок выстроил. Года два прошло, а двор совсем не узнать: обгородился кирпичным забором, а за ним, кроме дома-дворца, — баня, гараж, дорожки из плитки, беседка... А для чего все это? Если бы жить тут собирался Игорь, тогда понятное дело. А то ведь бывает наездами с компаниями: в бане парятся, всю ночь пируют, музыка играет, девки пищат. Словом, содом и гоморра. А ведь женатый же человек: иной раз с женой и двумя пацанами на день-другой сюда заявляются.

Митрохе-то что? Ему, собственно, и дела никакого нет до этого Игорька. Он даже вполне симпатичный и обходительный человек. Иной раз он даже его, Митроху, к себе зовет — сто граммов нальет, про житье-бытье расспросит. Деньги предлагал и телефон свой брестский оставил, чтобы, значит, в случае чего Митроха ему звонил неотложно. Митроха от денег отказался — было бы за что?

Митроха про этот случай даже Степану рассказал, в том плане, мол, от жиру люди бесятся: это ж за что удумал деньги предлагать?!

Степан только криво улыбнулся да хмыкнул:

— Ну и дурак, что отказался. У него этих денег немерено — он же бизнесмен!

Митроху такая реакция сына обидела:

— И черт с ним — будь он хоть Господом Богом: совесть же надо какую-то иметь.

Но у Степана свои взгляды:

— Нынче совесть знаешь куда надо засунуть? — и крепко выругался в сердцах, что с ним бывало крайне редко. — Старыми понятиями живешь, отец. Ты бы хоть телевизор внимательнее смотрел что ли, а то и правда от жизни отбился.

Митрохе стало совсем неинтересно продолжение этого разговора, и он тоже крепким словцом подвел черту:

— Далась мне ваша жизнь — живите, как знаете!

Вообще-то Митроха не то, чтобы в обиде на сына. Степан у него человек основательный, почем зря батьку не беспокоит, проявляет о нем заботу. Не было такого, чтобы сын приехал к отцу с пустыми руками: что-то да обязательно везет, больше из продуктов. Опять же — непьющий, каких сегодня редко встретишь. И люди, вона, его нахваливают. Но только уж он больно серьезный да вечно озабоченный. Нет бы, приехать да с отцом по душам побалакать — родные же люди — есть о чем поговорить, что обсудить. А он только заявится в хату, быстренько переоденется и за работу хватается, только и разговоров промеж ими, что «здравствуй» и «до свидания».

И все же так оно лучше, чем когда Степан приезжает с женой Тамарой. Вот уж сыночка действительно Бог долей наградил! Корчит из себя егоная баба невесть кого, будто она краля какая. Чуть что — носом ведет, фыркает, словечками непонятными сыплет. Как же, учителька: перед ней все должны на цыпочках ходить. А то еще взяла за моду летом по двору в одном купальнике шастать. Уже, понимаешь, баба на пенсии, пора бы и остепениться, а она все молодку из себя строит. Митроха высказался на сей счет сыну, а тот и ухом не повел:

— Надо тебе это? Разве непонятно — загорает человек. Не нравится — не смотри.

А при чем здесь «нравится» или «не нравится»? Оно и ежу понятно — срамота! И, задетый за живое, Митроха сказал как-то невестке, когда она в полуденный зной принимала солнечные ванны, разлегшись на одеяле среди двора:

— Ты бы, Тамара, накрылась моим кожушком, а то не ровен час, еще замерзнешь.

Невестка намек поняла, вскочила с енком, как шершнем ужаленная, и понеслась к Степану с доносом, который в это время за сараем отбивал косу.

Степан появился мигом. Расстроенный. У него подергивалась правая щека. Так всегда происходило с сыном, когда он сильно нервничал.

— Батька, скажи честно: чего ты добиваешься? — спросил сын спокойно, но сурово.

Митроха не стал припираться:

— Пусть твоя женушка не срамит мой двор!

— А я что тебе говорила? Он на дух меня не переносит, твой любимый папенька, — тут же взвилась невестка. — Все, хватит с меня: я больше сюда ни ногой!

— Успокойтесь вы оба! — рявкнул-таки Степа и вроде как даже обмяк весь. — Черт знает, что это за дом такой? Едешь сюда, понимаешь, чтобы душой отдохнуть, отвлечься, а тут прямо бедлам какой-то.

И сын обреченно сел на лавку, стал нервно шарить по карманам. Видать, искал сигареты. Даже жалко стало его.

Зато невестка не унималась:

— Все, давай собираться! Если не отвезешь меня домой — я пешком пойду.

Степан жадно затянулся дымом сигареты, всего-то и ответил:

— Сам вижу: надо ехать!..

Сын приехал в следующие выходные. Один. И словом не обмолвился о той их последней стычке. Привез Митрохе гостинец — золотистую копченую скумбрию. Большую и жирную. Знает Степан вкусы отца. Не посмотрел, что дорогущая.

Как обычно сын весь день много и жадно работал. В хату заходил только, чтобы воды попить. Да где-то после полудня на ходу перекусил холодной картошкой со свежим огурцом. От горячего супа, который предлагал отец, отказался:

— И так жарко, — ответил.

А Митроха? Не камень, конечно, — переживал о случившемся. Это уж точно: маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие и бедки. Прямо им слова супротив не скажи, а только чтобы по шерстке было. Отец он им или дядька какой с неведомого хутора? То-то и оно, что отец, и уважение к нему должно быть соответствующее.

Вот Митрохе не довелось знать своего отца, как, впрочем, и матери тоже. Это давняя, печальная и далеко не приятная история — его рождение. Его покойная мать Даша за польским часом, будучи несмышленой шестнадцатилетней девчонкой, согрешила с одним женатым осадником[1], у которого работала по найму в период жнива. Позор, конечно, великий был тогда, не то что сегодня. У соседа Митрохи Полуяна, к примеру, дочка в Минске тоже на стороне разжилась ребеночком, так ей как матери-одиночке сразу же дали отдельную комнату в общежитии. А Полуян еще и похваляется, мол, моей Зоське скоро квартиру выделят, так как она одна воспитывает ребенка.

Тогда-же — позор! А несчастный ребенок, как прокаженный, — байстрюк! Но бедная Митрохина мать сполна не испытала чашу позора — умерла при родах. И кто знает, каким бы боком повернулась к Митрохе судьба и был бы жив он вообще, если бы не родители матери — дед Платон и бабка Дуня: сжалились над сиротинушкой и вырастили его как родного сына. Правда, позор матери еще долго сопровождал Митроху по жизни: ровесники в детстве не стеснялись в глаза ему резать — байстрюк!

Но что уж об этом теперь? Что было, то было — не убавишь и не добавишь. Вопрос в том, что Митроха деда и бабку почитал как кровных отца и мать. Чтобы им слово какое поперек — ни-ни!.. Митроха-то и женился на Павлине по решению деда, хотя, может, виды имел на другую.

Уж если на откровение, то как-то с девчатами не складывалось у Митрохи. Одно дело, что у него не получалось проявить настойчивость, а где-то и нахальство, и он робел перед ними. С другой стороны, девки, как по сговору, сторонились его. Отчасти потому, что Митроха был байстрюком, а скорее, что его не взяли в армию: что-то там такое нашли доктора подозрительное внутри у Митрохи. Вот и взбрендилось девкам, будто у него не совсем так, как положено быть у настоящих мужиков.

К тридцати годам катило Митрохе, когда дед, уже заметно сдавший, сказал в один из вечеров:

— Пора тебе жениться, Митроха, — не куковать же всю жизнь одному. Мы вот с бабкой, не ровен час, уйдем один за другим в могилу, и будешь ты жить бедолагой неприкаянным. У меня тут днями разговор был с Тосиком Жеребковым, чтобы тебя с его Павлиной свести.

— Не хочу я с этой кривоногой, — встал было на дыбы Митроха.

---

[1] Польские колонисты из числа солдат Войска Польского, воевавших против Советской России в 1920 году, получившие земельные наделы на территориях Западной Белоруссии и Западной Украины.

Но дед урезонил:

— Погоди кипятиться. Сам мозгами пораскинь хорошенько: какая еще за тебя пойдет? Ну и что из того, что девка припадает на одну ногу? Так не ездовая же кобыла. Павлина работящая девка, и на лицо не скажешь, чтобы уродина какая. Всего-то и беды, что хромая?.. Это не помешает ей детей рожать. А еще, что совсем не лишнее, обещался Тосик за Павлину приданое хорошее дать и хату поставить поможет. Я же тебе не говорю, что мы завтра пойдем свататься — подумай денек-другой, все взвесь. Об одном прошу — соглашайся! Дай нам со старухой спокойно на тот свет уйти.

Митроха плохо спал в ту ночь. В тайне души не того ему хотелось. Уже давно он с замиранием сердца смотрел на соседскую Франю. Кажется, еще совсем недавно была она малоприметной сухопарой пигалицей, а нынче ее округлившиеся формы приятны для взора и вызывают в душе сладостно-щемящее чувство. И личико у нее — картинка: вздернутый носик, припухлые губки, что куриная гузка, на щечках постоянно играет румянец, а в глазах — огонь! Первая красавица в Ольховичах Франя, первая хохотунья и певунья. А смеется-то как! Истинно колокольчик заливается. Так разве ж к Фране, при ее таких прелестях, доступишься? Тем более что их с гармонистом Федькой Козловичем не разъединишь — все вечеринки рядом. И спелись так — заслушаешься. Франя потом четыре года Федьку со службы с флота ждала, ни одного парня к себе ближе чем на два шага не подпускала. Потом за него и замуж вышла. Много позже, годам к пятидесяти, Федька спился. Дошло до того, что ходил по хатам одеколон просил. Вроде как для больного зуба, а сам высасывал флакон в мгновение ока.

Федька плохо кончил. Дело было на второй день Рождества. К полудню. Нашли его окоченевшим за Ольховичами на обочине большака. Видать, мало было того, что наколядовал в Ольховичах, так шел еще в Лужки, чтобы там добавить... Вот вам и любовь верная, да преданность неприступная, а что из этого вышло?..

А тогда, после той бессонной ночи, Митроха сказал деду Платону:

— Засылай сватов — буду жениться!

Любовь-морковь... Выдумки все это, хреновина, чтобы мозги пудрить человеку и сердце терзать. Они с Павлиной сорок семь лет прожили и хоть бы одна душа слышала в их хате или дворе ругань. Особливых нежностей, правда, промеж ними не было, но понимали один одного хорошо. Павлина и взаправду оказалась редкой хозяйкой: и в хате у нее всегда порядок был, и на огороде все родило, и дети завсегда ухоженные и опрятные в школу ходили. Ее и в колхозе, где она дояркой трудилась, уважали и не обходили премиями. Даже в районной газете как-то про нее писали с портретом. Эта самая газета и по сию пору где-то среди документов хранится. Пожелтела вся, правда, так сколько ведь времени кануло.

А потом вот эта беда — дочка с зятем на машине разбились в Ленинграде. Не стало их любимицы, умницы да красавицы Катюши. Как оборвалось что-то. Катька всегда и всем их радовала. Дома — первая помощница у мамы, такая же аккуратница. В школе тоже первая ученица — с медалью ее закончила. И в Ленинград поехала поступать в какой-то уж очень мудреный и известный институт. А как его закончила, так там и оставили работать, чтобы, значит, студентов учить и науку двигать. По этой самой науке-то она и мужа Володю себе нашла. Он работал там же, в Ленинграде, только в другом институте. Приедут, бывало, погостить в Ольховичи — все завидовали! — оба красивые, статные, обходительные: мимо старого-малого не пройдут, чтобы не поздороваться... И на тебе — в один миг все рухнуло, прахом пошло.

Случилась беда за неделю до польских Коляд. Как раз на эти самые Коляды Митроха собрался везти дочке свежину, колбасы и разные руляды из забитого накануне кабана. Он не первый год так делал, вроде новогоднего подарка детям получалось. И ему тоже — праздник!

Ехать было из Кленово в Ленинград одно милое дело: сел в скорый поезд, а назавтра ты уже на месте. Степан на своей машине приезжал за отцом, чтобы его завезти на вокзал, помочь в вагон загрузиться. Он же и билеты заранее покупал и сестре отбивал телеграмму, мол, встречайте отца тогда-то, в таком-то вагоне едет. А там уж, на вокзале в Ленинграде, у самого вагона его зять встречал. Каких-то полчаса езды по городу — и они дома.

Три дня всегда гостевал Митроха у дочери с зятем. Но какие это были дни! Да за них Митроха, если можно так было бы, отдал бы год, а то и два своей жизни — не задумался.

По случаю прибытия отца дочка с зятем вечером приглашали гостей из числа своих друзей. На стол щедро выставлялись привезенные Митрохой мясные присмаки, грибочки, бочковые огурчики да яблоки из собственного сада — непременно антоновка. Ей, пожалуй, Катюша была рада больше, чем всему другому и брала золотистый плод, глубоко и громко вдыхала аромат, закрывала глаза и томным голосом говорила:

— Господи, какое блаженство: я снова в детстве, в родных Ольховичах! Снова на ветке яблони сижу...

В эту самую минуту Митроха обостренно чувствовал и понимал состояние дочери, в нем почему-то появлялась необъяснимая жалость к ней, неуемное желание прижать к себе родное дитя и сказать непременно: «А ну, дочка, науку эту! Поедем домой — хорошо там и спокойно». Понимал, конечно, что ничего не получится: для Катюши эта самая наука — прежде всего. Ради нее, заразы, дочке детьми обзавестись было некогда. Когда моложе была — отшучивалась: «Еще успеется!» А потом, когда, видать, ушли те самые лучшие сроки, тяжело вздыхала с тоской в голосе: «Не надо об этом — чего уж теперь?»

Так вот тогда, в окружении гостей у дочери, Митроха был в центре внимания. Эти ученые друзья Кати и Володи Митроху почитали за равного себе, обращались к нему непременно Митрофан Платонович и даже, бывало, когда хорошенько подзаправлялись и начинался спор меж ними, спрашивали его мнение в том, в чем он, честно говоря, ничего не смыслил. Митроха в такие минуты тушевался, но марку держал: морщил лоб для важности и отвечал серьезным тоном:

— Так сразу и не ответишь: тут думать надо.

Ученые дружно смеялись, спор прекращали и непременно соглашались с Митрохой: вот это правильно — тут действительно надо крепко задуматься!..

После этой проклятущей телеграммы хоронить Катю с Володей поехали только Митроха со Степаном. У Павлины уже были серьезные проблемы с ногами, и она с трудом передвигалась даже на костылях, поэтому проводить в последний путь детей она не смогла поехать. Как хоронили — и говорить нечего: все прошло как в тумане, в немыслимых тоске и страданиях. У Митрохи потом с полгода все валилось из рук, не ходил, а передвигался с места на место. Так у него еще с полбеды, а Павлина совсем сдала: у нее стало высоким давление и часто доводилось вызывать «скорую». А потом вот этот инсульт приключился и совсем бабу парализовало. С месяц пролежала старуха прикованной к постели и ночью померла, хоть бы звуком каким обозначив свой уход в мир иной.

С того самого момента все у Митрохи пошло наперекосяк. И до этого особо неразговорчивый, тут он стал ворчливым и хмурым, подозрительным: и то ему не так, и это ему не эдак...

Корову они продали, когда еще Павлина была жива: стало трудно доить. Митроха же после смерти жены еще, наверное, года три держал поросенка, но вот когда наставало время бить — уходил со двора, шел к своему ровеснику Тихону, прозванному Мойшей за свое плутовство, когда работал в колхозе многие годы заведующим складом. Была у Тихона слабость: любил играть в карты. Ради этой забавы мог забыть про любое дело. Вот с ним и резался Митроха, пока в его дворе шла работа. Появлялся дома тогда, когда Степан с соседом Митькой Боболиным, бывшим председателем сельсовета, а теперь уже пенсионером, разделав тушу, сидели за столом и под чарку аппетитно наяривали нежную жареху из свежего мяса, печени, грудинки и ребрышек, которые им готовила невестка Тамара.

Хлопцы, зная нрав и странности Митрохи, лишних вопросов ему не задавали. Степан обычно подвигал стул, наливал до краев чарку и говорил:

— За тебя, батька! Чтобы, как говорится, здоровыми ели.

Митроха выпивал рюмку до конца, а закусывал то огурцом, то картошкой, то квашеной капустой. Потом уже, несколько дней спустя, мясо ел с аппетитом, а вот свежина не лезла в горло. Какую-то непостижимую вину чувствовал перед покойной дочкой: как это он будет свежину трескать, когда она, его Катенька, даже не попробует?

Степан, по всей вероятности, наконец-то понял, что происходит с отцом, и в последнюю свежину сказал за столом:

— Все, батька, больше пороси держать не будем. Ты уже в возрасте — отдыхай! А за нас не волнуйся: не нищие — купим! Велось бы, как говорится, у людей, и у нас будет.

Митроха никогда гультаем не был, и, наверное, скажи ему такое Степан ранее, то воспринял бы как обиду и без крепкого словца в адрес сына не обошлось бы. А тут не то, чтобы обрадовался, какое-то душевное облегчение получил, но все же проворчал для порядка:

— Тоже мне богатей выискался...

Но по весне, как обычно в апреле, Митроха не стал говорить Степану, что надо на базар за поросенком съездить. Ни словом на эту тему не обмолвился и сын. И остались в хозяйстве Митрохи лишь десяток кур да кот Приблуда. Правда, вскоре и куры одна за одной повыдохли. И не только у Митрохи одного: в тот год какой-то мор с курами приключился. И если вскорости в соседних дворах запищали желтые и шустрые инкубаторские комочки, то Митроха и тут рукой махнул. Одно дело, когда цыплят за собой наседка водит, а иное — инкубаторское потомство смотреть. Не набегаешься...

Как-то так само собой получилось, что круг общения Митрохи до удивления ограничился. Как это ни странно, но Митрохе нравился этот их новый сосед напротив — Игорь. Вот только жалко, что приезжал, как выражался Игорек, в свою «загородную виллу» не так и часто. Но уж если тут появлялся, то для Митрохи наступал праздник.

К Игорю он проникся уважением с первого знакомства. Как только сын Василия Гуменика, беспутный Славка, продал отчий дом, Игорь сам зашел к Митрохе.

— Здорово, дед! — сказал весело с порога, как будто и правда был внуком. — Давай знакомиться: я твой новый сосед, зовут меня Игорь. Пойдем ко мне обмывать приобретение недвижимости.

И надо же такому: Митроха сразу же согласился, хотя к незнакомым людям всегда относился с определенной настороженностью. Чем пронял его этот Игорь — одному Богу ведомо. Может, этой своей простотой нахальной, может, веселостью характера. Только Митроха и тогда, и потом сколько раз,

глядя на Игоря, завидовал: вот бы его внук Витька, Степанов сын, был бы таким веселым и общительным. А то ведь такой же бука, как и его отец: сжатый, как пружина, слово из него клещами надо тянуть. Да и бывает у деда каких-нибудь два-три раза в году. И то, видать, только тогда, когда Степан присовестит его или без помощи сына ему никак не получалось управиться с какой-то работой. А Игорь — нет — не такой: так и сыплет шутками-прибаутками, шустрый, всем интересуется. И уж больно хваткий: это ж надо так организовать дело, чтобы за каких-то два года выстроить тут целый палац! Но и не было случая, чтобы Игорь по приезду в Ольховичи не позвал бы к себе в гости Митроху. И угощает не абы как, а по-царски. Про какую-то там водку и речи нет — виски-шмиски разные, коньяки, не говоря уже про закуску. Ел Митроха за столом у Игоря такие дивосы, что даже не знал, как они называются.

Степану такие приятельские отношения отца с новым соседом явно были не по нутру.

— Он тебя покупает, чтобы ты за его хозяйством смотрел, — ворчал сын. — Все у них так, у бизнесменов: только чтобы надуть человека...

Этих самых бизнесменов Степан на дух не переносит, величает их не иначе, как жуликами и спекулянтами. А хоть бы и так: нынче это не запрещено — только вертись давай! Несомненно, завидует соседу сын: у него и десятой, а может быть и сотой доли того нет, что имеет Игорь. Однако это же ему с неба не валится, это уметь надобно. А насчет того, что приглядывает Митроха за домом соседа, — что тут такого? Разве ж он с ружьем вокруг него по ночам ходит? Опять же, Игорь ему за это даже деньги предлагал, стало быть, есть совесть у него. Только она и у Митрохи имеется, чтобы брать у человека плату ни за что ни про что.

А еще Митроха стал водиться с Тихоном-Мойшей. Кто бы раньше мог подумать, что они станут корешиться? И в детстве, и в молодости, да и потом их ничто не связывало. Мойша в детстве хитрил, любил обвести вокруг пальца, за что и был бит сверстниками не единожды. Когда в колхозе стали работать, Тихон в кладовщики выбился и вертелся вокруг начальства. Тогда Митроха для него был если не пустым местом, то так себе — колхозником, как и очень многие. Естественно, в то время Митроха и не помышлял о дружбе с кладовщиком, хотя и жили друг от друга через несколько домов. Весь авторитет Тихона рухнул, как только его отправили на пенсию. Он и сейчас нет-нет да и застонет Митрохе, будто от зубной боли, когда вспомнит былые времена:

— Совсем забыли Тихона, будто и не живу я вовсе. Забыли, курвы, как кланялись мне в пояс, как списывали и приписывали через меня. Эх, Митроха, знал бы ты, какими я делами ворочал! И хоть бы одна проверка, хоть бы какая б... нос подточила — все было чики-брики...

Слушал Митроха да помалкивал в тряпочку, хотя не раз подмывало его в такие минуты осадить Мойшу, мол, и себя ты тоже не забывал. А то на какие еще шиши себе да детям своим домины выстроил? Небось и сейчас еще от тех времен в кубышке осталось.

Наверное, Тихон-Мойша потому-то с Митрохой в контакте, что тот умеет молчать. Впрочем, а что он такое знает о Тихоновых проделках? Только что охи с ахами. Просто, видать, их отношения от скуки, а еще оттого, что их двое стариков-сверстников, которым за восемьдесят, осталось на улице. Быстро как-то, один за одним, пошли их ровесники на тот свет. Да от скуки, конечно. А с кем еще сегодня можно вспомнить детство с юностью, тех стариков, кого оба знали, ту жизнь, которую вместе прожили? То-то и оно.

А еще — карты. Одно развлечение и осталось. Бывало, как покойный Тур жив был да мужиков целая деревня у него в хате вечерами собиралась, чтобы в дурака перекинуться, вот это было зрелище! А ныне сядут играть с Тихоном — обязательно рассорятся. Ну хоть ты убей его, хоть четвертуй — истинно Мойша: не может обойтись без мухляжа, так и норовит не той картой побить, не ту подсунуть. А уж как проигрывает — прямо ему конец приходит: нервничает, орет, обзывается, как будто свою корову на кон поставил. Не раз было, что не выдерживал такого напора с Мойшиной стороны Митроха, громко хлопал за собой дверью его хаты и слово давал: больше к этой сволочи ни ногой! Только проходил день-другой, и Митроха шел к Тихону или Тихон шел к нему. Старое не поминали друг другу, снова садились играть и опять... ссорились.

С одним человеком в Ольховичах было комфортно на душе Митрохе — с Франей. Она тоже давно одна жила. Ее дочь после учебы осела в Минске, а сын остался в Москве, где закончилась его офицерская служба. У детей, разумеется, давно свои семьи. Конечно, мать не забывают, нет-нет да и объявятся погостить на недельку-другую. Особливо дочь Тереза часто бывает у матери.

А Митроха зачастил к Фране с года два назад, а до этого только и было в их отношениях, что «здравствуй» да «до свидания» при случайной встрече. А в тот день, на Илью (Митроха это хорошо запомнил) шли они из магазина с Франей. О том о сем словцом перекидывались, и вдруг ойкнула Франя, за сердце схватилась. Не на шутку тогда напугался Митроха: так вот ни с того ни с сего человеку худо сделалось. Еще, чего доброго, помрет баба среди дороги, и думай, что с ней делать. А на улице, как назло, ни одной души.

Подхватил Митроха Франю под руки, сам весь колотился, только и знал, что бормотал одно и то же:

— Божечки коханый, да что же это такое?!

Может, все произошедшее заняло какую-то минуту-две, только Митрохе показалось вечностью.

— На лавку бы мне. Присесть надо — оклемаюсь, — наконец чужим голосом, белая что полотно, выдавила из себя Франя.

Чего уж там — есть Бог на свете! Беда эта с Франей приключилась как раз напротив двора Боболиного Митьки, у калитки которого имелась лавочка. К ней-то потиху и добрались.

Посидели там с десяток минут, и, слава Всевышему, полегчало Фране, даже румянец на ее щеках появился:

— Совсем поганым стало мое сердце. А я вот, дура, без таблеток в магазин подалась, — вроде как оправдывалась тогда Франя. — Тебя еще напугала.

Митроха облегченно перевел дух:

— Я-то что? Конечно, всполошился от неожиданности. Тебе-то каково с этим?

— А так — живу. Таблетки выручают.

Не была бы она Франей, если бы и тут не пошутила:

— Надо ж как-то свой век добывать, а начни всего бояться — от страху помрешь.

Митроха тогда прошелся на всякий пожарный с Франей до ее калитки.

— Спасибо, что не дал пропасть, — сказала ему на прощание Франя.

А Митроха, как пришел домой, все не переставал думать о Фране. Вот оно каково бывает? Ведь знал же от других, что у нее со здоровьем нелады, и сам как-то видел, как к ней приезжала «скорая». Но вот же — не трогало тогда его. А тут прямо в душе все перевернулось, нестерпимо стало жаль Франю и почему-то за себя стыдно. Сначала как-то подспудно, а потом все настойчивее стало донимать его желание снова увидеть Франю, узнать, как

у нее со здоровьем, поговорить. Уже ближе к вечеру не выдержал — взял поллитровую банку меда, которую на днях ему ни за что отжалел Тихон, пакет конфет, привезенный сыном, и пошел в гости. Франя что-то там колдовала на кухне и, казалось, совсем не удивилась визиту Митрохи. А он, как пацан, смущаясь, выставил на стол мед с конфетами:

— Тихон говорил, что это майский мед, — оправдывался Митроха. — Тебе он будет полезным. А конфеты эти — так, баловство одно. Если их с чаем, скажем, тогда другое дело.

Франя рассмеялась и намек поняла.

— Ну, раз такое дело, то почему бы и не почаевничать? Если честно, то я и сама подумывала побаловаться чайком. Вот и попьем вместе.

Они хорошо тогда посидели. И чай был на удивление вкусным: из разных трав его заваривала Франя. Про многое говорили — всего не упомнить. Только когда домой возвращался Митроха, на душе у него было радостное настроение будто десяток-другой лет с плеч своих сбросил. С того самого дня и зачастил он к Фране.

Да, с ней на удивление легко, хотя и язычок у Франи бывает, что бритва, — обрежешься! Но, странное дело, Митроху особо не достают ее приколы. Он понимает: не от злости она острит, а от своего характера. Так что тут попишешь — таким человек уродился. А Митрохе что? С него не убудет: пусть баба языком почешет, на то она и баба.

Но вот, бывает, сядут они рядком да ладком и о чем только не заведут речь — все душе приятно.

Как-то тут на прошлой неделе про молодость говорить стали. У Тихона. Вспомнились вечеринки, как в Щедрый вечер уборные у односельчан валили, как Купалу жгли... Тут Мойша ни с того ни с сего возьми и брякни:

— Признавайся, когда сватов к Фране засылать будем?

— Это каких еще сватов? — не врубился Митроха.

— А то не знаешь?! — едкой кислотой вцепился Тихон. — Вся деревня давно извелась: пора бы! Будто не понимаешь: обиваешь пороги бабе, почем зря голову морочишь человеку. Сошлись бы, наконец, в законном браке да и доживали свой век спокойно.

Вот уж тогда взвился Митроха, будто укололи его или кипенем ошпарили:

— Какое ваше свинячье дело до того, кто к кому ходит? Хожу и ни у кого не спрашиваю!

Хлопнул дверью хаты в сердцах и был таков. А сам потом дома хоть и успокоился, но, как назло, на этой мысли заострился: действительно, и чего-то он так к Фране зачастил? Это ж надо, что про них в деревне языками чешут?! Надо бы пореже к ней заглядывать раз такое дело пошло. И вот уже который день Митроха не выходит из хаты. Разве что за дровами и по нужде. Выдерживает паузу.

Тоскливо, конечно, на душе. Только и развлечений, что телевизор смотрит да радио слушает, или Приблуду совестит за его проказы. А в мыслях нет-нет да и проскочит: как там Франя? Хорошо у нее, покойно на душе. И говоришь себе за чайком не озираясь, что на сердце ляжет: Франя поймет, не осудит, а если и скажет что супротив или озорное, так не в обиду же, от характера.

Этот дурак Тихон подлые намеки про него с Франей строит, а еще слухами деревенскими стращает. Сам, поди, их и распускает — кто ж еще? Только у него в хате Митроха и узнает, что в Ольховичах случается. Истинно не хата, а программа «Время» из телевизора. Нет уж, довольно издевательства — больше к Тихону ни ногой!

Митроха подбросил очередную порцию дровишек в грубку. Жар волной охватил лицо. Он с минуту наблюдал, как огонь жадно набросился на дрова. Добавил еще несколько поленец. Оно, может, и лишнее уже, хватило бы и тех, что горели. Грубка у него ладная, хорошо тепло держит. Еще летом Митроха самолично дымовые ходы у печи прочистил: несколько ведер сажи там собралось. Вот и гудит печка как шальная, что губка воду, вытягивают ее стенки тепло от огня. Ладно уж, пусть насытится — дров, слава богу, еще на две таких зимы хватит. С дровишками Степан подсуетился. А кому ж еще, как не ему? Было время да прошло, когда Митроха сам дрова в лесу заготавливал, потом ноги в колхозной конторе обивал, чтобы транспорт вытребовать для привозки. Сам же потом и пилил-колол, в костер складывал. И помощи ни у кого не просил, потому как сила у него была.

О, какая тогда была сила у Митрохи! Бывало, брал одной рукой мешок картошки и, почти не сгибаясь, на плечо закидывал. А теперь что — одни воспоминания. И то, слава богу, что сам за собой уход держит, хотя и ноет Степан, что в хате у него нет порядка. Ну, мели, Емеля, твоя неделя! Видать, только и ждешь со своей Томочкой, чтобы батька скорее скопытился да все нажитое им трудами праведными пригрести к своим рукам. Давай-давай, милок, твоя правда — сколько уже старику тут топтаться осталось — восемьдесят два как-никак на медовый Спас минуло. Подожди, имей терпение, не много уж осталось...

Эх, Господи, и велик ты, и чуден делами своими, а вот же не равнешенько ко всем относишься. Мало того, что дозволил ты несмышленой да глупой девчонке, покойной матери его Дарьи, в блуд войти с осадником, мать ему в перемать да жаркую сковородку на том свете, отчего пришлось Митрохе байстрюком родиться. Так ты и к армии его не сподобил девкам на смех да мужикам на издевку. Кто знает: отслужи он свое, то еще вопрос, была бы Франя женой Федьки Козловича, хоть он и гармонист.

Странное дело, но эта коварная мысль частенько приходила в голову Митрохе. Даже тогда, когда была еще жива Павлина, когда уже давно из людской памяти выветрилось, что байстрюк он, что в армии не служил. Может, это и правда грех, но Митроха в душе если не с радостью, то с каким-то облегчением воспринял известие о внезапной смерти Федьки: посчастливил в этой жизни и хватит! А когда был на похоронах и видел, как искренне убивалась по мужу Франя, в душе возмущался ревностно: «Вот же дура! Ей бы радоваться, что от пьяницы ее Бог избавил, дал возможность пожить спокойно. А она, понимаешь, театр устроила...»

Это ж надо такому случиться, что за день до конфуза у Мойши они предавались все тем же воспоминаниям о молодости с Франей. У Митрохи само собой вырвалось:

— Вот бы за меня пошла, то, может, за сердце сегодня не хваталась бы. Так тебе ж гармошка нужна была.

Франя то ли не расслышала, то ли не поняла:

— Ты чего это говоришь такое?

Митроха малость струхнул и повторил немного мягче:

— Говорю, что если бы за меня пошла, то, может быть, и с сердцем сегодня не маялась.

Франя засмеялась:

— Ах, вот ты о чем! А чего ж ты сватов не засылал тогда?

Вот и пойми ее, эту Франю, когда серьезно говорит, когда шутит... Но Митроха решил удар держать до конца.

— Как же было мне до тебя доступиться! Рылом не вышел: байстрюк, с «белым билетом».

— Дурак ты, Митроха: жизнь прожил, а счастья своего так и не увидел. Да такую бабу, как была твоя Павлина, может, во всем Кленовском районе не сыщешь: и хозяйка что надо, и работница передовая, и мать, и верная жена тебе была.

— Вроде бы и не знаешь, как я на ней женился, — гнул свою линию Митроха. — Какая еще девка тогда за меня пошла бы? Пришлось...

И он тяжко вздохнул.

Франя искренне удивилась и даже, как показалось Митрохе, чего-то испугалась:

— И ты что же, так вот всю жизнь и прожил не любя свою половинку?

— Какая тут на хрен любовь? Жил себе и жил, — уже занервничал Митроха.

Франя хлопнула в ладоши и сказала изумленно:

— Матухна Свента, а мы-то, бабы-дуры, перезавидовались, на тебя с Павлиной глядя. И мирком у них, и ладком, и хозяйство идет исправно, и дети — поискать. А тут, оказывается, один вид был!

И Митроха рубанул — пусть знает:

— Называй это, как знаешь, только я вам всем нос утер, хоть и байстрюк, и «белобилетник». Жизнью своей хотел всем вам доказать, что я не хуже, а может, лучше вас. Вы вот все, не гляди, что по любви переженились, а толку-то много? Мойша, глядишь, свою Тэклю и сегодня огреет, если под горячую руку попадет, а по молодости, бывало, от него и по соседям пряталась. Тосик Федорцов как был гультаем, так и остался: в батьковской хате детей вырастил и по сей день в ней живет, хотя она и набок валится. Другие, вона, ради горелки готовы были на край света идти, а твой так из-за нее совсем пропал...

— Ты мово Федьку-то не трожь, — грозно прервала его Франя, — пусть лежит там спокойно. Сам знаешь, что только в последние годы свои он запивать стал. А так и отец детям, и муж мне был хоть куда. А гармоник-то, бывало, как развернет да затянем с ним в два голоса!.. Теми днями и сегодня живу. Тебе же в церковь сходить надо, покаяться да причастия попросить.

Тут уж Митроху проняло:

— Это ж за какие еще грехи мне в церкви каяться? Я что — крал, как Мойша, сидел на шее у жены, как Тосик, или пил беспробудно, как твой гармонист? А может, я с соседом скандал из-за межи учинял? Нет, дорогая моя, за мной греха нет, пусть идут каяться те, кому положено.

— Ишь ты, праведник выискался, — с горькой усмешкой и вроде как с жалостью, совсем без злобы сказала Франя. — За гордыню свою да за помыслы и покайся. Ты ж вот, оказывается, с Павлиной-то своей не в любви жил, а вроде как повинность отбывал. Ты думаешь я не примечала, как ты на меня смотрел? Глядишь, еще и к покойному Федору ревновал? Грех все это, грех...

Короче, совсем рассорились тогда они с Франей. И, как никогда такого не было, точно так же хлопнул дверью ее хаты, как делал это не раз у Тихона.

Сказать, что Митроха не переживал за эту ссору — не скажешь. Уже буквально на второй день его нестерпимо потянуло к Фране. Хотелось зайти к ней, как обычно, и сказать с порога: «День добрый в хату! Как твое ничего, соседка?» И услышать в ответ привычное: «Слава пану Езусу — божьими молитвами!..» Митроха был уверен, что приди он так к Фране, та и намеком не припомнила бы ему о произошедшем. Они и раньше, бывало, ссорились и не укоряли друг друга. Это уж точно: кто старое помянет — тому глаз вон. Но на сей раз Митроха решил перемочь себя: уж слишком в нем засела обида. Надо ж

куда бабу занесло — чуть ли не преступника из него сделала, в церковь за покаянием послала. Митроха, если по большому счету, никогда-то особо верующим себя не считал, в церковь ходил разве что на Пасху, чтобы кулич освятить. И то после того, как не стало Павлины. А тут надо же — заело! Но вот уже собирался непременно совершить свой визит к Фране, как вдруг эти подлые приколы Тихона-Мойши насчет сватовства. Они-то и расшевелили обиду, припомнились Митрохе сказанные Франей слова, мол, уж больно смотрел он на нее когда-то по-особенному. Тоже нашла что сказать! Смотрел, конечно. И только ли на нее одну? А чего же не глянуть мужику на бабу, если вид у нее к этому располагающий? И вот не глядя на то, что не был он у Франи уже дня три с того момента, как поцапались с Тихоном, поставил Митроха себе установку еще неделю ни ногой к Фране. Специально. Чтобы все знали, чтобы почувствовали, что Митроха не какой-то им чудик, чтобы смешки над ним строить, а свою честь знает и совсем к ней не безразличный...

А вьюжит-то как, как вьюжит! Как будто и впрямь, прости Господи, кто-то повесился. Так, глядишь, и дров, припасенных накануне, не хватит, придется за новыми идти...

Вдруг Митроха услышал, будто кто-то в дверь стучится. Напряг слух — точно кого-то нелегкая принесла. Вспомнил, что с вечера хата у него закрыта. Видать Тихон ломится. Наверное, совесть у него проснулась и решил вину свою загладить, а заодно и в картишки перекинуться. Странное дело, но повеселел от этой догадки Митроха и заспешил в сени, на ходу для порядка ворча:

— Иду уже, иду, а то дверь еще сломаешь!

В сени прямо ввалилась почтальонка Люся. Закутанная вся, снегом запорошенная.

— Пускай в хату скорей, дядько Митроха, а то окоченеть у тебя можно на пороге, — затараторила в своем духе Люся. — Ты меня сегодня у калитки должен встречать, коль пенсию тебе несу, а ты прямо забаррикадировался.

У Митрохи от доброй вести еще выше поднялся градус настроения:

— А я совсем из памяти выключился, что сегодня пенсия, — радостно оправдывался он. — Проходи в хату, коли так.

А Люся и не ждала особого приглашения, в хату вошла решительно, чуть ли не на правах хозяйки. Нисколько не церемонясь, поставила сумку на стул у стола, спустила на плечи серый платок из пуха.

— Ну и натопил ты в хате, дядько Митроха, и вроде бы как чадом у тебя попахивает. Ты гляди, особо жаром не увлекайся.

— Это со двора тебе причудилось, — отмахнулся Митроха, угодливо готовя край стола, чтобы расписаться в ведомости. — Впервой, что ли, грубку топим?!

— Ну-ну, — тебе виднее, — согласилась Люся, — только ведь береженого Бог бережет.

— Ладно уж — отсчитывай, не томи, — обрубил концы наставлениям Митроха. — Тоже мне нашлась в моей хате учить.

— И то правда, — не возражала Люся, ловко отсчитывая из пачки купюры. — Надо мне поскорее сегодня с работой управиться, чтобы на похороны успеть.

— И кто ж это, интересно, преставился? — обычным тоном спросил Митроха, больше занятый своим крючковатым автографом в ведомости.

Увы, такие нынче пошли в Ольховичах времена, что больше тут стариков, чем молодых осталось, и похоронами никого особо не удивишь.

— Как это — кто? И ты не знаешь? — испуганным голосом спросила Люся. — Тетка Франя, подружка твоя. Еще вчера с утра ее соседка тетка Макуха в постели холодную обнаружила.

Митроху как будто ударил кто. Подло, под ложечку. Дух перехватило. Холодным потом проняло. Не сел он, а рухнул на стул. Не сразу-то и вымолвил, только тогда, когда несколько раз заглотнул воздуха:

— Чего же это она удумала помирать, а?

— Господи, ну как же так, — и ты не знаешь? — с жалостью и какой-то обреченностью спросила Люся.

Она тут же обернулась на кухню, принесла кружку воды.

— Выпей-ка, вот, водицы, дядечко Митрошечка, полегчает, а то весь бледный стал, будто снег за окном.

И Люся поднесла кружку под самые его губы. Митроха автоматически обхватил сосуд дрожащими руками, жадно припал к нему. Кружка стучала по зубам: вода частью попадала в рот, частью текла по подбородку. Вкуса не чувствовал, а только холод. Но, правда, стало вроде легче.

Митроха вытер кулаком губы, перевел дух, спросил тихо и нелепо:

— Зачем она это — померла?

— Так ведь болела же. Сердце слабое было.

— Да — сердце...

На какое-то мгновение в хате стало тихо. Только и было слышно, как в трубе воет ветер и трещат в грубке под напором огня дрова.

Первой заговорила Люся. С обидой, жалостью, покаянием:

— Ты уж прости меня, дядечко Митрошечка, что раньше не известила тебя. Так и подумать же не могла, что тебе вести не было. Я сама вчера только с полчасика у покойной посидела. Все, знаешь, дела, дети, хозяйство. А тут еще Ванька, муженек мой, будь ему неладно, — температура под сорок. Закрутилась вся, что белка в колесе...

Люська тараторила, и от этой ее трескотни становилось легче.

— Франина дочка, Тереза, приехала с мужем уже вчера, — сообщила Люся, — а Юзик, сын, телеграмму из Москвы отстрочил, что на похоронах не будет: болеет он. Поди разберись: правду говорит или брешет. Он-то и при жизни матери особо не жаловал ее визитами. А вот Терезка все плачет и убивается, что не уговорила мать забрать к себе.

Это правда. Митроха вспомнил, как Франя говорила ему: «Зовет все Терезка меня к себе, жалеет, мол, тяжко тебе одной и скучно, и болеешь. Нет уж, голуба, говорю ей, я из хаты своей поеду разве только на могилки...» И вот дождалась — на могилки...

— Ксендз из Кленово отпевать в час заявится, а хоронить будут в два, так что ты теперь в курсе, дядько Митроха — и Люся засуетилась. — А меня прости. Я, может, с тобой посидела бы, да ведь недосуг — работа — еще шесть человек дожидаются пенсии, и похороны на носу. Вот только тетка Франя не дождалась. Я и для нее деньги получила, а вот отдать не имею права — некому. Сдавать их придется обратно — жалко. Сейчас бы они кстати были бы Терезе для похорон. Все меньше тратиться, а государство беднее не стало бы. Так ведь нельзя же — засудят!

Люся ушла. Вот уже и щеколда двери клацнула за ней в сенях.

Тихо в хате. Воет метель в трубе. Дрова трещат в грубке. Жутко на душе...

Эх, Франя, Франя! Ну чего же было тебе спешить туда? Пожила бы еще маленько. Все ж веселее было с тобой, спокойнее. А теперь-то что? Один как перст, ни приткнуться, ни потолковать по-человечески. Разве только что Тихон-Мойша остался. Так ну его куда подальше — сволочью он был, ею и останется. Вот если бы Игорек тут жил постоянно — тогда другое дело. Он хоть и сопляк по годам, хоть из нынешних богатеев, а все ж веселый человек,

обходительный. И чего это Степка-балбес его невзлюбил? Каждый живет как умеет. Точно Степану чужие деньги в зависть дались. Вот же дурень, будто от зависти у него в кошельке добавится...

А ведь как когда-то радовался Митроха, когда Степан родился. Как же, сын — надежда и опора. Но Степан все больше с матерью контачил, через Павлину Митроха узнавал все сыновьи секреты и запросы. Больно от этого было Митрохе, несправедливым казалось, но он вида не показывал, терпел. Снес даже то, когда Павлина сообщила, что в очередной раз дала сыну деньги на покупку машины, прибереженные на «черный» день. Да черт с ними, с деньгами этими — много ли им, старикам, надо? Ранило душу Митрохи, что сын мог и у него попросить, не переломился бы. Нет же, считал ненужным, ниже своего достоинства что ли — гордые они! Как же, а мы-то что, пальцем деланные? У нас, скажете, сердца нет, а вместо мозгов в голове мякина? Нет уж, голубки, не в ту калитку воротите! Есть оно, сердечко, стучит! И мозгов пусть не палата, но вполне достаточно для того, чтобы дерьмо с добром не спутать...

Эх, Франя, Франя... И что ты это удумала, а? Зачем ниточку оборвала, которая крепила его с этим светом?..

Воет в печной трубе метель, будто что-то сказать хочет. Трещат в грубке дрова, огонь в самой силе. Не нравятся, видать, огню те слова метели...

Франя, Франя...

Кот жалобно замяукал. Этот неожиданный кошачий енк словно пробудил, встряхнул Митроху.

«Жрать, видать, хочет», — догадался он. Вот он, Приблуда. У ног его сидит. Жадно в глаза смотрит. Ждет куска сала, как милостыню.

— Щас, погодь чуток — принесу.

Митроха как-то уж совсем по-старчески поднялся со стула, зашаркал на кухню. Как только открыл дверь — обдало холодом, словно из ледовни. Ясное дело — тут не топится. Открыл старенький холодильник. Когда-то Павлине его колхоз подарил как лучшей доярке. Тогда эти самые холодильники только входили в моду и мало у кого имелись в Ольховичах. Да и не докупиться их — дефицит! То-то радости в хате было! Особливо у Катьки. Она тогда еще, наверное, в класс второй или третий ходила...

Вот оно, сало. Но Митроха почему-то сразу же обратил внимание на уже початую бутылку водки, которая стояла в нижнем отсеке дверки холодильника. Надо же! Обычно он водку не замечал. Не страдал Митроха по этой части. Да и не его эта бутылка, Степанова. Тот — любитель, когда хорошенько поработает, хряпнуть рюмку за обедом для аппетита. Взял бутылку Митроха без всякого зазрения совести: «Откуплю ему: этой заразы протьма в магазине стоит». Взял, конечно, и сало.

Отрезал коту добрый шматок. Тот с жадностью набросился на добычу и сразу же поволок ее под кровать. Вот же падла, а? Вроде бы кто-то у него отобрать хочет. Не человек, а под себя гребет. И так всегда: дашь ему от души — жри на здоровье, а он подлюга, выкобенивается — прячется...

Митроха глянул на часы. Было без пяти двенадцать. «Это ж в два часа похороны, — вспомнил он. — Надо подкрепиться маленько и идти проводить в последний путь Франю. Эх, Франя, Франя...»

Митроха неспешно нарезал сало с хлебом. Хотел было рюмку достать из серванта, чтобы в нее налить водку, да передумал: какая, хрен, разница из чего пить — налил в кружку, которая была на столе. Щедро водки в кружке получилось. Как-то автоматически, не от жадности. Да уж как есть. Выпил, что воду, и вкуса не почувствовал. Сало жевал без аппетита, что ту резину, которую молодежь нынче любит то ли от безделья, то ли для форса...

Эх, Франя, Франя! Вот ты говорила, что примечала, как на тебя смотрел Митроха еще с молодых лет. Да, Франечка, было — смотрел! И только ли смотрел? Если бы ты знала, о чем еще думал при этом! Стыдно и теперь признаться самому, какие шальные мысли преследовали Митроху тогда. А какие сны снил! Бывало, в постели Павлину обнимал и ласкал, а думал и представлял себе, что это Франя. Это ж грешно признаться, но на чистоту — правда: Митроха иной раз ловил себя на мысли, что если бы не было такого представления, то, возможно, и детей у него не было бы. Вот же до чего додумывался! А еще сколько раз ему хотелось где-нибудь сам на сам встретиться с Франей и сказать ей все, что у него на душе наболело, как любит он ее нежно и страстно. А еще обнять крепко и нежно, да так, чтобы почувствовала она его мужскую силу и ласку, чтобы поддалась ему, застонала так, а может и еще сильнее, как бывало стонала от него в истоме Павлина. Вот же какая несправедливость получалась: любил и ласкал одну, а пользовалась ласками другая, нелюбимая, разве что жена.

И это правда, и может даже грех, что радовался, когда из-за водки Федька ее помер. А за что, собственно, за какие это заслуги ему такое счастье привалило в лице Франи? За то, что на гармошке играл, что голос имел красивый? И это все достоинство человека! Нет, шалишь, не из таких достоинств состоит счастье людское. Если бы так было, то надо, чтобы все играли на гармошках и все поголовно пели. С голоду бы передохли тогда. Нет, сила и счастье людей в их руках, в таких головах, какая была у его Катюшки, в таких людях-человеках, каким был он, Митроха, — простых, малоприметных, но трудолюбивых и надежных, которые не стонут, а впрягаются в оглобли и тянут на себе телегу с тяжкими житейскими хлопотами, не ищут развлечений, а какая радость у них случается — умеют ее ценить.

Как-то Митрохе веселее стало от этой мысли. А что? Все правильно — пусть кто поспорит! Пусть докажет, скажем, что важнее: на гармошке играть или хлеб сеять? Вот то-то и оно!

Нет, это хорошая, это важная мысль! И как это она раньше не приходила Митрохе в голову? Да если бы она возникла тогда, в молодости, он бы непременно ею воспользовался, он бы Фране выдал ее в лучшем виде, и кто знает, досталась бы она тогда этому шалопаю Федьке, который жизнь прожил, а так и не понял, каким счастьем наградил его Господь.

Митроха оживился и с каким-то даже торжеством налил в кружку водку. Выпил на сей раз залихватски, умело, одним глотком. И крякнул со вкусом, как будто толк знал в этом деле и всю жизнь только и делал, что пил горелку. Теперь и закусывал смачно...

Нет, он не пойдет на похороны. Пусть, конечно, простит его великодушно Франя. Не пойдет. И вовсе не потому, что там кто-то на него глаза пялить будет, мол, пришел тот дружок покойницы, который обивал ее пороги. Ерунда все это, треп человеческий от праздной жизни и зависти. Митроха не пойдет потому, что не хочет видеть Франю усопшей. Пусть она останется в его памяти живой, такой, какой была всегда: веселой, острой на язычок, красивой и желанной. А он, он приляжет сейчас на часок-другой, и пусть приснится ему Франя такой, какой он ее любил всегда. Вот только надо вьюшку на грубке прикрыть, чтобы тепло из хаты метель не вытянула.

Митроха поднялся со стула пошатываясь. «Э-э, да я добре захмелел, однако, — подумал он, да рукой махнул, ну и что теперь из этого? Черт с ним...»

Покачиваясь из стороны в сторону, он кое-как достиг грубки, задвинул вьюшку. Глянул еще раз на нее, засомневался на какое-то мгновение — не сильно ли прикрыл? Да нет вроде, сойдет.

Шел к кровати и четко осознавал, как туманит и крутит его хмель.

«Вот те, холера, какую силу водка над человеком имеет, — то ли удивлялся, то ли констатировал Митроха. — Ничего — оклемаемся!»

Он свалился на кровать, даже не пытался накрыться.

«А может зря я, того, — не пошел на похороны? — вдруг резанула его мысль, но он тут же отогнал ее. — А если и так, разве что-то изменится?»

Митроха закрыл глаза и попытался представить себе, как выглядит в гробу Франя. Нет, не приходило видение. И хорошо! Зачем она ему мертвая? Пусть живой останется в его голове Франя...

Вдруг заенчил кот. На улицу, видать, ему надо. Но нет же, не так, как обычно, зовет его Приблуда дверь открыть. Что-то уж очень громко да требовательно. Ну явно не ко времени, в самый раз как разморило и уже прямо сил никаких не осталось. Погоди уж, будь тебе неладное, дай еще чуток полежать, с силами собраться. А сил ну прямо никаких, и томная лень по всему телу...

А Приблуда орет, ну, честное слово, не кот, а зверь какой-то. Вот же настырный, падла! Погоди чуток еще, не сдохнешь. А, впрочем, с чего это он так? Не так он просится, не с добра. «Не шибко ли я плотно вьюшку прикрыл, — промелькнула догадка у Митрохи. — Никак Приблуда угар слышит?..»

...И вдруг заиграла гармошка. Лихо так, с перебором, зазывно. Никак Федькина это гармонь. Только у него так и получалось, чтобы внутри все встрепенулось от его игры. Точно — он! Во всю ивановскую наяривает, склонив голову к той стороне гармошки, где у нее голоса. А вот на тебе (вот чудеса!), рядом с ним Франя в белой блузочке. Молодая, красивая, такая же, как тогда, в молодости. И поет задиристо:

Мой миленок, как теленок,
Только веники вязать,
Проводил меня до дома,
Да не сумел поцеловать...

А это кто там лихо приплясывает? Матерь Божья, так это же Павлина его! И тоже молодая, и тоже ничего из себя. Неужто она? Быть такого не может — хромая ведь. Так нет же, пляшет и никакой хромоты не видать. А вот еще люди. Много людей! Что же это за гулянка такая? И что это за люди? Мать честная! Так все же известные и знакомые люди! Вот и Катенька, дочь его, с мужем своим Володей пошли в круг, чтобы мать в танце поддержать. А вот дед Митрохин Платон тянет в танец бабку Дуню. А вот еще, глянь-ка, сосед Василь, чей дом Игорек выкупил, каблуком притопывает...

Боже ж мой, да тут все собрались. Кого и не чаял больше увидеть! По какому ж это, интересно, случаю такая веселая гулянка развернулась? А-а, не все ли равно! И вот, на тебе, перед ним поклон Павлина бьет — к танцу просит. Ну, ладно, держись теперь, женушка! Щас увидишь, щас почувствуешь Митрохинскую силу и прыть удалецкую: есть, есть еще у него порох в пороховницах!..

Господи, как хорошо-то, как весело!..

ТАДОРА ШПИЛЬКА

Становясь ближе к звездам

* * *

Среди осени вспомню
печаль весны,
когда ленты, в моих
волосах — красны,

отразятся бесцветными
в глади луж.
— Для кого нарядилась так?
спросит муж.

— Для дождя, что зовет
потерять в пути,
что хотела когда-то
я в нем найти.

Но уходят дожди,
омывая взгляд
разделенной не с теми
любви. ...Летят,

становясь ближе к солнцу,
гирлянды птиц.
Отражение неба
под стражей ресниц.

* * *

Я не вижу тебя за кулисами дня,
и кончается воздух в груди у меня.
Листья падают между печальных оград
и как память о том, что угасло, горят.

И в безмолвии осени капли дождя
бьют по спинам зонтов: уходи, уходя.
Только сердце последние крохи тепла
ищет там, где на холоде стынет зола.

Памяти брата

Перекрестки удачи и непостоянства...
Полыхают мосты за оградою дней,
и бессмысленно в вены крадется лекарство.
Стаи черных ворон, будто траур по мне.

На страницах газет, по каналам вещаний
под антеннами крыш, небосводом домов
тексты вечной разлуки, тоски и прощаний.
...Не держите меня, я к полету готов.

* * *

На мольберте крылатом заснеженных крыш
становясь ближе к звездам, о звездах грустишь.
...И в далеком пространстве заоблачных стран
антрацитовой блещет волной океан.

И кораблик бесстрашный в нем держит свой курс.
...Отыскать я пытаюсь слабеющий пульс
на запястьях того, кто рисует меня,
на мольберте под звездами, к звездам маня...

КАЗИМИР КАМЕЙША

Между устами и кубком[*]

Лирические миниатюры

Известно, большому писательскому чину и уважение большее. Для них существовали шикарные люксы, а на семью давали иногда и по несколько комнат. «Значит, такой из тебя писатель!» — могла вполне справедливо сказать вам под злую руку жена или теща.

Ну а Москва удивлять умела. Выйдешь, бывало, на пляж, а там одни разнеженные, до черноты поджаренные на солнце тещи. Столичные светочи, если и появлялись, то почти все с молодыми женами.

Обращал на себя внимание один столичный классик при должности. Я узнал его сразу и тут же вспомнил, как он весело похрапывал в президиуме какого-то нашего съезда. После завтрака классик отправлялся на корт махать ракеткой. Его с молодой женой обычно провожала целая свита. Одни несли «доспехи», другие шли просто, чтобы отметиться и похлопать в ладоши, когда тот будет громить своего соперника. Была тут своеобразная задача удивить нас, рядовых тружеников пера из республик необъятного Союза. Чтобы мы смотрели и завидовали. Но мы умели и смеяться!

Малыш рисует море, льдину с рыбаками, что откололась и плывет в бушующих волнах.

— Что ты делаешь, Мишутка? — говорит мама. — Они же утонут.

— Подожди, мама, — говорит малыш. — Сейчас я нарисую им спасательный корабль. Пусть немножечко еще подержатся.

Так, как падает лист, может ощутить каждый, а вот как растет он, способен почувствовать лишь поэт.

На встречу с писателями в райцентр привезли доярок из соседней фермы. Писателям понравилось, что слушают их так внимательно, даже не перешептываются, и они затянули свои выступления. Чтобы еще больше развеселить слушательниц, даже анекдоты принялись травить. А те вдруг дружно поднялись и — ходу, к двери.

— Куда же вы? — кричит им вдогонку ведущий.

— А нам коров доить надо! — слышатся голоса из-за двери.

И в самом деле, коровам не объяснишь, какие тут хорошие были писатели.

Мама хлеб кроит, прижимая буханку к груди, к самому сердцу. Так же и скрипач нежит свою скрипку, которая для него тоже — хлеб.

От сердца идет рука сеятеля, когда он берет с соломенной «сявеньки» горсть зерна, и рука косца, когда он взмахивает косовищем. Каменные жерно-

---

[*] Окончание. Начало в № 11, 2011 г.; № 3, 2014.

ва тоже раскручивают от сердца. И гостей мы приветствуем от сердца. Только сердечностью и живет настоящий человек.

Отучаю себя от зеркала. Разве интересно наблюдать, как издевается старость над твоим лицом? Возможно, и отвык бы от этой назойливой стекляшки, если бы не ежедневное бритье. Таким вот триединством мы повязаны: бритва, зеркало, лицо. Но есть и другие зеркала: лес, речушка, озеро, даже пруд, даже дождевая лужица... Там увидишь себя молодым и бодрым, даже счастливым. И разве не верно, что из лесу ты, пусть даже усталый, возвращаешься с помолодевшей душой, более мудрыми мыслями.

Жизнь после жизни, другая жизнь... Многие верят в нее и с этим умирают. Конечно же, другая жизнь у человека может быть, но — лишь во сне, живом сне. Там все живое, иногда страшное, неправдоподобное. А в том, безжизненном сне, уже не жизнь, а вечность.

Мою печатную машинку давно вытеснил компьютер. А вон та, швейная, все еще держится. Ибо вряд ли когда напыщенная игла отпустит от себя послушную нить.

Кто больший мученик бумажного листа — прозаик или поэт? Первому, желает он того или нет, необходима огромная усидчивость. Другому же достаточно и бунта, творящегося в его душе. В отличие от читателя и тому, и другому, ох, как непросто.

Скульптор Андрей Заспицкий на удивление весело рассказывал о работе над изображением своего коллеги Заира Азгура. Образ вышел очень удачный. Поставил на полку и только потянулся взять что-то, а бюст — добрый пуд глины — как грохнется, да на автора! «Неужто с того света таким образом сделал мне критическое замечание Заир Исаакович?» — шутил рассказчик.

Весь альбом крестьянина размещался когда-то на стенах его избы. Каких только изображений не было в деревянных рамках! Люди в свадебных нарядах, в военных мундирах, с застывшими и веселыми лицами перед объективом, стоя и сидя. И... даже в гробу. Не боялись и покойников. А что? Все перед глазами, как воспоминание и напоминание...

Есть и такие сравнения у престарелых людей: «Как до войны, как во время войны, как после войны...» Слышу и такое: «И после войны того не было, чтобы в классе да два-три ученика. Нет школы — нет и деревни».

Женщина просит фотографа:
— Не снимайте меня на большую рамку. Там бородавка моя будет хорошо заметна. Это же внуки как посмотрят...

Сын не в отца пошел, бродяжничает по свету босяк босяком.
— Он у вас учился где, окончил что? — спрашивают у человека.
— А как же, — отвечает уже в шутку. — Академию прошел, *жульфак* закончил. Грамотей, когда сам при чарке, а мать при плите.

Старость — это сплошное непослушание: внуки не слушают своих родителей, дети наши — нас. Мы не слышим сами себя. Но к начальству все же прислушиваемся.

Вот и еще одна деревенская изба опустела. Сразу же окна забили досками, чтобы не переглядывались оконные стекла с такими же, но живыми.

Опьянение философией интересно тем, что крона известного вам дерева довольно легко меняется местом с корнем, а ствол, которым они связаны воедино, этого даже не замечает.

То, что беззаботно проспал в молодости, теперь, старея, добираешь бессонницей. Она не так уж и мучительна, как кажется некоторым, а временами, наоборот, придает ощущение твоего присутствия во времени, укрепляет веру в то, что мир наш не так и тесен, как это видится днем.

Печная лежанка — это не трон для деревенского лодыря, как многие думают. Это еще и лечебница, и читальный зал (по себе хорошо знаю), и сушилка для лука и колбас, а еще хороший обогрев для дежки с тестом и — для памяти тоже.

И деньги наши, как известно, со временем стареют, теряют силу, а на смену им приходят новые, как правило, всегда более скупые. Но и с прежними тяжело расставаться, особенно если ты зарабатывал их добросовестно, своей, как говорят, мозолью. Многие обклеивают ими изнутри ящики комодов, крышки сундуков. В своей деревне встречал я оклеенный керенками шкаф, даже стену. А писатель Владимир Матвиенко рассказал мне следующую историю.

Происходило это где-то в начале прошлого столетия. В то время много наших земляков направилось на заработки в Америку. С жаждой разбогатеть, безоглядно ехал в свет и деревенский люд. Некоторым даже везло, они устраивались на фабрику или завод и получали по своим крестьянским меркам неплохие деньги. Кто-то даже оставался навсегда на чужбине. А некоторые вскоре возвращались, махнув рукой. Таких было больше. Сын бабушки нашего рассказчика тоже отправился в страну «долларового дьявола» вместе с несколькими односельчанами на заработки.

Вскоре соседи стали получать посылки с заморской одеждой, а сын нашей бабули присылал в конвертах какие-то зеленые бумажки с портретами «не наших» людей. Бабуля злилась: «Свихнулся наш хлопец, умные люди вон сколько добра шлют, а он все картинки какие-то досылает. Хоть бы бумага нормальная была, а то и самокрутку с нее не скрутишь, и печь не растопишь — не хочет гореть». Но нашла и этому добру применение. Через какое-то время вся крышка бабушкиного сундучка с приданным была оклеена теми зелеными картинками. И даже неплохо смотрелась в глазах односельчан. Старуха часто, посмеиваясь, показывала свою «галерею» незнакомым людям. Но однажды это бабушкино украшение увидел умный человек из соседней деревни и ужаснулся.

— Что же вы, родненькая, наделали? Вы уничтожили живые деньги, да еще какие. На крышке вашего сундучка настоящее богатство — американские доллары.

Аж запричитала в отчаянии женщина:

— А бог ты мой, а кто ж это знал... Что же мне теперь делать?

Стали думать. Клей на основе ржаной муки был безупречным. Все купюры держались мертвой хваткой. Но выход нашелся. Отвинтили завесы, сняли крышку, завернули ее в дерюжку и завтра же отвезли в неблизкий городской

банк. Говорили, весь персонал банка сбежался, чтобы увидеть небывалое зрелище. Многие хохотали от увиденного, но и самые смешливые завидовали старушке: деньги ее не пропали. И беднейшая когда-то сельская баба сразу же стала богатой. Сколько раз потом ходила она в церковь и все молилась, благодарила Бога, что послал ей такого умного сына.

Неприятно, когда правду выговаривают шепотом, и совсем нетерпимо, когда говорят ее *молча*. Случается и такое.

Если тебя не понимает немец, англичанин, даже близкий поляк, стоит ли на это обижаться. Ты же не можешь водить с собой личного переводчика или бегать в библиотеку за словарем.

Если же не понимают отец, мать, жена и дочь, может помочь лишь один переводчик: слезы.

Снега, по которому уже тосковала душа, тут, на даче друга, расположенной на самой окраине леса, насыпало немало. Даже легковушка наша некоторое время буксовала, взбираясь на горку. На яблоне — заснеженные, но еще с хорошим осенним румянцем круглобокие яблочки. Все еще ждут птиц. И уже тут как тут, покачивается на мокрой ветке местная сойка. Она все ближе и ближе подкрадывается к темным гроздьям винограда, тяжело повисшим над высоким крыльцом. Как много тут утешительного для глаз и сердца, совсем неожиданного и, одновременно, такого привычного декора. Печаль пробирает от одной только мысли, что вскоре нужно возвращаться назад, в докучливое постоянство и привычность города.

Журчащие родниковые струйки на усадьбе песняра в Вязынке. Живительный глоток приятно освежил и губы, и даже душу. Вязынка так и не отпелась в судьбе поэта, ей не посчастливилось, как Колосовому родничку возле Акинчиц. И виною ли тут превратность судьбы?

Поздняя песня, возможно, все еще созревала в душе, и зачин ее легко улавливается в «Спадчыне».

Не скажу, чтобы радовали меня урожаем дачные гряды. На даче моей хорошо растут лишь внуки.

Шумный перекресток улиц Румянцева и Захарова в Минске. Стайки пестрых студенток-лингвисточек то с мобильниками возле уха, то с сигаретой в накрашенных губках, а то и с бутылочкой какого-то напитка в руке. Все это напоминает цветочную клумбу, где хоть бы один отдельный цветочек выделить трудновато.

Однажды в саду этой жизни я потерял свое самое дорогое деревце, и весь сад для меня сразу же стал безразличным.

Зима, как скупая и занудливая старушенция всячески медлит, экономя время, зато весна и лето тратят его как легкую дармовую монету.

Лица людей, даже очень близких когда-то, постепенно стираются из памяти, затихают голоса, забывается манера разговора, даже одежда, в которой мы привыкли их видеть. В какой же тогда «андарак» одеть мне прабабушку, которую и в глаза не видел.

Невозможно воскресить в памяти и прикосновение горячего девичьего тела, от которого пронзало током, и ты терял сознание. Вспоминая об этом через столько лет где-нибудь в беззаботном затишье, можно и заплакать от отчаянья, что все это ты навсегда потерял и повторить его невозможно.

Птицы поют чудесно и неповторимо потому, что у них нет своих критиков.

Утешаем себя и тем, что оценивать нас будут читатели будущего, наши, не рожденные еще потомки. А тех не подкупишь, не пригласишь в шинок, не замолвишь словечко о каком-то добром дяденьке.

На нынешних деревенских сборищах, что не так многолюдны, как когда-то, машин иногда стоит больше, чем сидит людей. На таких посиделках обычно хвалят своих городских детей. Городские они потому, что просто сбежали из деревни от нелегкого крестьянского труда, а издалека не так стыдно и у родителей своих просить той самой белорусской «гуманитарки» в виде денег, окорока да мешка картошки. Хвастаются всегда и квартирами: «У моего трехкомнатная с тремя балконами», «У моей в самом центре, и аж четыре комнаты...»

Мало помалу разговор приближается ко мне. Почти все перескочили с вилки и смотрят в рот:

— А ты как же, Викентьевич, устроился в этой жизни?..

Отвечаю так:

— Я живу в небольшой однокомнатной квартире, в ней тесно даже для объятий, но какой простор для мыслей!

После такой шутки хорошо идет очередная чарка.

Природа лишь посмеивается над теми славословиями, коими воспевают ее поэты. Она намного выше и талантливей их всех.

Эта история из современных приключений наших отечественных дедов морозов. После очередной чарочки почувствовал себя наш дедушка регулировщиком уличного движения, начал посохом руководить движением машин на городском проспекте. В вытрезвителе наутро все списывал на чарку, а еще на свою молодость. Растаяла где-то, как снежинка, и его снегурочка. И это еще не все приключения наших новогодних дедушек. Другого подобрали с одним валенком на две ноги, третий где-то посеял бороду из пакли. Юмор и вправду новогодний.

В родной хате и блин солнцем светится, а в чужой и образы в красном углу смотрят угрожающе.

У правды всегда стоят двое: тот, кто сражается за нее и тот, кто сражается с ней.

Самая непобедимая мысль в голове человека — мысль о неизбежности смерти. Как ты не выкручивайся, а она все равно над тобой.

Корреспондент телевидения задает вопрос мальчику:

— Прогуливаешь ли ты уроки?

— Да, — говорит, — прогуливаю. Вчера белорусский язык прогулял.

И засмеялся. Эх, парень, ты лишь какой-то часок ее прогулял. А многие, куда старше тебя — целые десятилетия.

В весеннем саду все ослепляет удивительный свет. Май зажег светильники расцветших яблонь. Удивительное бело-розовое сияние соцветий сладко колышет веселая, жизнеутверждающая музыка пчел. Тепло, светло, торжественно на душе.

Грядки в саду запорошены снежком опавших лепестков. И по ним так боязно ступать молодому дождю.

Что чувствует птица, только-только свившая себе гнездо и заселившаяся в него? Никто вам об этом, даже она сама, никогда не расскажет. Но человек может понять это своим жизненным опытом, человеческой догадкой, чувством.

Теплые, с росой после дневного дождя, сумерки. Вышел на крыльцо и так увлекся, расчувствовался соловьиным концертом. Ах, какие коленца, переломы да переливы! И это, видно, на всю ночь. А душа, хоть и подпевает соловью, печалится...

И березы, и сосны чудные песенные деревья, но и над ними поиздевались варвары от поэзии.

Люблю слушать, как шумит, споря с ветром, наш лесок, ветви которого едва не касаются моих сельских окон. Шум его напоминает временами волну морского прибоя, где сливаются в единое и стон, и тревога, и даже какая-то непонятная угроза, напоминание. Но чего-то мне не хватает в этом с детства знакомом шуме. Что же не дает покоя моим ушам, а заодно и душе? Ага, вспомнилось. Не хватает задумчивого гула проводов. Ухватившись за зеленые стеклянные чашечки на столбах, они пели мне когда-то особенные мелодии. Грустноватые, правда. Нынче они уже в прошлом. А те, провисшие, что размашисто протянулись куда-то вдаль сквозь всю пущу — те немые.

Как хорошо, когда просыпаешься утром, а у тебя спрашивают:

— Что будешь есть на завтрак?

Но разве мало на свете тех, кто просыпается с иным вопросом: «Что же я на завтрак буду иметь?» В холодильнике — пусто, а то и холодильника нет, в карманах ветер свищет. Впрочем, думает он не о какой-то там пище, а о похмельной капле горячительного. Одевается и тащится в какую-нибудь избу, носом чувствуя, где имеется эта самая капля, хоть она всегда скупая, вымоленная.

Заходит в избу, присаживается на табурет у порога и начинает плести все то, что слетает с языка, где-то услышанное, а где-то и для такого случая придуманное. В жаждущих глазах совершенно отчетливо написано: «Ну, налейте вы мне грамулю». Нет, не говорит об этом, хозяйка сама все видит. И всем поведением дает понять человеку, что не нальет. Насколько нетерпелив он, настолько терпелива она. Кто кого победит в этом негласном соревновании? Уже по пятому кругу идет беседа, а он сидит и сидит. Наконец, с неохотой зачерпнет и выпьет вчерашней воды из ведра. И тут же находится выход: увидев, что в ведре почти пусто, хватается за ручку:

— Я вам воды принесу.

И бежит к колодцу. А это — какая-никакая, услуга. И за нее нужно платить. Вытащит женщина из тайника ту самую каплю мутного самогона:

— На уж, глотни. Вижу, как терпеть тяжело.

И вот повеселели, заиграли глазки утреннего гостя и посыпались из уст обещания:

— Я вам, тетенька, и навозу привезу, и сотки запашу, и...

— Хорошо-хорошо, запашешь, — уже почти гонит его хозяйка, зная наперед, что все это лишь пустые обещания. — Иди, сосед, иди! Мне молитвы говорить надо.

Сосед в костел не ходит, но с Богом ссориться не желает, поэтому молитвы на него действуют. Ребенком он и сам знал их на память, часто они и теперь всплывают сами по себе в голове. Закрывает дверь со спасибо, а, выйдя из избы, вновь задумывается, на какой бы такой дымок, в какой еще домок заглянуть. День же только начался...

Этот необычный куст малины каким-то чудом прижился в моем деревенском огородике. Девять остальных, что привез от одного моего знакомого минчанина, засохли, а этому, самому живучему, почему-то пришлась по вкусу местная почва. Ягоды на нем крупные, на хорошую клубнику тянут. Мама моя чуть не со слезами рассказывала мне:

— Тридцать четыре ягодки насчитала я. Ну, думаю, через день выспеют, тогда и сорву. А через день смотрю: одна ягодка осталась. Какой-то проходимец оборвал ночью.

Догадался я сразу: кто этот проходимец. Птицы, конечно же. Опередили старушку. Только как их считать — своими или чужими?

Внук с бабушкой, поджидая меня из дальней дороги, откуда я должен был принести грибов и сладких черных ягод, прибрали мой рабочий стол, даже букет с ромашками на него поставили. Я поблагодарил за такую теплую встречу и выложил лесные дары: зелень из материнского огорода, ведро черники и немалое лукошко золотистых лисичек. А внук сразу же с вопросом:

— Привет зайцу передал?

— А как же, — смеюсь. — Не только передал, я тебе даже «заячьего хлеба» привез.

— Ты что, дед, издеваешься? — посерьезнел внук. — Откуда у зайца хлеб?

И, чтобы его развеселить, рассказал о трех косулях, что проскакали утром, и о том, как чуть не наступил на утиное гнездо в густой траве у канавы, и про аиста, клекочущего на соседней крыше. А сам вновь вспоминаю совсем иное: свое далекое детство и тот «заячий хлеб», что всегда приезжал вместе с отцом из заснеженной пущи. Теперь мои лучшие воспоминания только и кормятся тем «заячьим хлебом». Внуку этого не понять. И подарки мои, вижу, радуют его мало. У Мишутки свое, более современное, ожидание отца из дальней дороги. Его отец привозит ему новенькие маленькие машинки. Ни в одном гараже мира нет такого количества машин, сколько их в комнате Мишутки. А мне все кажется, что в я в детстве был куда богаче внука: со мной, как взором и сердцем охватить, и днем, и ночью была моя пуща.

Запоминается иногда не сама дорога, а ее неожиданно острые и крутые повороты. Так же запоминается и мысль...

Называют кино важнейшим из всех видов искусства. Ленин, если и не во всем был прав, но вперед смотрел далеко. Не посадишь же неграмотную старушку за книгу прочитать нашумевший роман. А вот любоваться, как «живые болваны по стене скачут», пойдет и даже побежит и стар, и млад.

Так, помню, и было когда-то в деревне, начинавшей «просыпаться ото сна» с помощью заезжей кинопередвижки.

Прошло время, и экран сегодня в своем телевизионном обличьи так потеснил книгу, что той и шикарные суперобложки не помогают. А долгоиграющие сериалы, что крутят сегодня бесконечно по всем каналам, приобрели наркотическую силу. Уже забыты давно те богатые, что «тоже плачут», а женщины, бросая все дела, бегут смотреть цыганскую «Кармелиту». Вдобавок на полную мощь заявил о себе интернет. И вот уже мой ученый сосед говорит соседке:

— А зачем мне книга, я и в интернете все найду, что мне нужно.

Так что держись, книга! Тяжело тебе теперь, а будет еще тяжелее.

Понемногу возвращаю слова из своего далекого детства. Возвратилось и это — *рондаль*. Это та самая посудина, которую сегодня называют кастрюлей, только с удлиненной ручкой. Смакую и *малодзіва*, запеченную сладкую молочную сгущенность, молоко от только отелившейся коровы. У *рондаля*, что имеет, по всему видно, немецкое происхождение, совсем родное звучание, испробованное на вкус уже нашими устами.

От земли мы хотим иметь больше, чем даем ей сами. Посеяли горсть, а хотим собрать мех. А если совсем не давать? Так и останемся, каждый в своей невинности. Ни ты мне, ни я тебе. Грех великий земной... Но ведь и грешников хватает...

Каждый пишет свою собственную книгу жизни. Даже самые близкие люди содержание ее знают лишь приблизительно. Самое ценное в этой книге то, что прячется между строчек. Оно целиком принадлежит лишь автору и почти всегда остается непрочитанным. Оно и отходит вместе с человеком. Это те самые тайны, которые человек никому не доверяет, кроме, разве что, Бога. Ах, какая библиотека непрочитанного!..

Вновь листаю свой старенький, в красной обложке, блокнотик, мой личный, мною задуманный словарь. Вновь вписал туда новое (старое) слово, только что возникшее в памяти — *«вопсас»*, что значит — стремглав, напролом, стремительно. Заглянул в словарь северно-западных речений — нет такого. Ах, как много хороших, мило-ласковых слов насобирала моя память. И теперь по одному, как по ягодке, изредка вбрасывает в мое удивление. Хотелось бы каждое из них приживить, привить в некий конкретный текст. Но тексты моих сегодняшних дней слишком бедны для такой прививки. Нужно и их выбирать из памяти. Тогда, может, и приживутся.

Курская магнитная аномалия. Мало что значили для меня эти три слова, пока своими глазами не увидел Михайловский рудник за Железногорском. Поразил необычностью сам карьер, походивший на какую-то сказочную арену, по которой сновали наши могучие самосвалы, кажущиеся игрушечными там, в глубине. Да и все выглядело довольно игрушечно, даже люди казались суетливыми муравьями. И было ощущение, что все это видел когда-то во сне. Да и вообще, в нынешние свои немолодые года начинаю понимать, как много из того, что когда-то переплелось в детских снах, сегодня предстает реальностью. И я начинаю протирать, слезящиеся от яркого июньского солнца глаза: неужто и правда — сон?

Где-то текут медлительные реки Погаршина, Речица, Чернь, впадающие в Свапу, и грозно шумит дремучий лес, перекликаясь с нашими белорусскими

борами... Если нам, людям, тут не нужны переводчики, то деревья даже по взмаху ветки понимают одно другое. Шумят, растут, даже падают одинаково. А там, внизу, на большой рабочей арене, ревут, пыхают дымом самосвалы и экскаваторы, и мысли мои стремительно мчат в мои родные Навики, под соседнюю деревню Аколово, в «глубину столбцовских руд». Там геологи отыскали большие залежи железной руды. До разработки, правда, дело еще не дошло. Может, похожая «арена» или «аномалия» ждет и моего потомка? Мы же, налибоцкие, из той самой железной руды и начинались. И название Налибоки (налей баки) идет, видно, оттуда, издалека. Конечно, теперь «баки» будут совсем иными. И останется ли среди них место моим Малым Навикам? «Кто будет жить, тот увидит», — любила говорить моя мать. Но тут, за Курском, несложно все это представить.

Человек страшен беспамятством. У нас множество людей, особенно среди молодежи, помнящих лишь самих себя, и то, начиная от стен детского садика. Об этом мы разговаривали со своим далеким родственником, прибывшим прошлым летом в деревню со множеством вопросов. Задумал он составить свою родословную, отыскать каждую веточку родового древа, корни которого тут, в пуще. Мы ездили на кладбище, читали надписи на памятниках и крестах, сверяли с помощью стариков фотографии. В деревне почти не осталось людей старше меня. И никто нам не помог распознать женские лица на фотоснимках. Лишь догадками мы вроде кого-то узнавали. Гость на всякий случай оставил мне фотографии. И хорошо, что оставил. Еще один мой польский родственник, гостивший в деревне тем же летом, но позже, узнал на снимке свою мать. Отыскалась, значит, одна потерянная веточка.

Да, нужно как можно чаще обращаться к своей памяти. Не знать корни свои — это то же самое, что быть некрещеным. Крестить человека нужно не только храмом, но и историей.

Отдать последнее — это совсем не то, что забрать последнее. Охотников забрать у нас больше чем надо. Было и будет. Но как хорошо, что есть и те, кто готов поделиться последней копейкой. Даже если вы этого не просите. Радуйтесь и благодарите Бога, что рядом с вами есть такой человек. Я встречал в жизни таких людей. А вот сам я каков? Дайте подумать... Кажется, отношусь к тем, кто под пьяную руку может отдать последнее, а потом пожалеет. Впрочем, «потом» уже не считается, как говорит мой остроумный внук.

И все же они есть на свете, такие люди. Свет не без добрых людей.

Лежа на деревенской печи, попробовал вернуться памятью в далекое детское прошлое. Думал, этому помогут сучки на потолке, что мне когда-то напоминали выразительные зарисовки из пущи. Но за добротным слоем краски те сучки давно исчезли, а многие просто вывалились из старой деревянной *суфитки*, которую теперь называют *вагонкой*. Пожалел, повздыхал...

Сколько всего приятного сердцу исчезло под толстыми наслоениями времени! И тот старый, скошенный дверной косяк, который отец пробовал выправить простым стесыванием, стал, как будто, глаже и при моем появлении, кажется, отклоняется в сторону. Грустно тут без меня, и мне грустно...

Товарищество любителей книги. Существовало когда-то и такое. Через годы у себя спрашиваю: «А зачем оно тогда нужно было, когда за книгами люди в буквальном смысле охотились? Вот сегодня, когда книги мало кому

нужны, возможно, и не хватает такого товарищества. Простите, книголюбы моей юности, но вообразил я такую вот историю.

...Случилось так, что творец с читателем поменялись местами. В праздничном светло-просторном зале собралось полным полно писак, чтобы послушать единственного своего читателя. И он начинает знакомить их с кухней своего чтения, показывает закладки, которыми пользуется, лампы, вспоминает свой читательский путь от рождения, свою первую книгу, даже в пух и прах разносит своего нелюбимого писателя.

Тут же поднимаются благодарные авторы, осыпают единственного цветами, просят у него автографы для своих книг. Угощают чаркой под бутерброд с икрой. Ищут деньги на премию лучшему читателю года. Это моя выдумка, но не готовит ли нам время подобную встречу?

В Минске этот человек был известным. Но совсем не благодаря своим рисункам, которым отдавал большую часть времени, зарабатывая на хлеб насущный. Художником слыл талантливым, к тому же из когорты карикатуристов, число которым всегда — единицы. Известен человек был своей обезьянкой, которую всегда носил на плече...

Близко с ним мы не были знакомы, но несколько раз пришлось встретиться. Одна встреча мне хорошо запомнилась. Это случилось в вестибюле Белорусского радио, на Красной, 4. Меня заинтересовал какой-то необычный шум и гам на первом этаже, и я быстренько спустился туда со второго. Возле постового милиционера собралась целая толпа народа: журналисты, дикторы, кто-то еще, а общее внимание было обращено на резвую обезьянку, перебегавшую с плеча на плечо. Ее угощали конфетами и апельсинами, а может, и еще чем-то, до слез потешаясь необычным зрелищем. Ибо кто когда наблюдал экзотическое создание на плече у человека?!

Второй раз человека с обезьянкой мне посчастливилось видеть на главном проспекте столицы. Он шел от Площади Победы в сторону цирка, а вслед за ним двигалась целая процессия молодых людей с этюдниками за плечами. С радостными возгласами они заполнили весь правый тротуар проспекта, так что встречному человеку не разминуться. Остановить эту процессию, забиравшую под свое крыло все больше народу, мог лишь сам мужчина с обезьянкой на плече. Так оно, в конце концов, и получилось напротив здания цирка, и тогда они с обезьянкой обросли целой толпой.

Человека звали Леонардом Чурко. Художник окончил Московский полиграфический институт, занимался станковой и промышленной графикой, оформлял книги, рисовал плакаты. Своим человеком считали Леонарда в журнале «Вожык». Карикатуры его выделялись не только цветом и неожиданностью композиции, но и многофигурностью. Не каждому карикатуристу под силу в небольшом рисунке отразить множество особ и придать каждому лицу свою юмористическую непохожесть. Такими в моей памяти остаются его неповторимые миниатюры городской жизни.

Как вспоминают друзья, по натуре своей Леонард слыл человеком веселым, способным на всевозможные выдумки и розыгрыши. Как-то утром зашел в издательство «Беларусь», размещавшееся тогда в старом здании Дома печати. Принес какой-то выполненный заказ. Постучал в дверь редакции оформления, подергал ее — никто не открыл. На всякий случай художник носил с собой старый изношенный башмак. Тут же вытащил его из сумки и яркой краской написал на подошве: «Был. Ждал. Не дождался». Вместе с рисунком сунул в ручку двери. Все издательство смеялось над такой шуткой.

У Леонарда Чурко было много друзей, но лучшим своим другом он считал прирученную обезьянку, которую приобрел во время какой-то дальней поездки. С обезьянкой они были неразлучны и дома, и в гостях, и на улице.

Когда он появлялся в «Вожыке», обезьянка охотно шла на руки к каждому из сотрудников, она очень любила яблоки, и это угощение всегда имелось в редакции.

К сожалению, судьба — вещь непредсказуемая. Жизнь веселого человека с обезьянкой на плече трагически оборвалась зимой 1983 года. Тем зимним днем они катались на лыжах в Раубичах. И тут их неожиданно окружили подвыпившие парни, начали издеваться над обезьянкой. Он бросился на ее защиту. И поплатился жизнью.

Временами, когда я иду по проспекту Независимости в направлении цирка, меня так и тянет обернуться. А, может, сейчас меня догонит тот веселый человек с обезьянкой на плече...

Торопливый разговор женских каблучков за дверями чужой квартиры. Нет, я не ошибаюсь: каблучки и в самом деле разговаривают, и я чувствую даже, какое у них настроение. По каблучкам я даже сверяю утреннее время. Двадцать минут восьмого. Каблучки в этом смысле очень точные. Ни минутой позже или раньше. Это постоянство заставляет задуматься и над своим глумлением над временем, как будто его у меня такой большой запас, что хватило бы на две жизни. Каблучки затихают... Каблучки не догадываются о моих мыслях...

— Ах, как хорошо, что ты приехал, порадовал меня. А то сны последнее время какие-то неважнецкие снились... — эти слова часто говорила мне мама, когда приезжал домой неожиданно. Вряд ли найдется сегодня кто-то, чтобы повторить их с той же радостью.

А хорошая это выдумка моей давней знакомой: из старого радиоприемника она соорудила скворечник. Теперь из этого, некогда крикливого ящика, и в самом деле вылетают живые голоса. Слава человеческой выдумке!..

«Что мне делать?» — часто этими тремя словами с вопросительным знаком человек обозначает границу своей безысходности. Превозмогая слезы и боль, он ищет ответ. И часто его находит. Сколько раз случалось такое и со мной. Нужно помнить, что выход есть из любого положения, кроме, естественно, смерти.

Как пеленают младенца? Наверное, не все молодые мамы покажут вам, как это делается. Смешно, но я в свои девять лет довольно ловко пеленал младшего брата. Отец с матерью, отъезжая в поле «на Марги», где у нас была посеяна рожь, оставляли меня за няньку. Я качал деревянную люльку на рожках-ножках, готовил сахарное «сусло», что заменяло соску, и... пеленал. Мама научила меня, как заворачивать пеленки, как перепоясывать ребенка. Науку эту я освоил очень быстро.

Боялись родители лишь одного: как бы не уговорили меня деревенские друзья отправиться с ними на выгон, где дымился костер, запекалась в золе картошка, а на прутиках поджаривали сало. Деревенские свинопасы в этом отношении были гурманами. Часто я искушался на эти уговоры, за что потом отец угощал меня сыромятным ремешком, о чем теперь вспоминается

почему-то с любовью. Из всех искушений, что случались в моей жизни, сегодня искусился бы разве что детством.

Не знаю, как и назвать это чувство, давно уже не дающее покоя моей душе. Я растерялся и не бросился на помощь женщине, что падала рядом, оступившись на какой-то ступеньке. Это сделали другие. Но я, кажется, находился куда ближе их.

В жизни не раз случалось, что и я падал. Хорошо знаю то чувство неловкости, когда ты падаешь на глазах у других. Как хорошо, когда найдется человек, который искренним сочувственным словом снимет с твоего сердца камень от той неловкости. Я не сделал этого. Прости меня, женщина!

Щенок, что играет во дворе с собственной тенью, принимая ее за кого-то чужого, двумя черными маслинами глаз заглядывает мне в лицо, стрижет острыми ушками, как будто о чем-то просит. Но о чем? Чем-то вкусненьким его уже угощали, теперь, наверное, хочется какой-то игры, забавы, игрушек, всего того, чего всегда не хватает неугомонной детворе. Почитать ему, что ли, стишок, который, кажется, пишу для себя одного, ибо уже и последний мой читатель подался в поэты. У него появились деньги и ему обещают издать все, что он способен написать. Хорошо, что об этом не знает моя собачка.

За этим столом и близкий сосед, и дальний родственник были на одинаковых правах. Стол был поминальным. Все тут перемешалось: запах табака с запахом воска и валерьянки, водки с запахом свежего салата, чья-то слеза с соседскими веселыми воспоминаниями. И так много вместилось между близким соседом и дальним родственником: добрых полдеревни людских судеб и жизней.

Дрючком ни от беды, ни от старости не отобьешься, а вот больной ноге можно помочь. И вспомнился мне тот можжевельниковый, суковатый, который сам вырезал на болотце и который вместе с немощной мамой отправлял в Рубежевичскую больницу, а вернулся уже без нее.

— Забирайте покойницу сегодня, потому что у нас морга нет, — позвонили мне из больницы. Темным дождливым сентябрьским вечером мы забирали ее из больницы, и тут на краю кровати я заметил, как сиротливо смотрит сучками тот дрючок.

Он и сейчас лежит на печном выступе в родительском доме и напоминает мне одинокую стрелку в старых забытых часах. Дрючок помнит все, что еще недавно помнила мама: холодноватое прикосновение пола в родной хате, здоровый запах травы во дворе, огонь в печи, где он часто успокаивал слишком уж бойкие стреляющие угольки. И, наверное, помнит тепло маминой руки, может, даже сохранил в памяти и мой складной ножик, что вырезал и скоблил его. Когда умирает человек, каждая вещь, что служила ему при жизни, сразу переходит в Память.

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.

Одно стихотворение

ВАДИМ ЛОГАСЕВ

* * *

«Пришел, увидел, победил!» —
Изрек нам Александр.
«Пришел, увидел и разбил!» —
Добавил Бонапарт.

Так говорили Цезарь, Кир,
Суворов, Чингисхан...
«Пришел, увидел, полюбил!» —
Так говорю я вам.

Пришел, увидел, полюбил! —
И это навсегда!
Пришел, увидел, полюбил! —
И не нужна война!

Пришел, увидел, полюбил! —
И на душе светло!
Пришел, увидел, полюбил! —
И все вокруг — мое!

НИКОЛАЙ АГЕЕВ

Весна идет

Весна идет, все ярче солнце светит.
Длиннее дни. Чернея, тает снег.
Со светом все ликует на планете,
Ручьи, сливаясь, ускоряют бег.

Весна идет, земля освободилась,
Взыграла жизнь в деревьях и траве.
Ломая лед, речная ширь открылась,
И первоцвет — рисунком по канве.

ЕЛЕНА ГРОМОВА

* * *

Трап самолета коснулся земли.
И север с душой необъятной
Схватил горячо нас в объятья свои
И вмиг дал понять — безвозвратно.

Солнце блестит в самоцветах снегов...
Та же земля — родная.
Карское море дышит у ног,
Волнами берег лаская.

Камушкам рядом — нету числа:
Как отшлифован каждый!
Жизнь, ты вот так же шлифуешь нас,
Не утоляя жажды.

МИХАИЛ КУРИЛО

Левкои

Всю весну пропадаешь на даче,
Где сажаешь ирис и левкои...
Дождик спорый как раз на удачу,
За левкои твои я спокоен!

За левкои твои я спокоен,
Дождик спорый — он что-нибудь значит:
Улыбнутся нам утром левкои,
Подморгнет им старик-одуванчик!

Боже! Счастье-то, счастье какое:
Есть у нас наше гнездышко — дача,
А в придачу к любви есть левкои...
Королевский цветок, не иначе!

СОФЬЯ ВОЛОСЕВИЧ

Подкова

Отчего же ты глядишь сурово,
На других обиду затая?
Просто счастья потерял подкову,
Да она была ведь не твоя.

Если жизнь и повернулась круто,
Без подковы все ж не помирать.
Чтоб ее опять найти кому-то,
Должен ее кто-то потерять...

Большое сумасшествие

Жизнь, как известно, театр. А еще — большое сумасшествие. И каждый сходит с ума по-своему.

Вот человек — индивидуальность и целая Вселенная. Он замкнут в себе, он боится контакта, боится вторжения в свой внутренний мир, потому что слишком раним, потому что грубая, агрессивная действительность стирает защитный слой на его душе, как наждачная бумага обдирает кожу. И если это вторжение происходит, он реагирует не всегда адекватно, как кажется со стороны, но это только кажется, потому что никто ведь не знает, что творится внутри него, до какой степени чувствительности доведена его душа.

А, может быть, человек надеется в глубине души на то, что кто-то найдет к нему подход, появятся точки соприкосновения и обещание будущей близости, но даже самое сильное желание и стремление к контакту, самые искренние усилия на грани собственных возможностей могут не увенчаться успехом.

Он пытается любить другую, соседнюю, такую же огромную и непостижимую Вселенную. Теряет ее, не в силах противостоять какой-то гигантской ледяной равнодушной силе, хозяйничающей вокруг. И готов в отчаянии похоронить себя заживо, но приговорен к жизни.

И вот он стоит — такой одинокий, каким может быть только человек среди людей. Мечтает о счастье и исполнении желаний. Назначает себе веру во что угодно, лишь бы было за что ухватиться. А не веру, так идею-фикс, и доводит ее до небольшой мании личного масштаба. В поисках красоты и гармонии попадает в разрушающие его зависимости. Задыхается без постоянного подтверждения собственной значимости. Продолжает оставаться таким же одиноким, маленьким и чужим в своем доме, практически отсутствующим, вернее, находящемся в другом измерении, в параллельном мире, пронизывающем действительность. Захлебывается в попытке осмысления этого мира и своего места в нем и сходит с ума уже натурально.

Жизнь — большое индивидуальное сумасшествие.

Юлия САВРИЦКАЯ

ДОРИС ДЁРРИ

Кашемир

Раньше новую одежду для меня он покупал сам, просто так, без особого повода. Выбирал что-нибудь самостоятельно и вешал потом, как сюрприз, в шкаф. Казалось, он никогда не обращал внимания, насколько чудовищно выглядели эти вещи пятьдесят четвертого размера — туристические палатки в чистом виде. Его любимым платьем было красное в черный горошек, в котором я казалась себе гигантской божьей коровкой. Он был счастлив, когда я его надевала. Просто не видел меня такой, какой я была на самом деле.

— Кашемир как наркотик, — говорит продавщица, поглаживая песочный пуловер, словно любовника. — Вот увидите. Стоит надеть кашемир один раз, и вы уже никогда не захотите ничего другого...

Я качаю головой.

— Да примерьте же хотя бы раз, — улыбается она, — просто так, чтобы почувствовать...

Раздеваясь, я не смотрю в зеркало — слишком часто раньше при виде собственного тела не могла сдержать слез.

Теперь я худая. Стройная. Мне нравится, как звучит это слово, — соответственно своему значению. Стройная. Я стройная. Порой в страхе хватаюсь за карманы брюк, словно возможно потерять собственные тазовые кости, как связку ключей, и меня отпускает, только когда они врезаются в ладони, и можно держаться за них, как за два поручня.

Кашемировый пуловер падает, нежно скользя, на мои теперь скорее маленькие груди, он льстит мне, делая лицо мягче, а фигуру не такой отвратительной. Фред называет меня анорексичкой, чтобы отвлечься от собственных проблем с весом. «Я иду в ногу со временем, — смеется он. — В 1970 году я весил семьдесят кило, в 80-м — восемьдесят, теперь как раз — девяносто три». Это неправда, он уже давно перешагнул сто-килограммовый рубеж.

А я слежу за своим весом, как полицейский, педантично записывая каждый съеденный кусок.

Сегодня за целый день я съела только один банан — девяносто калорий, йогурт — сто двадцать, плюс два хлебца — восемьдесят. Я чувствую себя легкой, слегка одурманенной тихой болью в желудке, которая теперь так же неотъемлема от меня, как собственное имя. Если не ощущаю ее, то становлюсь беспокойной, чувствую себя плохо — разбитой и толстой.

Продавщица приоткрывает занавеску примерочной.

— Сидит, как влитой, — говорит она. — Он у нас последний... но вы не торопитесь, подумайте.

Она приторно улыбается и снова исчезает — знает, что пуловер сейчас сам все скажет за себя.

— Посмотри, — говорит он, — я сделал из тебя привлекательную женщину, нового человека...

— Правда? — парирую я, натягивая пуловер на груди.

— Ты заслужила меня, — шепчет он, прижимаясь плотнее к моему телу. — Тебе будет хорошо со мной, я буду тебя любить, если будет одиноко.

Когда я выхожу из кабинки, об исходе разговора продавщица уже догадывается по моей улыбке.

У меня с собой недостаточно наличных, кредитки магазин не принимает, а чеки остались дома. К тому же уже скоро шесть.

— Я живу недалеко, через десять минут вернусь, — говорю я и, возбужденная, выпархиваю на улицу.

Дневной усталости как ни бывало, голова ясная, сердце поет. Я вижу, что в наших окнах свет не горит, значит Фреда нет дома, что сразу значительно упрощает дело. Не нужно будет ничего объяснять, врать. Специальное предложение, сказала бы я, скидки — несмотря на то, что это мои собственные деньги.

Я проношусь через прихожую, достаю из ящика чеки. С удовольствием надела бы новый пуловер прямо в магазине, он должен идеально подойти к замшевой юбке. Сбрасываю пальто, стягиваю брюки, оставляя их на полу, бегу в спальню, не включая свет, достаю из шкафа юбку — я знаю наизусть, где что висит. Шкаф — мое святилище, алтарь, память о моем жире. Монстроподобные палатки исчезли, ни одной вещи больше сорок четвертого размера, все подобрано по цвету, никаких узоров, тем более, гороха.

Его голос выныривает из темноты, попадая в меня мягким мячиком:

— Привет.

Он лежит на кровати совершенно голый, рядом на тумбочке — грязная тарелка. Белый фарфор светится в темноте, как полная луна.

— Что ты ел? — спрашиваю я.

Он не отвечает, встает, подходит и прижимает меня к груди. Я чувствую, как его теплая плоть приминается от соприкосновения. Его дыхание холодит мою шею.

— Привет, — тихо повторяет он.

Я молчу, от удивления никак не реагирую. Не знаю, сколько проходит времени, пока мы стоим вот так, обнявшись.

Вначале наша любовь была страстной, она опьяняла и поражала меня. Неужели это я? Эта абсолютно безудержная гора мяса? Я и теперь помню ту свою улыбку, словно отказывающуюся верить в происходящее, когда мы, изнуренные, лежали рядом, и его голова тонула в моем огромном бюсте. Как он хотел мое толстое тело, о котором я в такие моменты — но только в такие — забывала напрочь. А еще, когда мы любили друг друга, я вообще не чувствовала голода — совершенно новое состояние.

Постепенно ошеломление во время любви стало ослабевать. Я замечала, как мой весь в складках сала живот впрессовывается в постель под тяжестью его жесткого, мускулистого тела, как булки моих ягодиц выдавливаются из-под меня, словно коровьи лепешки, как жир моих бедер дрожит от наслаждения, будто желе. Я стала стыдиться самой себя.

Когда я была маленькой, мама ко всеобщей детской радости часто делала на десерт пудинг-желе, и отец брал в руки миску, встряхивал ее, так что пудинг пританцовывал, и спрашивал: «Кто это?» А все дети возбужденно кричали: «Госпожа Винкель!» — наша ненавистная толстая квартирная хозяйка.

Он нежно покусывает мой затылок.

— Фред, — пытаюсь улизнуть я, хихикая, чтобы не обидеть его, и косясь на часы, — уже без трех минут шесть.

— Я ждал тебя, — шепчет он и, стоя позади, кладет руки на мои груди.

Я ужасаюсь, когда читаю статистику в женских журналах. Два раза в неделю у восьмидесяти процентов? Они врут. Или у нас с Фредом

не все нормально? Кто знает, как это происходит? Просто промежутки между сексом становятся все больше, пока желание у обоих не сходит на нет.

Нет, это не правда, и мы оба это знаем.

— Иди сюда, — тянет он меня к себе.

Его огромный живот упирается мне в поясницу. Если я сейчас его оттолкну, он на несколько дней замкнется в себе. Я буду лежать в гостиной на диване и делать вид, что читаю, тихое клацанье холодильника выдаст мне его местонахождение, и не обязательно будет видеть, чтобы догадаться, что он сидит за кухонным столом и поглощает шоколадное мороженое столовой ложкой прямо из коробки.

Если мы поторопимся, то я еще успею за моим пуловером до закрытия магазина. Я беру его за руку и веду назад в постель. Он падает на матрас так, что кряхтит кровать и стонут пружины.

В положении сидя его живот лежит на ляжках, превращая хозяина в бесполое существо. С каким удовольствием раньше я наблюдала, как он раздевается, бродит вокруг голый, вешая одежду, приоткрывая окно, убирая обувь.

Уже какое-то время он больше не носит ботинки со шнуровкой — только мокасины. Утверждает, что они ему нравятся больше, но я-то знаю настоящую причину: живот мешает завязывать шнурки.

Я стою у него между ног, он усаживает меня на свои мясистые колени, наклоняется и целует мою грудь. Его подбородок, как махровое полотенце, собирается в пять складок. Он качает меня на руках, как ребенка, прижимает, целует, гладит по спине. Три минуты седьмого. Нужно что-то предпринять, иначе я не успею. Почему я только не попросила продавщицу отложить пуловер?

Я соскальзываю с его колен на ковер, кладу руки на его бедра, опускаю голову и открываю рот. Мой лоб глубоко вдавливается в его живот. Словно издалека, я слышу его тихое постанывание. Я представляю себе высокую возбужденную вершину, которую нужно покорить. Мы отправляемся в путь, наверх шаг за шагом. Он медлит, неуверенно следует за мной. Я чувствую его руки в своих волосах. Моя голова глубже вжимается в его живот, сало, словно краешек одеяла, прикрывает мою щеку.

Мысленно я готовлю себе ужин: ровно сто грамм бурого риса, кусочек масла и рубленая зелень. Я ем в гостиной, он — на кухне. Я не выношу даже вида жареной грудинки, картофельного салата и жирных куриных ножек — от одного только запаха подступает тошнота.

Только раз смогла я сподвигнуть Фреда на диету: если ты меня действительно любишь, то снова станешь таким, каким я тебя когда-то знала.

Он даже ходил со мной в группу взаимопомощи, которую я посещаю уже больше пяти лет. С едой ведь так же, как с алкоголем. Попав в зависимость раз, остаешься больным навсегда. На собраниях группы те, кто с прошлого раза прибавил в весе, должны носить свиные уши.

Три раза появлялся там Фред, дважды он надевал розовые пластиковые уши. В третий раз встала стройная симпатичная девушка лет двадцати, которая еще год назад весила почти восемьдесят кило, и робко сказала:

— Уже полгода я вешу пятьдесят восемь килограмм. Все думают, что я счастлива. Но у меня такое чувство, как будто меня ограбили. У меня украли мою заветную мечту. Я думала, если я похудею, то моя жизнь преобразится. Но ничего не изменилось, кроме моего сердца. Оно стало маленьким и холодным. Словно бухгалтер, считает каждую калорию, контролирует каждый мой шаг и презирает тех, кто ест больше меня.

Я всегда думала, что, если похудею, стану более привлекательной, а теперь мне кажется, что всю свою привлекательность я уморила голодом... — всхлипнула она.

Фред снял свиные уши, подошел к девушке и обнял ее.

После этого случая он больше никуда не пошел, а диету бросил в тот же день.

Я двигаюсь ритмично и все быстрее. Начинают болеть колени: мои старые килограммы угробили связки. Я упираюсь в тело Фреда сильнее, чтобы снять нагрузку с коленей. Его бедра начинают дрожать. Он обхватывает мою голову обеими руками. Без устали я гоню его в гору, чувствую, как он старается достигнуть вершины.

Я открываю один глаз, слегка поворачиваю голову и скашиваю взгляд на наручные часы. Десять минут седьмого. Я вспоминаю нежное, как дыхание, прикосновение кашемира, уже тоскую по этому ощущению и женщине, которую увидела в зеркале.

На заседании группы терапевт говорит мне:

— Дайте определение пустоте в вашем теле.

— Тоска, — отвечаю я.

— Где она? — спрашивает терапевт.

— В животе.

— Какого она цвета?

— Синего.

— Точнее, — просит терапевт.

— Аквамарин. Тоска по покою. По осуществлению. По умиротворению. Тоска по тому, кто заполнит эту пустоту и превратит меня в кого-то другого.

— Очень хорошо, — кивает терапевт.

Я не тоскую по тому, что есть.

Я сбиваюсь с ритма, Фред начинает отставать, он не хочет двигаться дальше, грозит повернуть назад. Вершина отдаляется с неимоверной скоростью, мы срываемся. Его стоны стихают, плоть отстраняется от меня.

Я пытаюсь снова увлечь его, но ни один трюк не срабатывает.

Он будет теперь подавлен, захочет меня обнять, не даст мне уйти.

Он берет меня за плечи и подтягивает к себе, покрывает поцелуями мое влажное от пота лицо.

— Мне очень жаль, — бормочу я, но Фред прикрывает рукой мне рот и мягко вдавливает в подушки. Его рука в толщину, как мое бедро. В первый момент, когда он ложится сверху, мне кажется, что я сейчас задохнусь.

Теперь Фред начинает вести, и мы снова отправляемся в путь. Он задает темп, я двигаюсь следом. Он поднимается в гору без остановки, я слышу, как его дыхание учащается. У меня болят ребра, я едва могу вдохнуть глоток воздуха, но иду в ногу, даже пытаюсь ускоряться, пока он не начинает задыхаться от напряжения. Он отчаянно старается сохранить заданный темп, его плоть дрожит на мне, он прижимается плотнее, мои тазовые кости впиваются в его живот. Я напрягаю под ним свое худенькое тело, увлекаю его своими мускулами. Когда он опять грозит сдаться, шепчу, как заклинание, в ухо: давай, давай, пока он не превозмогает себя и не оживляется снова.

Его пот стекает на меня тоненькими ручейками, вершина уже маячит прямо перед нами, но мы топчемся на месте, он больше не может, пыхтит, вялое мясо предает его, он готов соскочить. Тогда я, вцепившись в спину, со всей силы заставляю его двигаться, пока он снова не набирает темп, шаг за шагом покоряя крутой склон. Еще чуть-чуть и еще — его дыхание взрывается у моего уха — всего пару метров.

— Пожалуйста, пожалуйста, — кричу я, — давай!

— Давай вместе, — стонет он, — давай же вместе.

Он обнимает крепче мое, погребенное под ним, стройное, упругое тело. Он отважно бросается дальше без меня.

Один банан — девяносто калорий, йогурт — сто пятьдесят, два хлебца — восемьдесят.

— Скажи правду, — говорит терапевт.

Боль пройдет, как и все остальное. Помни: все будет потеряно, украдено, сломано, разорвано, разбито. Тело станет дряблым и морщинистым. Каждый страдает, и каждый умрет. Час на велосипеде — двести двадцать калорий. Сон — шестьдесят. Секс — сто пятьдесят.

Очнувшись, тяжело дыша, я нахожу себя следующей, за Фредом, силюсь не отстать, он тянет меня за собой, подает руку, когда я спотыкаюсь, ждет. Наше прерывистое дыхание сливается теперь воедино, я уже не отличаю его от своего, не различаю пот, не различаю плоть. Во мне поднимается страх, зашнуровывает горло, я хочу отделиться, повернуть обратно, в одиночку сбежать с горы со всех ног, хочу вырваться, но он не отпускает, неотступно гонит меня все дальше. Мои легкие сейчас лопнут, голова взорвется, его дыхание у моего уха, словно ураган.

Мы достигаем вершины одновременно.

Перед глазами взрывается белое пятно, тело расплавляется, я покидаю его и лечу сквозь кристально-чистый, голубой, как турецкое небо, воздух.

Внизу я вижу двоих, стоящих на покрытой снегом вершине. Они смотрят вверх, женщина поднимает руку, чтобы помахать мне. Она толстая, на ней красное платье в черный горох.

— О, господи, — стонет Фред, отваливаясь в сторону. Блеклый свет из прихожей освещает его дрожащее тело, похожее на огромную скульптуру.

— Как раньше, — шепчет он мне на ухо, — как раньше...

Он называет меня любимой и намеревается положить голову мне на грудь, но я в мгновение ока скатываюсь на край кровати, встаю и, голая, выхожу из комнаты.

Когда я оказываюсь перед магазином, на часах тридцать одна минута седьмого — дверь уже закрыта. Я стучу по стеклу. Продавщица оборачивается, выражение лица недовольное.

Я машу чековой книжкой и жестикулирую.

Наконец, она открывает. Разглядывает меня с некоторым удивлением. Пуловер она уже упаковала.

Я лихорадочно заполняю чек, беру покупку, прижимаю к груди. Бумажный пакет хрустит. Продавщица провожает меня до двери.

— Вы увидите, — говорит она, — кашемир — это наркотик.

Выходя на улицу, я бросаю короткий взгляд в зеркало: волосы растрепаны, воротник пальто завернут, косметика размазана.

Сквозь темноту я бегу домой, но перед самой дверью разворачиваюсь, сажусь в свою машину и надеваю пуловер. Будто дуновение ветерка — так нежно прикасается он к моему телу. Я нахожу в карманах юбки кости своего таза и просто сижу, держась за них, вот так — в темноте, без движения.

Напротив, на третьем этаже вижу окна нашей квартиры. Огромная тень бродит по стене в спальне — чудовище с крошечной головой и громоздким телом. Он вытягивает руки, они вырастают по стене до самого потолка — свет гаснет, толстый человек мертв.

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.

ХЕЛЬГА ЛЕЕБ

Джонатан знает одного целителя

Джонатан беспокоится обо мне. Он говорит, что я нервная, уставшая, похудела. Я соглашаюсь: нервная, уставшая — да, аттестат зрелости и окончание базовой школы одновременно — это и вправду чересчур.

Джонатан строго смотрит на меня и констатирует без проблеска сочувствия:

— Я окончил и базовую, и среднюю школу без чьей-либо помощи, причем с один и шесть.

— Извини, — возражаю я, — но это я окончила со средним баллом один и шесть.

— Возможно, но в любом случае я считаю, что наши сыновья должны осилить и то, и другое без твоей помощи.

— Они это и делают, — объясняю я Джонатану. — Я же не пишу за них работы. Я только редактирую стиль и печатаю тексты на машинке. Что, между прочим, расширяет кругозор. Вот ты знал, например, что Марат страдал от зудящей сыпи по всему телу?

— Кто такой Марат? — интересуется сбитый с толку Джонатан.

— Ну как же, этот знаменитый французский герой революции!

— Ах, тот, что все время сидел в ванной?

— Ну да! А почему он сидел все время в ванной, его даже убили там? Как раз из-за этой ужасной сыпи.

— Мы не можем говорить о чем-нибудь более аппетитном? — Джонатан с отвращением отодвигает свой чай.

— Конечно, я только хотела тебе объяснить, что задание Кристиана в работе по искусству — сравнить эту страшную картину «Смерть Марата» с пышногрудой танцовщицей Дега. Поэтому мне пришлось немного позаниматься живописью начала двадцатого века, революционными трудами Марата и социальной средой танцовщиц в Париже. Ты не представляешь, какое количество источников существует.

— Ну, материалы о пышногрудых танцовщицах меня бы тоже заинтересовали, — заметил Джонатан. — На чем только ни делают сегодня выпускную работу!

— Я сама удивляюсь, — соглашаюсь я. — А Михи как раз пишет работу о негативном влиянии средств массовой информации на критическое мышление среднего потребителя. Надеюсь, мы получим хотя бы два балла.

— Чудно, что ты еще и помогаешь Михи писать на такую тему для слабоумных, — ворчит Джонатан. — Как-никак средства массовой информации, где работают его родители, обеспечивают его карманные деньги, лыжное снаряжение и все эти дорогущие колонки и усилители, которыми заставлен подвал, и которые производят чудовищный шум.

— Знаю, — отвечаю я виновато. — Но я просто не могу смириться с тем, что наши сыновья спотыкаются в немецком, как на колдобинах. Недавно Кристиан поставил первую точку после четырнадцати строчек текста, а Михи начинает каждое

второе предложение словами «а потом» и практически все пишет с маленькой буквы. Но он же, в конце концов, не Стефан Георг, а Кристиан — не Томас Манн. Я считаю своим долгом научить их кратко, но емко излагать тему.

— Может быть, тебе самой стоит хоть раз кратко, но емко изложить тему, — сухо замечает Джонатан. — Например, для твоей газеты. С финансовой точки зрения было бы очень неплохо.

Он меня не понимает. Я всегда это знала.

— Тебе правда кажется, что я постройнела? — спрашиваю я спустя несколько минут.

— Да, я же уже сказал. Ты нервная, уставшая, заметно похудела. Поэтому я и хотел предложить тебе сходить к Шнальсу-Пэрри.

В порыве я обняла Джонатана:

— Это великолепно. Знаешь, я уже подумала, что эта идиотская диета, на которой я давно сижу, и балет, и гимнастика ничего не дают, потому что каждый понедельник я вешу 60 кило, каждую пятницу — 59, а в понедельник — снова 60. Но если ты находишь, что я похудела, значит, наши весы, вероятно, сломались, и на самом деле я вешу уже, наверное, 58. Я имею в виду, конечно, в пятницу. Кстати, а кто такой Шнальс-Пэрри?

— Ты не знаешь его? Шнальса-Пэрри знает каждый в этом городе, — говорит Джонатан. — Он натуротерапевт, все, кто хотя бы раз у него побывали, молятся на него. Он смотрит в глаза и видит твои проблемы, прописывает какие-то капли, снова приводящие весь организм и психику в порядок. Как говорится, в состояние абсолютной гармонии. Три недели назад мы сделали о нем шикарный репортаж. Твоя подруга Тамара тоже к нему ходит.

— Я, собственно говоря, вполне довольна своим организмом и психикой тоже, — вставляю я. — Не помню, когда я вообще болела в последний раз. А с тех пор, как закончила редактировать и печатать реферат Кристиана о Вирджинии Вулф и французский перевод Михи, я снова чувствую себя — совершенно уверена — абсолютно гармонично.

— Я думаю, ты должна сходить к Шнальсу-Пэрри, — протестует Джонатан.

— Хорошо, — отвечаю я, — если ты так считаешь.

Кабинет Шнальса-Пэрри находится в квартале элегантных вилл. Меня принимает молодой ассистент. Он тактично не интересуется, почему я здесь, а сразу усаживает на табурет перед черным аппаратом, просит положить подбородок на подставку и смотреть в специально предусмотренные окошки.

Сам он садится с другой стороны и оттуда смотрит мне в глаза. Очевидно, он что-то видит, я — нет.

— Ага, — бормочет он спустя некоторое время, — интересно, — потом: — Ну, кое-что.

Попутно делает некоторые пометки.

— Что же вы видите? — спрашиваю я, заинтригованная. — Что-то плохое?

— Господин Шнальс-Пэрри объяснит вам все сам, — отвечает ассистент.

Дверь открывается и в комнату входит Шнальс-Пэрри, высокий, стройный, вызывающий доверие.

— Слава богу, господин доктор, — восклицаю я непроизвольно при виде белого халата, хотя знаю, что он никакой не врач.

Может быть, утешаю себя, он доктор философии или экономики, для целителя это не играет никакой роли.

— Я пришла к вам потому, что... — начинаю я.

— Сейчас все увидим, — перебивает Шнальс-Пэрри по-отечески и усаживает меня обратно на табурет.

Я снова водружаю подбородок на подставку и смотрю в отверстия. Лекарь смотрит с другой стороны.

— Я хотела вам только рассказать о своих проблемах, в том смысле, что у меня нет никаких проблем, — попыталась я еще раз.

Шнальс-Пэрри отмахивается и погружается в молчание. Вдруг спрашивает:

— Какой у вас знак зодиака?

— Козерог, — отвечаю я, — с асцендентом во льве, — добавляю быстро.

Я так всегда говорю, потому что козерог — это строгий, холодный, неконтактный характер, а лев наоборот — щедрый, уверенный в себе, аристократичный.

— Хм, — бросает Шнальс-Пэрри, — я так и подумал. Абсолютно типично.

Он снова смотрит в мои глаза, я — в его. Тишина. (Мне бы, конечно, хотелось знать: типично для козерога, или типично для льва, — но я не отваживаюсь спросить.)

Шнальс-Пэрри вдруг вскрикивает:

— Ужасно, эти мигренеподобные головные боли!

— Как жаль, — говорю я, — часто у вас бывают?

— Не у меня, — серьезно возражает он. — У вас! Вы часто страдаете сильными мигренеподобными головными болями.

— Я? — переспрашиваю. — Нет, у меня не бывает головных болей, а уж тем более мигренеподобных. Я отношусь к тем людям — и им можно позавидовать, — у которых практически никогда не болит голова. Нет, ну бывало, конечно. Довольно давно, если на какой-нибудь вечеринке увлекалась смешиванием спиртных напитков, а наутро еще поднимался фён, тогда да, конечно, у меня болела голова. Но в последние пять лет ничего подобного не случалось. С возрастом люди становятся благоразумнее. К сожалению, — я пытаюсь изобразить улыбку, которая тут же умирает.

Шнальс-Пэрри мрачнеет. Я опять концентрирую взгляд, он смотрит в мои глаза.

— Н-да, — дает, наконец, о себе знать. — Вы заядлая курильщица. А заядлые курильщики часто склонны к мигренеподобным головным болям.

Я чувствую себя слегка неуверенно. Он что, не услышал, что у меня нет никаких головных болей? Странно. Во всяком случае, нельзя же промолчать, что я не курю. И я говорю:

— Я не курю.

— Правда? Но раньше вы много курили.

— Нет, — выдавливаю я и чувствую, что краснею, хотя мне нечего стыдиться. — Нет, я не курила никогда. Ну, максимум одну-две сигареты в год — побаловаться.

Слышно, как Шнальс-Пэрри набирает в легкие воздух.

— Это определенно потому, что в доме моих родителей никто не курил, и никогда не валялись сигареты, — объясняю извиняющимся тоном. — К сожалению, в случае с моими сыновьями влияние родительского гнезда не сработало. Старший дымит, как паровоз.

Я слышу, как мой голос становится неуверенным и затихает. Шнальс-Пэрри смотрит в мои глаза, я — в его.

— Вам нужно проверить зубы на предмет скрытых гнойных очагов, — рекомендует он спустя некоторое время. — Такие очаги довольно опасны.

Я сообщаю ему, что дважды в год посещаю самого дотошного стоматолога Мюнхена, который тратит столько времени на каждый зуб своего пациента, что, например, мой муж Джонатан просто не выдерживает у него лечиться, потому что он, как овен с асцендентом в овне, очень нетерпелив.

— Если у меня появится воспалительный очаг, он сразу же будет обнаружен и устранен, — категорично заявляю я Шнальсу-Пэрри. — В конце концов, речь идет о репутации самого дотошного врача Мюнхена.

Шнальс-Пэрри молчит. Смотрит. Затем сообщает, что малейшее мое волнение сейчас же сказывается на желудке, и что мои застарелые боли, конечно, очень неприятны.

Теперь у меня есть выбор. Либо я соглашаюсь с болями, которых у меня нет, либо мой статус пациентки упадет ниже плинтуса.

— Чем вы лечите желудочные боли? — спрашивает Шнальс-Пэрри строго.

— Ничем, вообще ничем, у меня не бывает желудочных болей, — заикаюсь я. — Более того, в семье считается, что у меня железный желудок. Знаете, я могу проглотить фунт незрелой смородины, запить двумя стаканами ледяной воды или съесть жир, который все члены семьи срезали с мяса...

Шнальс-Пэрри прерывает меня:

— Я не это имею в виду. Как реагирует ваш желудок на душевные проблемы?

— Никак, — признаюсь я и снова испытываю чувство стыда. — Во всяком случае, я никогда ничего такого не замечала.

— Невероятно, — говорит Шнальс-Пэрри, его усики подрагивают, не знаю — то ли от негодования, то ли от разочарования.

Я отчетливо понимаю, что ситуация постепенно становится невыносимой, отчаянно копаюсь в памяти в поисках средства разрядки напряженности. Наконец, мне кое-что приходит в голову:

— Три года назад я сидела на экспресс-диете, которую рекомендовал «Взгляд женщины», — рассказываю я Шнальсу-Пэрри. — В первый день я съела девять крутых яиц, на следующий — девять венских сарделек, а на третий — девять бананов. После восьмого у меня жутко заболел желудок, настоящие спазмы. Мне было так плохо, что я дотащилась до телефона и вызвала скорую. Врач дал мне спазмолитик и посоветовал написать во «Взгляд женщины» письмо. Жаль, что я забыла.

Шнальс-Пэрри не успокаивается. В скоростном режиме он выносит уничтожающие приговоры моей селезенке, поджелудочной, почкам и печени, притом, что терапевт, у которого я недавно была, при общем обследовании установил безупречные показатели последней.

Я восстаю снова по поводу метеоризма:

— Нет, — говорю твердо. — У меня нет метеоризма.

Тут уж ему нечего волноваться. Если бы что-то было, то было бы на самом деле мучительно: вот у нашей собаки, боксера, бывает, особенно по вечерам, когда он лежит в гостиной у хозяйских ног. Так что знаю, что это такое, и с чистой совестью утверждаю, что ничем таким не страдаю.

Становится ясно, что доверительные отношения между мной и Шнальсом-Пэрри балансируют на лезвии ножа. Поэтому я покорно принимаю онемение рук и ног, мучающие меня по утрам. Может, оно так и есть, просто я не замечала, потому что с таким трудом рано просыпаюсь.

С другой стороны, я все время жду, что Шнальс-Пэрри при помощи иридодиагностики обнаружит хотя бы пару драматических операций, с помощью которых меня несколько раз вытаскивала с того света обычная традиционная медицина. Не то чтобы все эти кесаревы сечения, остановки дыхания и другие технические неполадки моего организма еще каким-либо образом сказываются — это нет, но то, что они не оставили никакого следа на моей радужке, меня удивляет.

Наконец, Шнальс-Пэрри участливо заявляет, что если в моем возрасте не слушаются ноги, то это трагично.

Я отвечаю, что каждую неделю занимаюсь джазовой гимнастикой и классическим балетом, а три недели назад съехала с северного склона Лагальба.

— Вы его, конечно, знаете — сумасшедший, крутой, со множеством ухабов — напротив гостиницы в Понтрезине.

— Конечно, я знаю этот склон, но сам еще на него ни разу не отваживался.

— Прекрасно понимаю, — возражаю я. — Это ужасно трудный лыжный спуск. Но в третий раз мне уже было не боязно. Только мышцы болели.

Шнальс-Пэрри поднимается и холодно спрашивает:

— Зачем вы, собственно говоря, сюда пришли?

— Я хотела вам объяснить в самом начале, — говорю я. — Мой муж считает, что я нервная, уставшая и похудела. Сама-то я думаю, что когда базовая школа и аттестат зрелости будут позади, мне снова станет лучше.

— В регистрационном формуляре записано, что вы журналистка, — замечает Шнальс-Пэрри строго.

Дает мне рецепт:

— Закажите это в гомеопатической аптеке за углом и откажитесь в ближайшие полгода от мяса, масла, белого хлеба, апельсинов, кофе, алкоголя, риса, салата, птицы, рыбы и сыра. Все ваши недуги отступят.

— Какие недуги? — спрашиваю я.

Капли, которые мне прописал Шнальс-Пэрри, были очень дорогие и отвратительные на вкус. Я их отставила. А вот остальные его советы оправдали себя великолепно. Благодаря тому, что мне нельзя было есть ничего, что я так люблю, уже через четыре недели у меня был вес мечты. Джонатан считает, что я ужасно тощая, и у меня круги под глазами, что делает меня очень таинственной и сексуальной. Я поцеловала его и сказала, что этим мы обязаны Шнальсу-Пэрри.

Две недели спустя, после того, как Кристиан без проблем получил аттестат зрелости, а Михи сдал экзамены за базовую школу, Джонатан встретил Шнальса-Пэрри на одном приеме.

— Что он сказал? — поинтересовалась я.

— Он спросил, как у тебя дела, — прокричал в ответ Джонатан — музыкальная тема в сериале «Династия» действительно очень громкая.

— И что ты ответил? — крикнула я в ответ.

— Что у тебя все замечательно. Он очень удивился и сказал: «Я не мог, к сожалению, помочь вашей жене, потому что она мне не доверяет».

Соболь соскальзывает с плеч Алексис, она шипит своему бывшему мужу Джону Кэррингтону, что уничтожит его.

— Кроме того, Шнальс-Пэрри сказал, что ты ему постоянно возражала, — быстро добавил Джонатан, пока бедный старый Кэррингтон в ужасе искал, чем бы запустить в голову этой бестии Алексис.

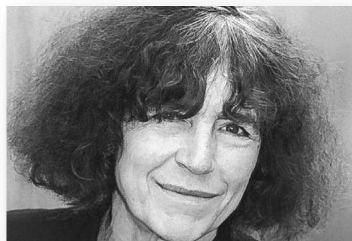
— Но, Джонатан, я же тебе рассказывала, что он выискал в моих глазах. Ничего, вообще ничего, что соответствовало бы действительности. Мигрени и желудочные боли, гнойные очаги и метеоризм, задетая печень и отказывающие ноги, онемение пальцев и к тому же злоупотребление табаком. Это просто смешно.

— Да, возможно, — ответил Джонатан примирительно. — Но то, что ты любишь возражать — это действительно факт. Я-то уже привык, но другие люди чувствуют себя при этом неуверенно.

А потом еще добавил:

— Думаю, надо сходить к Шнальсу-Пэрри. Ты же знаешь, я все никак не справлюсь со своей затянувшейся простудой.

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.



ГАБРИЭЛА ВОМАН

Окна моют поперек

Им повезло: заняли столик у вентилятора. Правда, еще не проглотили ни кусочка, как стало ясно, что это не спасает. Несколько недель стояла жара — почти весь июль. Отрывая листки календаря, Марвин уверовал, что стоит только освободить место августу, как погода переменится. Однако сегодня уже пятое, но все по-прежнему. Над Атлантикой завис циклон, и метеорологи прогнозировали максимальную температуру до сорока градусов.

— Ты, конечно, встречал таких типов. На все один ответ: «Ну и что?» — сказал Марвин. — В разговоре с ее отцом я только коснулся темы озоновых дыр и изменения климата, как уже через пять минут понял, кто передо мной. Как типичный представитель партии «Ну и что» он тут же спросил: «Ну и что?» — Марвин вздохнул и промокнул салфеткой влажную переносицу под очками. Сегодня можно даже не есть: достаточно только глянуть на тарелку, как калории уже задают жару.

— Ну и что? — ответил сидящий напротив Хельвиг, тут же поспешно извинился и добавил, словно оправдываясь: — Чем больше ты драматизируешь обстоятельства, тем сильнее они тебе докучают. Марвин, ты презираешь этих ну-и-что-типов, потому что подсознательно им завидуешь.

Они сидели в зале для некурящих из-за Марвина, который решил, что не хочет курить сейчас, лучше потом, наверху, в монтажной. И теперь пожалел. Хельвиг же отмахнулся: старая пластинка. Сегодня ему было просто лень заверять друга ради его удовольствия, что курильщики на самом деле более приятные люди.

Во всяком случае, они позволили себе в виде исключения нормальное, небезалкогольное пиво: после обеда у обоих оставалось совсем немного работы. Марвин должен был проконтролировать монтаж только что отснятого рекламного ролика о специальных программах креативного отпуска. При этом истинная цель его присутствия заключалась в том, чтобы произвести впечатление компетентного человека. Он знал, что это вряд ли удастся. Маленькие проворные кисти Додо, опытного монтажера, стремительно сновали над клавишами, рычагами и выключателями, зачаровывая наблюдателя. А редакция Хельвига была совсем недавно распущена из-за стремительного падения рейтинга культурных программ. Его перевели в музыкальный отдел, но на новом месте пока ничем не заняли.

— И что дальше? Как они живут? — спросил Хельвиг. За стойкой самообслуживания он выбрал «блюдо дня номер два». Теперь методично давил вилкой первую из двух кенигсбергских тефтелек в сомнительной жиже, напоминающей ванильный соус в голодные времена, и ловко просовывал серо-коричневое месиво в узкую щель посреди обильной курчавой растительности на лице.

— Вкус нуворишей при отсутствии достаточных средств. До роскоши не дотягивают, но обстановка добротная, мещанская, так сказать, престижная, — ответил Марвин.

Он взял «блюдо номер три» — яичницу с сезонными овощами. Овощи были консервированными, а на морковь и горошек сезон круглый год. Марвин

любил повозить хлебом в полужидком яичном желтке, но сегодня он был пережарен.

— Да уж, звучит мрачно. Впрочем, ее семья не обязана быть в твоем вкусе, главное, чтобы она сама тебе нравилась.

Теперь Хельвиг разминал кусочки тефтелек в картофельном пюре и отправлял их в маленькое розовое отверстие рта. Растительность на его лице напоминала Марвину густые кустики бонсай.

Хельвигу было интересно, не нервничает ли друг, как он сам в свое время — при знакомстве с родителями Роми. К тому времени они жили вместе уже пять лет, их сыну было столько же, но это не означало автоматически, что они должны оформить свои отношения официально.

— Едва я увидел главу семейства, как перестал существовать, — сказал Марвин. — В известной степени ты замечаешь с первого взгляда чье-либо превосходство, чувствуешь харизму. Этот же из кожи вон лезет, пускает в ход любые средства, строит из себя шута, но меня не проведешь: сразу понял — потуги ничтожества.

— Ну, и в такой ситуации все равно нужно пытаться наладить контакт, постараться нащупать какие-то скрытые клавиши, чтобы ты импонировал собеседнику.

Хельвиг был прав. Этот старый хрыч со своими амбициями не так уж безобиден. Таким нужно подыгрывать: смеяться над его анекдотами, имитируя спазм мимических мышц, потом пересказывать их в его собственной манере — только не переигрывать! — ни в коем случае не противоречить, а только поддакивать и быть постоянно начеку, чтобы нигде не промахнуться — в общем, полностью отказаться от собственного «я».

— Привет! Ну как сегодня — съедобно? — Додо приземлила свой поднос рядом с Марвином. Ее меню составляли пара йогуртов, салат из пророщенных зерен и низкокалорийная кола.

— Типичный женский обед, — с иронией заметил Марвин.

— Типичное мужское заблуждение! — от души рассмеялась Додо. — Всего лишь стрессовая диета. Нужно срочно сбросить три кило — до отпуска осталось меньше месяца. Хорошо, что я примерила заранее свой купальник. Честно говоря, вообще не собиралась сегодня обедать, но взялась за твой ролик, Марвин, — о курсах по изготовлению изысканных сладостей — и от вида всех этих лакомств так разыгрался аппетит... В конце концов не выдержала: кажется, еще немного, и начнешь толстеть от одного лицезрения шоколадного великолепия. Уж лучше съесть салат.

— Что же там делают? — поинтересовался Хельвиг.

Додо со смаком описала шоколадные конфеты с миндалем и курагой, трюфели с коньяком, засахаренные орешки и нежные тортики, которые может научиться делать любой желающий в свободное время, в отпуске, чтобы приобщиться к кондитерскому искусству.

— И что же тут творческого? — спросил Хельвиг.

— Сам процесс, разумеется, производство. Практиканты изготавливают все сами, работают со множеством приспособлений — там потрясающее профессиональное оборудование! — Додо разделалась с последним обезжиренным йогуртом. — Да, Марвин, расскажи, как вчера прошел вечер у твоей Туснельды? Как тебе ее родители?

Марвин добродушно воспринял дружеское подтрунивание Додо: его Туснельду на самом деле звали Хульда. Это имя он тоже считал, мягко говоря, странным, не таким вычурным, как Туснельда, конечно, но каким-то дестабилизирующим. Впрочем, это было до того, как он познакомился с его обладательницей, которой оно невероятным образом подходило.

Хельвиг в двух словах и без эмоций пересказал все, что успел услышать от друга. Додо выслушала с живым интересом, уточнив, о той ли самой девушке идет речь.

— Ну, естественно! — ответил Марвин раздраженно. — Такой раритет как Хульда не может быть бабочкой-однодневкой.

— Она учится на юридическом? — Додо ковырялась вилкой в салате, который, по всей видимости, не стал вкуснее после очередного подсаливания и сдабривания приправами.

— Да, уже заканчивает. Последние контрольные, зачеты, зубрежка.

Марвин гордился своей подругой. Для него было непостижимо, как столько сухой и сложной информации помещается в этой маленькой прелестной головке с копной шикарных вьющихся легкой волной волос цвета красного вина, цвета обивки кресел в старомодном оперном театре. Внезапно в памяти всплыла каштановая стрижка матери Хульды, скромная, без претензий, как она время от времени машинально заправляет не совсем свежие пряди за уши, то за левое, то за правое. Было заметно, как сильно она нервничает. Конечно, она выглядела старше дочери, хотя и не на столько, на сколько должна как мать, но в то же время производила впечатление такой юной, робкой, застенчивой, казалась такой неопытной.

— Смотри-ка, он так ею увлекся, что даже забыл о еде. Пожалуй, нужно сменить тему! — подмигнув, улыбнулась Додо. — И все-таки, что за люди ее родители, ее отец — помимо того, что он остряк-самоучка? Лично я ничего не имею против шутников. Пусть уж лучше скоморох, чем брюзга.

— Он только строит из себя весельчака. — Марвин начал перебирать в памяти собственный опыт вынужденного общения с отцами девушек. Из всего, так сказать, ассортимента наиболее симпатичными были молчаливые. Вот, например, папаша Верены, бензозаправщик — рта не раскрывал за весь вечер! Но как умен на самом деле: сразу понял, что из этих совместных воскресных вылазок на стадион, когда играет его любимый клуб, ничего путного не выйдет.

— Наверху появились места — народ рассосался, — сказала Додо, имея в виду кондиционированный зал столовой для некурящих. — Хельвиг, ты не начал снова курить?

В ответ тот отрицательно покачал головой. Выражение части его лица, которая была способна выражать, — свободной от растительности — было страдальческим, и Марвин мог дать голову на отсечение, что его друг в этот момент думает о своей Роми: если и не без любви, то, во всяком случае, с примесью рабской тоски. Что ни говори: семейная жизнь дарит много радостей, но свобода не относится к ее преимуществам.

— Ну-ка, выдай нам свою любимую поговорку по этому поводу! — попытался Марвин взбодрить товарища, но тот только хмуро пожал плечами, словно не знает, о чем речь. — Курильщики все-таки более приятные люди! Так считает Хельвиг, и я с ним согласен. Мы оба страдаем от нетерпимости окружающих. Ты как?

Додо придерживалась такой же точки зрения. Правда, в этот момент ее гораздо больше волновал тот факт, что желудок обмануть не удалось. Предложила выпить по чашке кофе. В принципе, собиралась это сделать в монтажной, но еще оставалось время.

— Какие у них отношения? Гордится папа дочкой? — продолжила тему Додо за кофе. — Ревнует ее к тебе? — расспрашивала и выведывала по-женски.

Марвин же, как, впрочем, и Хельвиг, наоборот: сдержанный, как настоящий мужчина, какой-то уставший, сидел, словно у него затекли ноги или

онемели пальцы, и действительно потирал узкие, покрытые волосками фаланги, как будто хотел оживить кровообращение.

— Надеюсь, что гордится. Возможно, и ревнует. Но не ко мне. По сравнению с ним, отцом, она уже достигла таких высот.

Подобные ситуации случаются. Додо рассказала историю своей приятельницы, которая сделала недурную карьеру в качестве бизнес-консультанта, но отец ни во что ее не ставит. Сам он судебный исполнитель, всю жизнь потратил на то, чтобы наводить ужас на людей. А матери, которые хвастаются своими дочерьми на каждом углу, но в душе не могут пережить того, что они моложе и выглядят лучше. Почему такие становятся родителями?

— Потому что это условие всей игры под названием «создание семьи», — ляпнул Марвин, не подумав о сыне Хельвига, пятилетнем Томасе Тобиасе, и, спохватившись, добавил: — Не имею в виду присутствующих...

Все-таки Хельвиг был другом и кроме того выглядел довольно стоически: пикнического телосложения и при этом под два метра ростом.

— Если из Тото выйдет что-то стоящее, и я, и Роми будем только рады, ну а нет — так нет, — спокойно сказал Хельвиг.

Свой запас тщеславия они с женой использовали при наречении желанного ребенка, который, по всей видимости, должен был остаться единственным, как часто бывает, когда оба родителя успешны в профессии. Впрочем, довольно скоро стало ясно, что произносить на каждом шагу красивое, но длинное двойное имя мальчика церемонно и просто неудобно. Таким образом, оно вскоре сократилось до Том-Тоб, а потом и вовсе превратилось в удобное Тото, которое, однако, никому из супругов не нравилось.

Тем временем Додо после очередного глотка кофе изображала какую-то непонятную пантомиму. Объяснила, что мысленно наслаждается лакомствами, к картинам которых ей придется вернуться сейчас за рабочим столом.

— Я думаю, Хульда в любом случае добьется в жизни большего, чем ее отец. Он это чувствует и не может переварить. С другой стороны, он в нее влюблен.

— Фрейдовские комплексы. По крайней мере, что-то человеческое, — Додо повернулась к Хельвигу. — Будь бдителен, а то Роми однажды тоже заварит кашу с вашим Тото.

— Какую кашу? Послушай, Додо...

— Не волнуйся, я имею в виду всего лишь сумасшедшую материнскую любовь, любовь, которая опутывает, не дает дышать. Матери с трудом отпускают от себя повзрослевших сыновей. А отдать его другой женщине — и вовсе трагедия. Все так же, как и у отцов с дочерьми, — Додо вздохнула. — Слава богу, мне в этом смысле повезло с родителями.

— Я тоже не сталкивался с подобными проблемами, — сказал Марвин, вспомнив при этом, что нужно срочно позвонить родителям — столько раз уже собирался.

Да и навестить давно пора, хотя они, конечно, никогда не попрекнут, не пожалуются, что он слишком редко объявляется, рады любой весточке. И так же было всегда с остальными его братьями и сестрами. Эти мысли вызвали ощущение собственного великодушия. Как будто в этот момент он сделал для матери и отца что-то по-настоящему хорошее, подарок, почти такой же ценный, как визит, — или даже более ценный? Благоговейное почитание идеальных родителей укрепило его чувство превосходства над товарищами по столу: конечно, у них обоих тоже все в порядке, но вряд ли их предки настолько нетребовательны и самодостаточны.

— Папаша Хульды утверждает, что в своей строительной фирме просто незаменим. Не знаю точно, чем он там занимается. Договора, кажется, какие-то заключает... Честно говоря, я немного расслабился и порой пропускал мимо ушей его разглагольствования. Человек, демонстративно довольный жизнью, внушает подозрения. Хульда, скорее всего, пойдет в аспирантуру. Этот путь уж точно закрыт для отца, но покоя не дает. Поэтому тот и посмеивается над дочерью. Ему доставляет удовольствие называть адвокатов крючкотворами.

Хельвиг и Додо слушали с живым участием, смеялись, поэтому Марвин поддал еще газу, вошел в раж, передразнивая манеру папаши говорить: «Иметь дома свою крючкотворшу никогда не помешает. Мало ли что. Один лишний промилле на обратном пути с вечеринки, как недавно, помнишь, Анна? Слава богу, обошлось, но мы были на волосок от аварии». Марвин снова вспомнил маму Хульды. Имя «Анна» ей шло, подчеркивало скромность, как-то молодило. На террасе она сидела напротив, робко, но дружелюбно улыбалась, неловко и смущенно — вероятно, каждое слово мужа было для нее мучительным. А тот и над своей женой подшучивал при всяком удобном и неудобном случае, высмеивал любой поступок. Она принесет напитки — он рассматривает стакан на свет и качает головой с таким видом, словно производит тест на содержание яда. Оказывается, что стакан не достаточно чист, и это объявляется при всех вслух!

— Уф-ф! Просто изверг! Ребята, мне, к сожалению, уже пора, — сказала Додо, вставая из-за стола. — Чао. Марвин, ты можешь не спешить — не сразу мне понадобишься. Еще какое-то время продолжу со всеми этими марципанами, а потом на очереди «Креативное выдалбливание мрамора». Да?

У двери обернулась, еще раз кивнула мужчинам — миниатюрная очаровательная женщина, и Марвин спросил себя, почему находил ее сексуальной только за монтажным столом?

— Она просто сокровище, — в устах обычно сдержанного Хельвига такая оценка звучала как выражение максимальной симпатии. Возможно, он, как и сам Марвин в некоторой степени, сознает нечто, похожее на чувство вины: Додо, старый, добрый дружище, привлекательная и достойная любви женщина, но странным образом возбуждает мужской интерес лишь когда чертовски ловко управляется с кинопленкой и компьютером в сумерках мотажной — в момент полной рабочей концентрации.

— Ты не знаешь, есть ли у нее серьезные отношения с кем-нибудь? — спросил Марвин.

Хельвиг не знал. Оба вдруг потеряли интерес к теме, словно выполнили некое обязательство перед Додо. Разговор перескочил на других коллег, в частности, на одного неприятного редактора. Теперь Марвин закурил, а Хельвиг сидел мрачный — наверное, размышлял о своей ампутированной свободе. Недавно он признался так же неожиданно, как вырвалось «сокровище» в адрес Додо, что этим летом ему то и дело хочется затянуться сигаретой или трубкой. Марвин, как настоящий друг, не удержался от подлой издевки:

— Что, если бы не было Роми, стрельнул бы у меня сейчас одну?

— Стрельнул бы, — согласился Хельвиг. — Но Роми есть, — вдруг показалось, что его лицо — одна сплошная борода, и угрюмо добавил: — И я этому очень рад.

— Ну естественно, что такое одна сигарета против Роми и Томаса Тобиаса.

— Естественно.

— Все растворяется в воздухе, — Марвин ухмыльнулся и, запрокинув голову, выпустил вверх клуб дыма, — только Роми и Тото из крови и плоти прочно занимают свое место.

Ему доставляло явное удовольствие подзуживать приятеля, который уже был готов отомстить, но в голову Хельвига не пришло ничего, кроме безобидного вопроса, не собирается ли Марвин жениться на своей великолепной подруге.

— Ты, как все женатые, — тот продолжал дразнить друга, — только и мечтаешь, чтобы каждый холостяк, которому на самом деле завидуешь, поскорее влез бы в это ярмо и разделил твою участь. Своим вопросом ты напомнил мне ее отца. Для меня это было всего лишь приглашение на ужин.

Сказанное на самом деле не совсем соответствовало правде: в семье он появился в качестве кандидата и, честно говоря, не без удовольствия.

— Но этот амбициозный клоун, ее папаша, определенно уверен, что у меня свадебные планы, хотя я, понятное дело, далеко не первый человек в брюках, которого Хульда приводит домой.

— Первый человек в брюках, — Хельвиг покачал головой. — Женщины тоже носят брюки.

— Не придирайся к словам. Правда, в некотором роде я действительно первый мужчина. Ты не поверишь, в каких едва половозрелых юнцов влюблялась Хульда до меня. Я подозреваю, что она просто испытывала естественную женскую потребность быть с кем-то, быть чьей-то, ну ты понимаешь. У этих парней еще молоко на губах не обсохло, инфантильные эгоисты. Стоило Хульде попытаться поделиться своими проблемами, как они тут же начинали отступление. Да уж, ее отец определенно вздохнул с облегчением: наконец дочка представила семье нормального взрослого мужчину.

Приятели отправились по рабочим местам. Хельвиг покинул лифт на третьем этаже: со стороны затылка растительность на его голове была еще более буйной — не вмешивалось лицо. Марвин вышел на пятом и проследовал по длинному коридору мимо закоулков и ответвлений в темное царство Додо, которая со своей профессиональной сноровкой уже разделалась со скульпторами-самоучками и перешла к любителям пантомимы. Марвину показалось, что в ее дружелюбной улыбке сквозила некая снисходительность, определенная доля иронии. Скорее всего, она предпочла бы и дальше работать одна: без посторонней помощи дело продвигалось бойче. Чтобы хоть как-то утвердить собственную компетентность и сопричастность к делу, Марвин сказал:

— Ну что, теперь остается только курс изучения Евангелия.

— Золотце, он был перед сладкими деликатесами, — мягко поправила Додо.

Ее белые пальчики с острыми ноготками снова принялись за работу: теперь их хозяйка была по-настоящему привлекательна и сексуальна.

Марвин просидел минут сорок пять рядом с Додо перед экранами мониторов, составленных вместе, как старомодное трехстворчатое зеркало. На каждом — свое изображение, и монтажер, держа в поле зрения все одновременно, манипулирует ими. Симулируя знание дела, Марвин несколько раз выдавал комментарии: как режиссер он имел представление, каким должен быть фильм. Наконец он решил, что достаточно продемонстрировал усердие и выполнил свои обязательства, не избавившись при этом от унизительного чувства выглядеть в глазах Додо абсолютно бесполезным. Она, конечно, сокровище и своя в доску, но, сама того не желая, уже пару раз наступала ему на ту же самую мозоль при подобных обстоятельствах условно-совместной работы. Подобравшись к завершающей стадии, Додо по-дружески и как бы невзначай предлагала завтра не приходить, — мол, она справится сама. Но Марвин бывал здесь с удовольствием, разве что за исключением моментов, когда Додо погружалась с головой в какую-нибудь каверзную проблему, и он сидел совсем уж ненужный,

неуместный. Вообще же чувствовал себя в сумеречной монтажной уютно, словно в укрытии. Хозяйка тем не менее настаивала тихим монотонным голосом: «Я думаю, ты мне больше не понадобишься...» Сейчас Марвин инстинктивно стремился предупредить неприятность, опередить Додо и улизнуть, сославшись, например, на необходимость заглянуть к старому оператору Эду Дюбену. С помощью некоторых уловок Эд поднялся на должность редактора, но, несмотря на это, старался не терять старые дружеские связи. Правда, Марвин и Хельвиг сошлись во мнении, что старых друзей у оператора Дюбена никогда и не было.

Марвин услышал свой собственный голос, записанный на пленку: «Шорох, дыхание, смех, плач, гнев переводятся на язык мимики и жеста — объясняет мастер пантомимы из Франции». Простонал: «Кошмар!» — и выскочил за дверь. Он действительно намеревался заглянуть к Дюбену, чтобы лишний раз напомнить о своем существовании: на очереди, как обычно, не было никакого нового определенного проекта, а соответственно, и уверенности в завтрашнем дне. После прохладного полумрака монтажной с кондиционером воздух, жаркий на улице, здесь, в коридоре, застоялся и уплотнился, напоминая теплый густой жирный суп, и вызывал дурноту. Марвин почувствовал себя в этот момент не в состоянии встретиться с седой бородкой, обрамляющей полумесяцем операторский подбородок. Он имел определенные ассоциации с растительностью на лице и предпочитал провинциальный, строгий и естественный, короткий и густой кустарник Хельвига, по которому он уже успел соскучиться. И вдруг обнаружил его вместе с хозяином в маленьком кафетерии. Тот тоже уединился, страдая от собственной неприкаянности, вероятно, еще сильнее. А ведь казался всегда упрямым, вернее сказать, стойким — умел держать удар. Хельвиг в музыкальном отделе! Это уже не просто никчемное отсиживание с периодическими отлучками для смены интерьера, не необходимость играть роль сопричастности с какой-то определенной целью, когда знаешь, что должно быть сделано, но дело двигается прекрасно и без тебя. Это ощущение собственной нежелательности, себя как мешающего, инородного тела.

— Эспрессо?

— Эспрессо.

Немного спустя они заказали еще по капуччино, который, в свою очередь, сменила виноградная водка. Хельвиг рассказал, что разговаривал по телефону с женой. Тото, полностью снаряженный минимум для трех видов спорта, отказался идти в футбольную секцию, как, впрочем, раньше в волейбольную, утверждая, что он домосед. Зато играя «Аве Мария» на клавишных, он делает все меньше ошибок. А Роми оставила в супермаркете свое портмоне, но в конце концов, хотя и не без некоторой нервотрепки, чудесным образом — подарок небес! — благодаря людской честности все-таки нашла. Правда, после всей этой истории она как выжатый лимон, поэтому вместо обещанного на ужин жаркого будет что-то холодное. Пожалуй, это даже лучше: кому охота в такое пекло есть горячее жареное мясо. Несмотря на разумность довода, Хельвиг как обычно, когда заходила речь о его семейной жизни, производил жалкое впечатление. За рюмкой граппы он зашел в своих откровениях так далеко, что капитулировал, давая совет другу:

— Не спеши. Получай удовольствие от своей Хульды, пока она просто Хульда. Не попадайся на удочку ее папаши. У него свой интерес, у тебя — свой.

— Знаешь, как он ко мне подъехал в самом начале? — ухмыльнулся Марвин.

— Ну? Выкладывай!

— Так вот. Едва расположились на террасе — восемь часов вечера, но все равно душно, воздух спертый, словно папаша тут целый день упражнялся в остроумии, как культурист качающий мышцы в тренажерном зале, — итак, сижу в этой умопомрачительной атмосфере в еще более умопомрачительном огромном кресле с подставкой для ног, но ставить их туда не собираюсь. Представь себе: ты совершенно не знаешь своего собеседника, пять минут назад первый раз в жизни подал ему руку, не станешь ведь возлежать перед ним в позе римского патриция, как отпускник на пляже, — это абсурдно.

— А он что, лег?

— Да нет! Он уселся прямо передо мной на такого же мебельного монстра, любопытный, наготове, тут же заверил, хотя его никто не спрашивал, что не имеет никаких предрассудков... Мою прекрасную Хульду, конечно, как корова языком слизала, похоже, в ее глазах встреча тоже выглядела сватовством, хотя вполне вероятно, что она исчезла, потому что знает наизусть все эти отцовские глупые остроты, стесняется их и не желает наблюдать произведенный ими эффект. Время от времени, правда, заглядывала мать...

Марвин вспомнил Анну, которая то и дело неслышно заходила без видимой причины. Она ничего не приносила и не убирала со стола, на котором стояли пара бутылок, графин с холодным чаем и стаканы, появлялась с неизменной улыбкой и отпечатком смущения и легкой нервозности на худом лице, как будто это она, а не Марвин, была тут впервые в гостях. И этот намек на ее чужеродность чувствовался в течение вечера все сильнее, странным образом одновременно удовлетворяя и возмущая: вызывало злорадство, что ей здесь неловко, но, с другой стороны, печально быть неуместной в собственном доме, постоянно терпеть мелочные претензии и придирки мужа, который принимает в штыки все, исходящее от нее. Так, во всяком случае, казалось Марвину.

Между тем Хельвиг уже во второй раз поинтересовался, что хотел сказать отец Хульды, утверждая, будто не обладает никакими предрассудками. Как правило, люди, которые хвастаются во всеуслышание подобными вещами, на самом деле выдают желаемое за действительное и обнаруживают такими заявлениями, что, наоборот, имеют массу предрассудков. У кого их нет, не станет с порога о них говорить.

— Это точно! — но Марвин был не готов перейти к этой теме, пока не высказал все свои впечатления о матери и ее странной роли в собственном семействе.

Вздыхая, хотя и без особой печали, Хульда довольно часто жаловалась на домашние проблемы. И Марвин уже через несколько минут общения с хозяином — настоящим главой семьи — понял, как не только физически, но и духовно далека его подруга от этой среды. Тогда он еще не успел увидеть мать — это заколдованное создание, золушку по имени Анна. Но и когда истинное положение вещей прояснилось, Марвин не посочувствовал Хульде: она ведь здесь не прикована, уже вылетела из гнезда.

Предрассудки... Хельвиг уставился на пачку сигарет «Мэри Лонг» с изображением завитой брюнетки. С помощью граппы он уже почти погрузился в медитативное состояние, исключающее всякие сомнения. Марвин подвинул к нему соблазнительную красотку, но та осталась лежать нетронутой перед поросшими легкими темными волосками пальцами Хельвига:

— Так все-таки, что он имел в виду?

— О-кей! Итак, едва я сел, как папаша возвестил о том, что у него нет никаких предрассудков, и я сразу подумал, как и ты, что это верный при-

знак их наличия. Он начал про иностранцев, чтобы завязать беседу, еще про что-то...

— Потом, наверное, про гомосексуализм или ВИЧ-инфицированных? — Хельвиг начал бессознательно играть пачкой сигарет. Марвин посмотрел на шевелюру товарища и снова отметил про себя его первые седые волосы: все-таки в тридцать четыре года — слишком рано. Они ведь одногодки, но у друга жена, ребенок, ответственность за семью, а тут еще редакцию распустили, теперь в музыкальном отделе — не пришей рукав. И не покурить к тому же!

— Да возьми ты одну и не мучайся! — сказал Марвин, чтобы помочь преодолеть барьер, который Хельвиг, скорее всего, сам себе и воздвиг.

Роми была жизнерадостной личностью, во всяком случае, ее трудно было представить чересчур серьезной, опасно серьезной. Эта женщина — сахар, а ее супруг — соль и перец, впрочем, нет — вообще никакой приправы. Роми сладкая и острая за двоих, но на троих ее пряности не хватало, и очень может быть, что этим третьим был не Тото, а Хельвиг.

— Давай же! Не хочу вводить в искушение человека, избавившегося от вредной привычки, но ты должен поступать по своей воле, а не из страха перед женой, — и Марвин принялся рассказывать другу все милое и забавное о Роми, что только приходило в голову, да так убедительно, что Хельвиг сдался и закурил. После чего мужчины заказали еще по стаканчику.

— Что касается пресловутых предрассудков, то ты никогда не догадаешься, о чем пошла речь. Не о голубых, СПИДе или беженцах. Представь себе, он спросил: «Марвин — это еврейское имя, да?» Ну, смех и грех!

— О господи! Ты рассказал ему о своем американском дядюшке...

— Ничего я не рассказывал.

— Ничего? Но почему, ты же не мог сидеть, набрав в рот воды, не отвечая на провокационные вопросы?

— Можно подумать, что он давал возможность! Папаша не позволял и полслова вставить и подтвердил мое подозрение: он уверен, что я готов просить руки его дочери, все идет к тому... — Марвин кривлялся и запинался от возбуждения. — Ваша Хульда, вы знаете, я могу ей предложить то-то и то-то... Он выложил свое мнение по поводу того, как молодые люди сегодня делают предложение... И заметь, я даже не заикнулся о женитьбе — просто не мог, даже если бы захотел.

— Собственно говоря, очень удобная позиция, — задумчиво прокомментировал Хельвиг, как обычно, не очень разговорчивый. Сигарета в углу его рта затрепетала, как неустойчивая мачта таежной буровой скважины от урагана. Его губы походили на две подружившиеся голые улитки.

Некоторые физиогномические наблюдения новоиспеченный жених вынес и с вечера на террасе. У отца Хульды был неправильный прикус: нижняя челюсть выдавалась вперед, а верхняя, соответственно, западала. Особенно заметно, когда он — в виде исключения — закрывал рот. А с возрастом, пожалуй, это будет еще больше бросаться в глаза: будто человек сделал у дантиста не слишком удачный зубной протез, к которому так и не привык, и теперь ходит вовсе без него. После знакомства с матерью, к сожалению, не осталось сомнения, что внешне Хульда — в отца, хотя и не копия. Раньше Марвин находил словно прячущийся в углублении маленький ротик подруги как раз очаровательным. Когда она говорила, губы двигались очень живо и забавно — нежные, сладкие губки, которые, кажется, еще не забыли, что такое пустышка. Но теперь, когда девушка замолкала, Марвин не мог отделаться от навязчивого представления беззубого рта.

— Папаша занудствовал насчет современной молодежи, мол, ее представители являются в дом своей возлюбленной и посреди ужина

перед всей семьей развязно и как бы между прочим сообщают: «Эй, народ, никто ничего не имеет против, если ваша, как бишь ее, окольцует меня?» И родители этой как-бишь-ее, разумеется, оказываются слишком трусливыми, чтобы отважиться на какие-либо протесты или старомодные замечания, и вся родня радостно суетится: «Не против, не против! Только заботься о ней, как следует!» ...Он смеется, довольный своей тирадой, а я думаю про себя: «Господи, старик спятил! Я всего лишь бой-френд его дочери. На сегодняшний день. А он уже навострился сплавить ее замуж: напялить белую фату на бургундскую гриву девочки-умницы, чтобы она превратилась в домохозяйку и начала ржаветь, постепенно вытесняя все свои великолепные юридические знания рецептами пирогов и заботами о не заставившем себя ждать молодняке, чтобы не составлять мифическую конкуренцию собственному недалекому папочке». Это тот тип отцов, кто непременно желает, чтобы первый внук был мужского пола, и обращается к нему впоследствии никак иначе, как только «наследник», а своих собственных детей зовет отпрысками.

Далее Марвин узнал, что у Хульды есть брат, — через террасу прошмыгнула Анна, как спасительное дуновение ветерка в застоявшейся атмосфере, — которого отец величает «наш старший». В настоящее время он проходит практику в известной компании, название которой Марвину ничего не говорило, а уточнять и расспрашивать — скучно; после чего, вероятнее всего, поступит в фирму, где столь плодотворно работает глава семьи. Старик посетовал, что ему даже не хотят давать отпуск, — так высоко шеф ценит договора, которые он приносит. Ну что ж, он не в обиде, успеет отдохнуть. А у «нашего старшего» очень хорошие шансы. Как сына сотрудника фирмы, его ожидает напряженное, но блестящее будущее. Или блестящее, но напряженное — Марвин не запомнил точно ход мысли — во всяком случае, карьера парня, кстати еще и одаренного гандболиста, вплоть до пенсии была отцу предельно ясна.

О будущем же Хульды, при всей обоснованной и не скрываемой в кругу знакомых гордости за нее, папаша отзывался с сомнением и ревностно. Вправе ли вообще дочь превосходить своего отца, как, впрочем, любая женщина мужчину. Обходить его справа или слева — неважно — но уж в умственной сфере — точно недопустимо. Разве что более привлекательная внешность вполне приветствуется, но и только.

По случаю знакомства с первым значительным ухажером своей девочки старик повязал галстук поверх рубашки с коротким рукавом, и Марвину не нужно было даже особенно слушать, чтобы сразу понять, что этот человек из тех, кто считает себя в любой области компетентнее целого правительства. Как любой член компании завсегдатаев всякой пивной он считал себя способным не сегодня-завтра успешно заменить всех этих политиков, начиная с министра финансов и заканчивая руководителем департамента помощи развивающимся странам. Марвин попытался затронуть общепринятые темы — женщины, семья, юность — следуя известному рецепту, нащупать что-то общее, чтобы расположить к себе собеседника. Но, черт возьми, почему он, взрослый, состоявшийся человек, должен добиваться чьей-то симпатии? Да и Хульда, пусть даже на семь лет его моложе, разве не в праве самостоятельно решать свою судьбу? Они вовсе не нуждаются в одобрении ее отца!

В следующем эпизоде хозяин дома показал силу характера и бескомпромиссность. Чтобы удовольствие от сухого мартини было максимальным, Марвин закурил, несмотря на то, что вполне можно было догадаться: среди социально-политических претензий старика наверняка есть пункт о более высоких взносах в больничную кассу для курящих. Пропустив

две затяжки молодого гостя — дольше его терпения не хватило — папаша выдал монолог:

— Ничего не имею против свободы личности — каждый вправе решать сам, губить свое здоровье или сохранять, — но я считаю, что курильщики требуют более высоких затрат на лечение и в общественных интересах безусловно обязаны платить за медицинское страхование больше, чем остальные. Хочешь рисковать — раскошеливайся.

Бред какой-то. Как быть тогда с теми, кто переедает или злоупотребляет алкоголем? А дельтапланеристы, горнолыжники и прочие спортсмены? Все они тоже должны выстроиться в очередь в кассу, если уж на то пошло. Но Марвин не стал лезть в бутылку и только отшутился. Однако дядька продолжал, что из солидарности с якобы широким общественным мнением и ради социальной справедливости нужно поощрять благоразумных граждан и вводить дифференцированную систему взносов. Когда же Марвин ляпнул насчет поддержки слабых и собственным дурацким смешком обесценил и без того сомнительный аргумент, старик и вовсе разошелся, издеваясь над «слабаками, не имеющими силы воли, чтобы справиться с обыкновенной дурной привычкой». В этот неприятный момент снова промелькнула хозяйка, обронив что-то про ужин, — сейчас позовут в столовую. Довольный супруг сравнил ее с ночным мотыльком. Естественно, отпуская шутки в присутствии постороннего в адрес своей жены, равно как и ученой дочери, он рассчитывал на аплодисменты собственному чувству юмора.

Комментарий Марвина «и правда — ночной мотылек» прозвучал, как комплимент Анне, поэтому, наверное, дядька принялся язвить дальше:

— По-моему, уже давно пора сменить эти бермуды на размер больше, — бросил он вслед этому нежному, робкому, улыбающемуся, несмотря ни на что, дуновению летнего ветерка. — Тебе не кажется, что хозяйке не мешало бы переодеться прежде, чем звать к столу?! — и рассмеялся, вытягивая свою квадратную голову с массивным подбородком в сторону гостя, как бы стремясь заразить его собственным весельем.

Марвин, чтобы продемонстрировать независимость и хоть как-то утешить бедную женщину, поспешил откреститься от остряка дурного тона:

— Это совершенно излишне! Вашему мужу лишь бы пошутить!

Однако упрямый старик продолжал довольно громко:

— Если бы еще моя прекрасная половина с большим рвением занималась домашним хозяйством!.. Он взял пустую тарелку со стола и перевернул, чтобы исследовать обратную сторону, жестом побуждая Марвина последовать примеру. Тот колебался: трусливо подчиниться или оказать сопротивление — к счастью, достаточно долго, чтобы энергичный дядька забыл о своем сомнительном предложении гостю. Он усердно тер пальцами дно посудины и констатировал:

— От известкового налета появляется шероховатость. У нас тут очень жесткая вода. А если соляную пленку не удалять регулярно и тщательно, то постепенно посуда становится липкой. Кроме того фарфор сереет. Вот, пожалуйста! Неужели она этого не видит! Да где уж там! Сударыня надевает очки только для чтения!

Отец Хульды торжествовал и упивался собственным красноречием. Мать же, за которую Марвин уже готов был вступиться, улыбалась как ни в чем не бывало, словно яд не действовал на нее, а даже наоборот — доставлял удовольствие. Что это было: мазохизм или притворство, театр, чтобы ни в коем случае не обнаружить перед чужим человеком то унижение, которое она переживала? А может быть, изощренный способ участия в идиотской и подлой игре? Глава семьи тем временем вошел в раж:

— Если плохое зрение и лень надеть очки, то это не работа, а халтура! И потраченное впустую время!

Хульда тоже сносила отцовские тирады молча, разве что изредка вздыхая или многозначительно поднимая брови. Наконец не выдержала и спросила как бы в шутку, но с намеком:

— Пап, а ты можешь себе представить, что бывают мужчины, которых ни капли не интересует женская домашняя работа?

— Ты имеешь в виду тех, кого устраивает грязь? — парировал старик совершенно серьезно, он не находил здесь ничего смешного и, кроме того, явно не рассчитывал, что в подчиненной аудитории найдется оппонент.

Марвин ринулся на амбразуру, прикрывая подругу:

— Грязь! Ну, только не в этом доме! — он чувствовал себя не в своей тарелке.

На секунду хозяин пришел в замешательство, но, привычный быстро выпутываться из сложных ситуаций, он, как всплывший ныряльщик, жадно глотнул воздух и осклабился:

— Всякая критика предполагает некоторое преувеличение. Я прав или не прав? Мои дамы склонны к преуменьшению. Конечно, у нас здесь не вонючий притон асоциальных типов. Но я претендую на определенную изысканность.

— Возможно, Мартину безразлично, как наши тарелки выглядят с обратной стороны — ест-то он не оттуда, — Хульда примирительно улыбнулась отцу.

В ответном выпаде тот назвал ее горе-адвокатшей и крючкотворшей, а Мартину шепнул:

— Бабы есть бабы.

Пока женщины, заканчивая последние приготовления к ужину, сновали между столовой и кухней, мужчины смотрели новости по телевизору. Анна задержалась перед экраном, когда шел репортаж из Заира и Руанды. Она по-прежнему не подавала виду, как отвратительна, как мучительна ей эта бесконечная идиотская словесная атака. Должно быть, подумал Марвин, все в угоду мужу, который напрочь лишен чуткости, и не догадывается, что вряд ли найдется желающий получить удовольствие от подобной беседы с ним и стать свидетелем всех этих унижений... Женщина вдруг засмеялась и сказала, а говорила она, как и двигалась, словно стараясь прошмыгнуть, но на этот раз медленнее, более четко, продолжая при этом дипломатично улыбаться:

— Дорогой, — это обращение к убогому балагуру гость тоже списал на следование определенной стратегии, — что такое известковый налет на посуде? Вон в Африке каждую минуту от голода или холеры умирает человек.

— Ну и что? — ответил супруг. Его выражение лица с триумфом возвещало: «Вот они — женщины! Никакой логики, одни эмоции и нервы».

Под этим взглядом Марвин почувствовал себя бараном, а хозяин с задранным носом и вскинутым подбородком победителя иронизировал:

— Думаешь, журналист, который рассказывает эти душещипательные истории, фиксирует с секундомером все смерти подряд? Хе-хе! Откуда они получили такой точный результат: каждую минуту умирает человек! Ужасы хорошо продаются, правда, Марвин? Не грех и преувеличить? Почти каждая новость на девяносто процентов — сказка, на самом деле верить ничему нельзя.

— Ну, даже если каждые пять минут умирает какой-нибудь бедняга, это тоже немало, — вставила не зло, как показалось Марвину, а скорее устало горе-адвокатша красавица-дочь, привыкшая к подобным перебранкам.

— И одновременно столько же будет зачато. А то и больше — могу поспорить! — радостно заверил папаша. Будущее рода человеческого не вызывало у него озабоченности.

Гость едва замечал, что ест, настолько хозяин доминировал за ужином, молниеносно заполняя своим доморощенным остроумием всякую самую мизерную паузу в разговоре. Например, комментировал не особо выдающиеся кулинарные способности жены — «жалкие, чего уж там». А унижаемая смеялась за компанию, чтобы защитить свою гордость, вернее, притвориться, что она не страдает. Иначе объяснить такое поведение Марвин не мог. Разве по ней не видно, как чудовищна каждая минута, проведенная за столом? Он пытался прочесть это в ее глазах, но тщетно. Мысленно выставил диагноз: прекрасная актриса. Хотел в него верить. Его молодая подруга, вздох по имени Хульда, несмотря на чудесную, не тронутую старением кожу и гибкое, натренированное тело в коротких брючках и узкой рубашечке, не скрывающей пупок, с великолепной шапкой почти ненастоящих волос, стала вдруг терять очки рядом с бледной, надломленной, потерявшей свежесть матерью. Красота Хульды была слишком откровенна, однозначна, неопровержима, как нечто само собой разумеющееся, в то время как мать волновала, возбуждала любопытство, трогала сердце какой-то тайной, которую может разгадать не каждый — только избранный.

Этими сокровенными мыслями Марвин попытался осторожно поделиться с другом несколькими днями позже, когда они снова встретились за обедом. Не найдя места вблизи вентилятора, оба потели над «блюдом дня номер два»: холодный андалузский суп, от которого, впрочем, никто не ожидал настоящего испанского вкуса — в этой-то столовке. На второе — фруктовый пудинг с ванильным соусом, подаваемый в пиале, разделенной на две части, но заполнявший собой лишь один полулунный отсек. Подошла и Додо. С работой Марвина она уже разделалась и теперь принялась за видеоочерк о Галапагосских островах и их уникальном животном мире. Додо не могла уразуметь, с какой стати Марвин чуть ли не каждый вечер теперь торчит у родителей Хульды и как мазохист добровольно подвергает себя мучительному общению с недалеким всезнайкой хозяином.

— Слушай, а ты не можешь наслаждаться своей Хульдой наедине, подальше от ее предков? — имя девушки Додо произнесла с придыханием, почти простонала. — Все-таки на дворе конец двадцатого века, — она пропустила начало разговора и не слышала про необычные чувства товарища к потенциальной теще.

— Ему нравится ее мать, — раскрыл карты Хельвиг.

— Ого! — тонкие брови Додо поползли вверх да так там и остались, словно две арки, поддерживающие сложенный в несколько аккуратных морщин лоб.

— Меня интересует холодная война между двумя людьми, — стал выкручиваться смущенный Марвин, — сколько времени может длиться этот извращенный танец. В конце концов старик закончит свое попурри и закроет рот. Когда-то же это должно произойти.

Пока дело не зашло далеко, и отец Хульды не боялся повториться, он, пользуясь любым случаем, пытался доказать свою компетентность перед успешно продвигающейся в учебе и поэтому все больше отдаляющейся от него красавицей-дочкой в тех вопросах, в которых он по определению не мог разбираться лучше или, по крайней мере, так же, как она. И это при том, что его нога ни разу не перступала порог университетской аудитории.

— Не думаю, что ему хоть раз удалось взять верх над ней, даже если Хульда где-то и промолчала. Наверняка папаша штудирует втихаря гражданское право, чтобы подловить дочь на каком-нибудь скользком моменте. Во всяком случае, он сам признался, что собирает материалы «из зала суда».

— Да уж, такой отец — не подарок! — Додо была на верном пути, когда высказала предположение, что за исследованием семейных странностей

спрятано нечто большее, чем простой интерес Марвина к человеческим слабостям и скелетам в чужих шкафах. — Такие случаи общеизвестны, ну не точь-в-точь, — заметила она, — но в том, что в большинстве семей царит гнусная атмосфера, нет ничего сенсационного. Может быть, только ты со своими идеальными родителями открыл тут для себя Америку, — и Додо перевела тему разговора, потому что не могла удержаться, чтобы не поделиться с кем-нибудь удивительной историей о ящерицах, которые, совершив бесконечно долгое и опасное путешествие вплавь через Тихий океан, с огромным трудом выбравшись на скалистый, с постоянным прибоем берег Галапагосов, нашли там спасение, постепенно приспособились к местным условиям и эволюционировали:

— Там не было привычной пищи, например, поэтому их мордочки должны были измениться, как, вероятно, и желудки — я продвинулась еще не слишком далеко. Зайдите ко мне, покажу вам этих зверьков.

Марвин, спровоцированный комментарием Додо, подумал о своих идеальных родителях, которые за все время ни разу не заикнулись о визите, не пожаловались, что сын ими пренебрегает, хотя, конечно, страдают от одиночества, но — сама терпимость. И он решил позвонить им сегодня же. Затем мысли его перенеслись к матери Хульды, которая для него уже давно стала Анной, и к ящерицам, которые постепенно приспособились к враждебным обстоятельствам на новом месте. И скачок мысли — Анна в образе ящерки... Нет, невозможно, как только может извратиться мысль! ...Но ведь она приспосабливается! Вот только какого черта?

На самом деле за оскорбительными выпадами этого монстра скорее всего кроется гордость за своих женщин. Ну да, сумасшедшая гордость и одновременно страх — в его выпученных глазах...

Хельвиг вывалил весь ванильный соус на пудинг и начал давить ложечкой, добиваясь однородной массы. Явный любитель простой крестьянской пищи — «первое и второе в одной кастрюле», не гурман. Он, да и Додо тоже, заметили Марвину, что скоро смогут вычислить пресловутого дядьку в автобусе, стоит ему только с кем-нибудь заговорить — такой подробный портрет уже сложился, но Марвин не унимался:

— Старик потрепал волосы на голове жены и говорит мне: «Ей нужно зачесывать направо, а то уже изрядно поредело — почти как у ее отца. Ха-ха! В ветреный день у деда Хульды видна лысина. Ха-ха! Обычно он укладывает остатки былой роскоши от самого уха через весь череп до другого уха, и все это искусственное сооружение разлохмачивается, свисают длиннющие пряди, ха-ха! Что поделаешь — гены. Прежде чем жениться нужно смотреть на... Ну, вы слышали эту поговорку, Марвин». Тут он осекся — дошло, что завернул не туда, и, как обычно в подобных моментах, стал похож на озадаченную рыбу. Впрочем, рыбы всегда выглядят ужасно серьезными и озадаченными, иногда обиженными, но точнее не выразиться. Папаша, наверное, подумал, что я могу догадываться о его видах на меня в качестве зятя и бросился спасать ситуацию: показал пальцем на голову дочери, которой никак не мог простить интеллектуальное преимущество, выдержал паузу, но посчитал нужным все-таки дополнить наглядный материал красноречивой выкладкой на тему, чью шевелюру она унаследовала. Затем, чтобы блеснуть просвещенностью, попытался что-то цитировать, запнулся, начал заикаться...

— Слушай, Марвин, я уже начинаю за тебя беспокоиться, — Додо покончила с йогуртом и вытянулась на стуле, почти легла.

— Почему? — не понял тот.

— Ты как-то завис на этом человеке. И женщины странные. С какой стати его супруга позволяет так с собой обращаться? Проглотила, например, это хамство насчет прически. Старик просто заворожил тебя. Нет, мой

дорогой, не качай головой, не пытайся отшучиваться и не вешай мне лапшу, что ты собираешь наблюдения для очередного очерка о человеческой психологии. Знаешь, кто он такой? Обыкновенный обыватель, который строит из себя мачо, да еще с некоторыми садистскими наклонностями — таких миллионы вокруг. А на самом деле — ничтожество. И все на этом.

— Марвин сочувствует его жене. Она ему нравится, — простодушный Хельвиг хотел помочь без всякой задней мысли.

— Ладно, я возвращаюсь к своим ящерицам, — Додо поднялась с подносом в руках, нисколько не похудевшая, несмотря на все свои ухищрения, и Марвину на минуту стало жаль ее. С другой стороны, она мила такая, какая есть. На его вкус — вполне гармоничная внешность, вызывающая расположение, никаких недостатков. Вот только эта женщина не возбуждала в нем любопытство, разве что ее пальчики за монтажным столом. Он никогда бы не смог влюбиться в нее.

Распрощавшись с Додо, друзья в который раз сошлись во мнении, какая замечательная у них коллега, какой симпатичный человек и к тому же шикарная женщина... Хельвиг рассказал, что признался Роми о тех выкуренных на днях двух-трех «Мэри Лонг». Мол, жара деморализует. Сам же, как всегда с видом высокоморального человека, уставился на сигареты Марвина: сегодня это были настоящие французские толстенькие кукурузно-желтые «Голуа».

— Господи, да бери, угощайся! Отец Хульды сказал бы: «В конце концов это ваши легкие, друг мой!» И добавил бы непременно свое «ха-ха».

— И насчет взносов в больничную кассу, — засмеялся Хельвиг. Получив желаемое, он, тем не менее, выглядел подавленным, насколько позволяла судить прикрывающая мимику богатая растительность на его лице.

— Или: «Я не занимаюсь оптовой торговлей табаком, мой дорогой! Ха-ха!»

— Ха-ха!

— Старик щедро наливает, но только не своим дамам. Им не преминет напомнить, что он не хозяин винного магазина. Ха-ха. С другой стороны, подчеркивает свою невозмутимость — «фанатик спокойствия», как он себя называет, само смирение.

— И противоречит сам себе: либо спокойствие, либо фанатизм.

— Дядька из тех людей, что вешают над своим письменным столом известное изречение доктора Откера.

— Доктор Откер — производитель пудингов и тому подобного?

— Ну, ты знаешь, о трех дурацких просьбах к Богу: Господи, дай мне принять со смирением то, что я не в силах изменить... И так далее что-то в этом духе.

— Я полагаю, фамилия автора — Отингер, — все-таки настроение Хельвига было явно чем-то омрачено.

— По логике этого Отингера: если я принимаю то, что не могу изменить, значит, мне, по большому счету, на это наплевать — не очень-то и хотелось.

— Ну, там же еще идет речь о силе, дающей возможность изменить то, что можно изменить.

— Хорошо, хорошо, но это все равно ужасно. Я знаю, что такое получить извещение о смерти. Мне знакома и чиновничья плесень. Этим бездельникам не надо ни о чем молиться, они — само воплощение хладнокровия, неповоротливости, тупости. Сколько уже времени мой брат ожидает разрешение на строительство?.. Ты в порядке? Что-то тебе «Голуа» не пошел.

— Да нет, все в порядке, — ответил друг с натянутой улыбкой.

— Что-нибудь с Тото?

— Вовсе нет. Он, кстати, неожиданно решил попробовать теннис. Роми уже купила ракетку и все необходимое, — вспомнил Хельвиг о сыне, но его лицо при этом не посветлело.

Чтобы избавиться от того, что угнетало, снова обрести равновесие в душе, нужно было — как глоток воздуха — сказать правду. А правда заключалась в том, что пресловутый афоризм доктора Карла Отингера действительно висит над письменным столом... его тестя, который выразил пожелание, и Роми его решительно и серьезно поддержала, чтобы высказывание разместили в правом верхнем углу будущего извещения о смерти его жены в прессе. Печальная история. Четыре года назад врачи обнаружили у нее рак молочной железы. Провели лечение — в принципе, благоприятный прогноз, но тесть не находит себе места, пока не пройдет критический срок — пять лет, изводит и себя, и всю семью мрачными мыслями и разговорами о страховании жизни, завещании, способах захоронения и материалах для надгробных памятников.

У Марвина внезапно перехватило дыхание. Зной и неприятное осознание того, что он столько времени докучал товарищу описанием кошмарного папаши теснили его грудную клетку. Однако, как похожи эти два старика. Может быть, тесть Хельвига не такой закомплексованный болван и шут в обращении с женой и дочерью. Хотя вряд ли. Марвину пришло в голову высказывание Додо о том, что отец Хульды вовсе не исключительная личность. Так что, пожалуй, оба они — клиенты доктора Откера-Отингера.

— Извини, я был не в курсе.

— Ничего страшного, — ответил Хельвиг.

— В конце концов никто не обязан априори уважать своего тестя. Мне очень жаль насчет доктора Откера, пардон — Отингера, но Роми ведь ничего не слышала.

— В общем, она не лишена чувства юмора.

— Конечно, но я ничего не знал о болезни ее матери, поэтому кое-что из моих слов звучит, мягко говоря, неподходяще для ситуации. Сожалею. Надеюсь, животворный оптимизм Роми победит и на этот раз.

Марвин не разделял тяжеловатого впечатления, которое товарищ специально или нет создавал о своей жене. На его вкус она была, может быть, чересчур активной, но все-таки это везение, счастливый шанс — встретить в жизни такую женщину. Что за человек Хельвиг на самом деле? В сознании неожиданно возникла ассоциация: могила, обвитая плющом.

Друзья расстались у лифта перед мужским туалетом, куда и зашел Хельвиг. Марвин тоже хотел, но решил подняться на этаж монтажных. Хельвиг не воспользовался кабинкой, а встал перед одним из писсуаров. Вспомнил, как однажды оказался с Марвином вот так — в тесной мужской компании, и вдруг на душе стало отвратительно и мучительно стыдно, и он — из трусости и соревновательного духа, чтобы заглушить собственную струю и закончить быстрее — крикнул сквозь весь этот журчащий концерт: «А я, между прочим, солист!»...

— Теперь невозможно себе представить, что всего пару недель назад готов был отдать полцарства за место у вентилятора, — сказал Хельвиг.

Он, Марвин и Додо пробирались с подносами в поисках столика в переполненной столовой. Широкий фронт окон штурмовал ливень. Все трое впервые собрались вместе на обед после совпавшего отпуска. Марвин к тому же задержался на съемках в Альгое: продолжение проекта, на этот раз креативный отпуск в зимний сезон — резьба и лепка из воска.

Хельвиг, как обычно, сначала превратил в руины порцию серо-розовых голубцов на своей тарелке, а затем принялся за еду: смешивал капустно-мясной фарш с темно-коричневым соусом и закладывал эту

массу в полость рта через узкий, отороченный пышной бородой въезд. Додо снова клевала нечто диетическое, йогуртоподобное. Перед Марвином стояла яичница с сезонными овощами, на этот раз, как он любит: не пережаренная, желток жидкий, позволяющий волозить в нем, играть. Разговаривали вяло. Сначала о карьеристе операторе-редакторе Дюбене, которого недолюбливали и прозвали полумесяцем. Немного обсудили родительские хлопоты, у Тото начался очередной возрастной кризис, и Роми таскала за собой Хельвига-отца по разным специалистам: классный руководитель, психолог, логопед. В этой связи Додо, по-женски всегда внутренне настроенная на сердечные дела, вспомнила о подруге Марвина и ее семейных проблемах: как там дела, какие перемены и так далее. Реакция на полученный ответ — удивленно взметнувшиеся бровиворотца на круглом дружелюбном лице.

— Ничего нового. В последнее время я несколько отстранился, забросил визиты, отложил, так сказать, в долгий ящик, — слова прозвучали не так непринужденно, как хотелось бы, но, к счастью, интерес друзей был скорее формально-вежливый.

К тому же, когда Марвин хотел вдобавок сослаться на собственный рабочий цейтнот и приближающийся устный экзамен Хульды, — мол, технический перерыв в условиях стресса, — как раз появилась Марлиз, с которой Марвин монтировал зимнюю часть своего фильма, вернее, это делала она, а он сидел рядом, но чувствовал себя все же уютнее, чем с Додо, потому что Марлиз не была настолько проницательна по поводу некомпетентности режиссера в монтаже. Женщины-коллеги отвлеклись на актуальную для них тему — забарахливший компьютер, а Марвин обрадовался спасительному вторжению, потому что теперь уже не был уверен, хочет ли дальше предавать историю огласке. В воображении он монтировал кино о своей будущей личной жизни, вставляя теперь эпизод из недавнего прошлого.

Послеобеденное мягкое тепло позднего лета, чаепитие на террасе. Главная тема разговора — недавно показанный телевизионный очерк Марвина. Правда, Хульда его пропустила: время трансляции днем — не слишком удачное, но отец позаботился — записал на видео. Марвин старается не смотреть слишком часто на как всегда скромно и невыигрышно одетую, но тем не менее такую волнующую Анну, которой в любой момент может понадобиться помощь, и потенциальный зять, готовый за ней хоть в воду, как пляжный спасатель, хоть еще, черт знает, куда. Беседа непривычно монотонная, без обычных шуточек хозяина.

— Я, к сожалению, не имел возможности критиковать или иронизировать — тогда не миновать сложностей на сдаче готового материала. Власть имущие требовали, чтобы общее настроение было позитивным, допустимо немного юмора, и все. Я с удовольствием снял бы еще раз на ту же тему, но теперь в жанре сатиры, — хотя вся семья молча внимала, Марвин старался лишний раз подчеркнуть свое пренебрежение ко всем этим идиотским любителям переводить впустую мрамор, к несчастным теткам, пискляво затягивающим свои евангельские песнопения, и марципановым бездельникам. Но что-то не то творилось с его аудиторией. Великолепная Хульда сидела, закрыв глаза, — верный знак, что она не согласна с тем, что слышит. Едва различимый вздох то и дело срывался с серьезных губ Анны. В общем, каждая на свой манер сдержанно выражала скепсис. Лишь глава семьи, в виде исключения сегодня не доминирующий, злорадно посмеивался себе под нос. Что-то висело в воздухе. Что-то отталкивающее, почти враждебно обидное. Марвин откусил кусочек орехового печенья и добавил что-то в смысле «очень вкусно, но почему не предоставить производство профессионалам», но его жалкий сарказм не вошел в резонанс с настро-

ением за столом. Только «ха-ха» хозяина впервые оказало гостю добрую услугу, тиран представился самым симпатичным, просто потому что был самым понимающим.

— Марвин, — Хульда наконец прервала тягостное молчание женской половины маленького общества, — ты не слишком доброжелателен к людям, не находишь? Постоянно придираешься к простым милым человеческим радостям.

Несмотря на моральную поддержку старика — обычный смешок да комментарий: «Смотри-ка, сейчас она подберет тебе статью, был бы человек...» — Марвин, словно простреленный мгновенным выбросом адреналина, пришел в бешенство. Да что она себе воображает, эта малявка?! Как она только осмелилась критиковать ЕГО соображения по поводу ЕГО работы! Как она не понимает, что все это так называемое творчество есть ничто иное, как халтура и чепуха в чистом виде. Люди просто не знают, чем себя занять. Сели бы да почитали что-нибудь умное, так нет же — это скучно, хотят играть, как дети, да не в одиночку — им нужно общество с массовиком-затейником.

— Массовики-затейники здесь ни при чем, — возразила Хульда, сощурив глаза, так что Марвину захотелось крикнуть: «Надень, наконец, свои очки, близорукая студентка! Боишься испортить фасад — тогда линзы! Или руки-крюки?!» С умирающей надеждой он посмотрел на мать — свою тайную большую любовь, хрупкую Анну, надломленную красоту, нуждающуюся в покровительстве как никогда. И пусть она даже не подозревает об этом — он мысленно оберегает ее, защищает каждым своим — таким беспомощным — движением души...

— А я там с удовольствием провела время, — сказала Анна, почувствовав, что настала ее очередь, — я имею в виду Клингенбах. Ремесло, возведенное в ранг искусства, — как мы это называли. Кое-чему я там действительно научилась, например, печь ореховое печенье, которое вам понравилось. Насчет остальных курсов ничего не могу сказать, вот разве что еще пантомима меня заинтересовала — на будущее.

Тут Марвин не мог отреагировать столь же резко, как на слова своей подруги, достаточно сильной, чтобы сполна ответить за свою наглость. К тому же и не успел — вмешался отец Хульды.

— Ха-ха! Надо разузнать, нет ли каких-нибудь женских курсов, обучающих, как полагается вести домашнее хозяйство: готовка, стирка, уборка, мойка. Мойка — краеугольный камень.

— Кто недавно говорил, что грязная посуда — ерунда по сравнению с холерой? — выпалил Марвин в моргающие глаза Хульды.

— По-моему, мама.

— Но ведь эти отпускные программы — нечто совсем иное, — в своей ускользающей манере, но уже как-то совсем не скромно сказала канонизированная Марвином мать. Не промолчала, черт побери!

Ситуацию спас, как ни странно, старый добрый, вечно всех поносящий ха-ха-папаша. Он отправил «молодую пару» — так ему нравилось называть дочку с другом, прогуляться по довольно обширному саду — удачное решение в нужный момент. Не обремененный умом, крикнул панибратски вслед: «Будь начеку! Эта начинающая крючкотворша заведет на тебя дело, тогда не обижайся!»

Марвин начал сразу же выговаривать Хульде, что он сыт по горло ее эгоистичными выпадами. В конце концов, она не имеет ни малейшего понятия о том, что такое уважение, такт и работа на телевидении.

— Да ладно тебе. Что ты всегда на ровном месте лезешь в бутылку.

— Это ты у нас с самого начала строишь из себя кисейную барышню.

— Так что: если я не в восторге от этого фильма, нужно прикидываться?

— Да. Или держи свой милый маленький язычок за зубами, или прикидывайся. Ты пока что не имеешь даже отдаленного представления о том, что такое работа, настоящая, тяжелая работа!

— Слушай, я сама в состоянии стресса — готовлюсь к серьезному экзамену!

— И хочешь, чтобы только о твоем экзамене и говорили, сетовали и причитали в унисон, без конца подбадривали: ты самая лучшая, у тебя все получится, и на высший балл.

— Перестань надо мной смеяться. Да, у меня стресс. И что с того, если мне не нравится то, что ты делаешь в своей профессии. Я люблю тебя. Разве не это главное?

Марвин на секунду задумался, действительно ли это главное, и почему. Конечно, знал ответ и с большим удовольствием выдал бы его подруге тут же, но разве не хотел он, несмотря на только что пережитое разочарование, все-таки разгадать загадку Анны, расколоть этот маленький нежный орешек. Поэтому вместо откровенности спросил, что думает на самом деле мать.

— Ты же слышал. Она не любит цинизм, и твой фильмик оставил ее равнодушной.

— Фильмик! Ну, знаешь ли! Я всегда одобряю твои новые прически — то длинные волосы, то стрижку, — расхваливаю успехи в учебе, каждое мое слово пропитано лестью для укрепления твоей уверенности в себе, а ты... Да уж, чего-чего, а самоуверенности тебе не занимать. Ее-то как раз столько, что тебе ничего не стоит уничтожить человека, вернее, его работу.

— Ты сам говорил, что сделал бы иначе, если бы имел возможность.

— Да, но тогда уж точно не угодил бы ни тебе, ни твоей уважаемой мамочке. Марвин — злобный циник и мизантроп.

— Есть немного, ничего не поделаешь.

— Что уж говорить тогда о твоем отце с его бесконечными придирками! Ха! — этим «ха» Марвин вовсе не передразнивал старика, оно выскользнуло непроизвольно и означало: «Кажется, до меня начинает доходить! Ведь он прав!»

Сильнее всего Марвина коробило то, что он потерял Анну по ее же вине. Мотылек исчез. «С ней покончено, — думал Марвин, разъярившись. — Какая, к черту, галапагосская ящерица, приспосабливающаяся путешественница? Глупая курица! Очень жаль, что она не оправдала выданного аванса». Он хотел сказать: «Я не позволю унижать мою работу, потому что тем самым вы оскорбляете меня!», но вместо этого горько вырвалось:

— За всеми вашими застольями я молчал только ради твоей матери. Не встречал еще настолько пресной женщины — так и тянется рука сыпануть приправы от души. Но она так труслива, что взяться за солонку для нее — словно дотронуться до паука, а перечница — это мышь. Ни разу я не почувствовал внятного вкуса, но ел все, а в конце концов оказался в дураках.

— Ты и есть дурак. Думаешь, я не заметила, как ты втрескался в маму? — Хульда то щурилась, то моргала, раньше это проявление крайней нервозности вызывало у Марвина острую жалость, но не теперь.

— Доктор Откер-Отингер помог, — сказал он. — Пошли назад, мне пора уходить.

— Афоризм Отингера в качестве девиза тебе бы не повредил, — произнесла Хульда очень серьезно. — Принять со смирением вещи, которые ты не в силах изменить — это для тебя пустой звук! — она была на грани истерики: от волнения голос срывался почти на писк.

До сегодняшнего дня его подруга без устали причитала по поводу сложностей в родительском доме: «Ох, Марвин, моя семья — это одна сплошная проблема». Но стоило случиться этой катастрофе, как Хульда тут же примкнула назад — к своей банде. Скорей всего, она так же несчастна, как и он... Стоп, нет уж! Она несчастна, не он! Он свободен. У него даже нет желания расстегнуть ее призывно облегающую блузку, прикоснуться к маленькому бюсту, да и грудь Анны, еще более плоскую, к тому же позорно (это не так!) попользованную, ласкать (терзать!) его не влечет.

— Так что, кино-пицца-секс сегодня, наверное, отменяются или как? — спросила Хульда со свойственной ей трогательно-глупой интонацией как раз в этот спровоцированный гневом момент. Нечаянно попала в точку.

— Отменяются.

Он почему-то не уходил. Она стояла у бассейна и смотрела на него, мигнула — то ли хотела дать что-то понять, то ли просто от близорукости.

— Господи, Марвин, я в таком напряжении перед экзаменом! Ты — чуткий, черт побери!

Она была такой жалкой в этот момент, но не вызвала сочувствия ни на секунду. Может быть, потом, позже ему самому покажется, что он вел себя по-детски. Должен ли он вообще, будучи значительно старше, воспринимать подругу настолько серьезно, чтобы обижаться на нее. Но ведь мать тоже принимала участие в этом спектакле — его мечта-загадка Анна. Все-таки он прав. Девчонка, хотя и без злого умысла, но обращалась с ним, как со своими друзьями-студентами, что, тем не менее, ее не оправдывает. Она не подозревает, что такое чувство такта, уважение личности, собственное эго для нее превыше всего. А что касается матери — по всей видимости, она просто недалекая женщина.

— Ты носишься со своим несчастным экзаменом, как будто он изобретен исключительно для тебя! Миллионы прошли через этот «стресс» и благополучно сдали. Да, сдали! И если ты тоже хочешь...

— Если! — возглас Хульды прозвучал, как тонкий крик маленькой птицы — понятно, что она осталась глуха к его иронии, снова думала только о себе и своем идиотском экзамене.

— Именно, «если». А потом еще все должны тебя поздравлять, словно ты совершила подвиг или получила Нобелевскую премию и претендуешь, как минимум, на пьедестал.

Хульда вынуждена была в очередной раз признать: сама виновата в ссорах. Столько поклонников исчезло с горизонта, но она никогда не могла до конца дать себе отчет — почему? Вероятно, слишком эмоциональна, донимает людей своими нервами. И тут же снова подтвердила собственный характер:

— Что с того, что твой фильм не имеет для меня большого значения? И если мы с мамой считаем, что он не стоит обсуждения...

— Может быть, ты даже дорастешь до министра, — Марвин был вне себя от злости. — Факультет выбрала правильный. Ты самоуверенна, не терпишь возражений. Будущее тебе обеспечено. Я прямо слышу твои нудные придирки. Да ты достанешь любого судью или адвоката, добьешься, чего только пожелаешь, благодаря своей натуре, потому что они пойдут на все, только бы избавиться от тебя. Не стоит сомневаться по поводу твоей карьеры. Вот в чем дело.

— Ну ты подлец. Дерьмо...

— А ты становишься вульгарной, когда заканчиваются аргументы.

— Знаю, знаю, ты говорил мне сто раз, что ругнуться — уже давно не оригинально.

— Кроме того, никогда не было эстетично или привлекательно.

— Эстетично или привлекательно! — передразнила Хульда, утрируя артикуляцию. Эта Хульда — инфантильная и тщеславная эгоистка — перестала быть желанной, и Марвина передернуло, когда он представил себе ее узкую комнату в студенческом общежитии. К ним шла тоже утратившая всю свою соблазнительность мать. Она переоделась, была теперь в зеленых брюках до колена, что еще вчера возбудило бы интерес — ее тонкие ноги направлялись бы прямиком в сердце Марвина, но сегодня это была женщина, которая не считала его фильм темой, достойной для обсуждения. Его работа ей до лампочки. Ну, так и она ему — аналогично!

Невинная улыбка (лицо немного приплюснутое или кажется?), заложенные за уши пряди волос (почему бы ей не мыть их почаще?), осведомилась слабым голосом, как обычно, словно прошмыгнула, (так тихо говорить — просто невежливо!) не останется ли Марвин на ужин: ничего особенного у нее сегодня нет, но... А то, что кое-что особенное уже произошло и необратимо изменилось, до нее не доходит так же, как до ее дочери (стог волос на пятерых, а сообразительности, интуиции — ноль — как и у своеобразной мамочки). Марвин поблагодарил лицемерно-сердечно, вышло достаточно холодно. Добавил, что уже поздно, еще много дел, и так затянул передачу, если выражаться телевизионным языком, который, впрочем, здесь не приветствуется. Намек, который мать Хульды — адье, Анна! — конечно, не поняла.

— Подождите, — глава семьи появился, как спасительный буй перед потерпевшим кораблекрушение, и доверительно ухватился за локоть гостя. — Вы должны это видеть. И вынести свой приговор, — он увлек гостя в дом. — Моя лучшая половина, моя женушка, мыла окна, но, право же, мыслями в тот момент была где-то совершенно в другом месте. Два окна. Вот, судите сами, — он подвел Марвина посмотреть результат.

Тот был доволен, хотя все еще возбужден, потому что мойщица окон, как дрессированная курочка, послушно следовала за ними.

— Ореховые торты и трюфеля она уже научилась делать, но как вам нравится вот это?! — хозяин театрально указал на оконное стекло в столовой и застыл, открыв запавший рот, ожидая от Марвина подтверждения собственного триумфа.

«Забудь о вежливости! — говорил себе Марвин. — Они ведь с тобой не церемонились. Вспомни, как ты месяцами обманывался в них. Поддержи старика, здесь он твой маяк, а его женщины на самом деле не так уж безобидны. Каждый отыгрывается по-своему. Признай его правоту, но не дипломатично-трусливо — как обычно, позволив себе разве что ироничную ухмылку и какой-нибудь вздор типа «ну-это-как-сказать», а выложи наконец свое истинное мнение: назвать это окно чистым нельзя однозначно. Тебе-то, конечно, наплевать, но все-таки».

«Но это же провокация», — подумал Марвин, выходя из кабинки туалета. Над раковиной в позе молящегося склонился Хельвиг, кроткий даже со спины, смиренно отправляющий естественную надобность. Друзья уже обсудили вполне удачно выполненное первое поручение Хельвига в музыкальном отделе — история Вудстокского фестиваля рок-музыки. Заглушая журчание товарища, Марвин продолжил свою мысль:

— Такого как я всегда можно спровоцировать. Глупостью. Тупой бесцеремонностью. Например, какая-нибудь древняя старушенция, вроде бы общительная и продвинутая, снисходительная к компании распоясавшихся панков, но лицемерная, потому что они грубят не ей самой, а соседке. Или похотливый телеведущий, живо, с влюбленными глазами слушающий своего гостя-трансвестита, рассказывающего об операции по смене пола...

— Пол меняют транссексуалы. Ты снова путаешь, — поправил Хельвиг, заканчивая свой процесс и заправляясь — конец молитве, аминь.

— Меня провоцирует навязчивое нахальство пресыщенной всезнайки, брюзжание мелкой студенточки в состоянии экзаменационного стресса, лезет, когда ее никто не спрашивает, как будто специально, чтобы насолить... Я вообще никого не просил критиковать мой фильм, а выслушал сплошные придирки, и это провоцирует меня еще больше. Я не отношусь к людям, которых интересует чужое мнение об их работе, мол, скажи честно, как тебе? Единственное, что я хочу получить, это одобрение — исключительно и максимально. Больше мне ничего не нужно. А ты как?

Хельвиг не выглядел захваленным, но, похоже, это его и не особенно волновало: кажется, даже с удивлением он впервые задумался о замечаниях Роми, которые, как полагал Марвин, были в любом случае не такими уж невыносимыми, а как раз наоборот — веселыми и душевными, как сама Роми.

— Короче, я Хульде отомстил, — о своем в некоторой степени противоестественном притяжении к матери Хульды Марвин промолчал. — И насколько могу судить, сам устроил провокацию. Шокировал их. Ха-ха-ха! — снова невольно скопировал он громогласного папашу.

По пути на рабочее место Марвин продолжал рассказывать Хельвигу свою историю, произошедшую накануне в гостях у родителей подруги. Хозяин присел на корточки перед стеклянной дверью на террасу, медленно встал, снова присел.

— Давайте, давайте! Немного гимнастики никогда не повредит, мой друг! — пришпорил он Марвина. — Иначе вы ничего не увидите. А посмотреть есть на что: полосы, полосы и еще раз полосы. Это наша маленькая ночная бабочка нарисовала своими усталыми крылышками так называемое чистое окно. Может быть, она вовсе не бабочка, а летучая мышь? Эти твари, как известно, слепы... Ну, кто бы это ни был, ее зовут Анна — вот на чьей совести это стекло. И то, в столовой. Она водит тряпкой сверху вниз. Трет вертикально! — тон старика постепенно повышался и теперь гудел от удовлетворения. — А окна моют поперек!

Где-то в глубине гостиной Хульда пронудела что-то в смысле «пап, ему все это, конечно, в высшей степени интересно», а виновница, из-за которой загорелся весь сыр-бор, попыталась робким, едва ли более слышным, чем дыхание, голосом защититься, мол, руки слабые, теперь она тоже видит эти полосы.

— Окна моют поперек! — гремел в победном экстазе хозяин. — Что скажете, Марвин? Вы ведь тоже водитель, а дамы, безусловно, не раз сидевшие рядом, если бы были понаблюдательнее, заметили, как протирают лобовое стекло на автозаправках. Окна моют поперек!

— Точно, — сказал Марвин твердо и громко, — окна моют поперек. Легко запомнить как аксиому. Окна моют поперек, а вены вскрывают вдоль. Только дилетанты делают наоборот.

Спустя три недели за обедом в столовой (оба выбрали блюдо номер два — чечевицу в горшочке с венскими сосисками), как раз когда Додо со своим неизменным йогуртом, заметив друзей, развернулась в их сторону, Марвин говорил Хельвигу, которому никак не удавалось расплющить вилкой кусочек сосиски в бобах:

— С тех пор я каждый день просматриваю в газетах объявления о смерти, но либо пока ничего не произошло, либо она сделала это все-таки поперек. На нее похоже. Эта Анна чертовски рассеянная. Я ей поначалу симпатизировал, но надолго меня не хватило. Да, наверное, она все-таки вскрыла вены поперек.

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.

САБИНА РЕБЕР

Землянично-красный

Он стоял у приемной стойки — смущенный, с кожаной сумкой, в рубашке с длинным рукавом, темные волосы до плеч. Его большие руки, то снующие в карманах джинсов, то гладящие макушку, казались хрупкими. Черты лица правильные, мягкие. Впечатление чуткости хищника возникало, должно быть, от выдающихся скул. Только миндалевидные глаза выдавали его: булавочные головки зрачков танцевали, как сумасшедшие. Но их огонь был иным. Без алчности, жалившей из глаз других вновь прибывших. Я положила руку ему на плечо и проводила в комнату.

Открыла его сумку и исследовала содержимое. Одежда, пара книг, восковая свеча. В несессере бритва, презервативы, зубная щетка. Он сидел на краю кровати, наблюдая, как я аккуратно складываю обратно его рубашки, кивнул, подбадривая, давая знать, что понимает, что это моя обязанность — недоверие ко всем новичкам. Он даже указал на двойное дно сумки, которое я сразу не заметила. Я расстегнула потайную молнию и достала оттуда ключ. Тяжелый кусок металла с одной бородкой, слегка поржавевший. Он улыбнулся, вынул из кармана портмоне и протянул мне. За двумя сложенными сотенными купюрами и золотой кредиткой я нашла кусочек тщательно разглаженной и сложенной в пакетик фольги. Вздохнула: случай, как все остальные, разве что чуть изобретательнее. Пока я разворачивала пакетик, он подмигнул мне. Но там лежал всего лишь засушенный цветок одуванчика и свежая раздавленная ягода лесной земляники. Либо этот тип надо мной смеется, либо у него не все дома. В ухоженном саду клиники не росли ни земляника, ни одуванчики. Я села рядом с ним. Дрожь в его глазах успокоилась. Зрачки постепенно возвращались к своей нормальной величине. Он сжал мою руку: «Меня зовут Леонард. Ты мне поможешь?»

Пустым он не оказывался никогда: друзья заботились, чтобы товар не заканчивался. Насосы наполнял дома. Плавил дрянь в серебряной ложке матери. Как большинство тех, кто здесь приземлился. Правда, пришел он сам, по доброй воле. Ему нечего было терять. Его неукротимое желание восхищало меня, потому что я сама его уже потеряла. Я хотела приобщиться к огню его глаз. К теплу его рук. К его телу. Едва ли он был моложе меня. Может быть, на два-три года. Необыкновенно красивый мужчина. Я указала на фольгу, и он стал рассказывать про парашютики, взорвавшие его мечты.

Зависимость как одуванчик, рассеивающий в крови свои упорные семена. Они моментально взрываются и отнимают разум. Они открывают все двери и исполняют все желания. И постоянно дует ветер — он то и дело попадает в вихрь, и невозможно уклониться от парашютов-истребителей. Только красота желтого цветка восхищает его. Она несет в его вены частичку солнца. Универсальный ключ ко всем чувствам и превосходным степеням. И всегда стоит весна.

То, что начиналось со щепотки счастья, выросло в непроходимые джунгли, полные болотных лилий и лиан. Он бродил по цветочному супермаркету, днями, неделями. Внутрь вели тысячи путей. Наружу — ни один. И он потерял контроль. Сорняки проросли сквозь мозг и тело, обвили, затмили обманчивый свет, овладели им.

Это было похоже на сказку. С тех пор, как умерла моя тетя, а мне тогда было семь, никто не рассказывал мне больше историй. Я едва сдерживала слезы. А сухой одуванчик — символ конца зависимости. Две недели назад он узнал,

что заболеет когда-нибудь: завтра или через пару лет. Когда он услышал в первый раз, как струится в часах песок, воля к жизни расплавилась в одно мгновение. У него перехватило дыхание, мышцы обмякли, колени подкосились. Он провалился в пустоту. С чистыми венами. Через три дня попытался сделать последний выстрел, чтобы покончить со всем. Друзья нашли его и стали следить, чтобы у него всегда была только разовая доза. Он впал в ярость и спрашивал себя без конца: «Почему я, почему именно я?» Он не хотел умирать. Тогда решил завязать и попытаться спасти из своей жизни то, что еще можно было спасти. Хотел начать жизнь сначала. И закончить пристойно. Правда, не представлял себе, как.

Про землянику он не захотел рассказывать. Вместо этого спросил, как я. Это был первый пациент, который спрашивал меня, как я. Меня, его лечащего врача. Я не поняла. Он положил мне на плечи руку и спросил еще раз. Я посмотрела на него недоверчиво. «Ты не очень, Сюзи», — шепнул он мне на ухо. Обычно я позволяю себя так называть только своим друзьям. Здесь не допускаю панибратства ни с коллегами, ни, тем более, с пациентами. Даже с молодым врачом, побывавшим в моей постели два-три раза, после случившегося мы были на вы. Мне необходима дистанция. В этих стенах не заключается вся моя жизнь. Я просто делаю свою работу.

«Дела твои ерундовые, потому что ты выбрала не ту сторону, — сказал он. — Ты стоишь на улице, идущей вдоль сада, но не отваживаешься зайти в него».

Я заплакала. Перед пациентом я плакала в первый раз.

В последующие дни и ночи мы почти не разговаривали. Если ему было что-то нужно, он называл меня по имени — Сюзанна — как указано на пластиковой карточке, приколотой к моей белой блузке. Я была его лечащим врачом, а он переживал синдром лишения. Большую часть времени его трясло и рвало, он потел. Я держала его крепко, изо всех сил. Массировала, мяла, гладила. Мои пальцы нащупывали узлы напряжения и перекрывали энергетические точки. Я должна была изгнать одуванчик из его сердца. Мне хотелось занять его место.

Я скатилась в состояние депрессии. Ночью мне не снились сны, днем я не видела их даже ребенком. Бодрствование было пресным и пустым. Я не понимала, чего мне не хватает. У врачей нет недостатка в рецептах, и я глотала таблетки, но это не имело смысла, потому что я не верила в возможность счастья таким путем.

Свою работу выполняла безупречно: проводила предписанные беседы с пациентами, не рассказывая о себе больше необходимого минимума, заполняла протоколы, писала рапорты, отсиживала с коллегами часы конференций. Входящее в терапию общение с больными успокаивало прежде всего меня. Они сидели передо мной, погруженные в себя, судорожно ерзали ногами под стулом, вяло лежали на кушетке, сновали туда-сюда по кабинету, косясь на окно: шизофреники, параноики, страдающие маниями, фобиями и зависимостями всех мастей. Одни относительно здоровые, другие в далеко зашедшей стадии распада. Меня воротило от этих малоприятных персонажей, внушающих чувство вины. Первое, что при их виде приходило в голову: радуйся своей так называемой депрессии.

Выслушивать всю эту тоску обывателей, вывалившихся из своих семей и отосланных сюда, часто с угрозой лишения наследства или исключения из семейного дела, поднимать дух другим, в то время как самой хотелось выть, — и ни малейшей надежды на улучшение — было в этом что-то самоотверженное, прекрасная возможность преодолеть собственный глубокий изъян, вытеснить глобальную усталость.

Через неделю самое страшное для Леонарда было позади. Он зашел ко мне в кабинет. «Теперь твоя очередь», — сказал он, взял с тумбочки коро-

бочку и, направляясь к окну, поджег ее. За одну минуту картон превратился в пепел, пластик расплавился, а от таблеток остался лишь вонючий дымок.

Мы обнялись в первый раз.

Спустя два месяца мы покинули клинику и поселились в садовом домике. С собой я не взяла ни одного рецептурного бланка. К нему вернулась его невозмутимость, он снова мог спать по ночам, спокойно существовать днем — без мучительных приступов холодного пота. Мы официально поженились. Свидетелями были работники загса. Наедине с собственными телами, которые мы постепенно отвоевывали обратно, пытались начать с нуля. Работать, слава богу, было не нужно: ему удалось вернуть свою страховку, на эти деньги мы должны были продержаться ближайшие пару лет.

Маленький деревянный домик был идеальным местом для двоих влюбленных. В семье Леонарда он назывался садовым, потому что раньше там жил садовник. Двухэтажный: наверху спальня, внизу кухня и маленькая ванная. Стоящая рядом вилла была в запустении с тех пор, как его родители потеряли состояние и бежали от позора в свой летний дом на юге. Это случилось несколько лет назад. На вилле жить было нельзя. Крыша протекала, стены прогнили, канализация проржавела. Мы свили себе гнездо под ветхими деревянными балками крыши, притащили перины и подушки. Вернулись сны, наконец-то, сны.

Целый день мы занимались любовью в парке среди заброшенных грядок и деревьев — их корни служили нам помостом. Мои волосы струились между земляничных кустиков, он, расстегнув джинсы, опускался на колени. Я отдавалась в его руки, он хватал меня зубами, тащил по гравийной дорожке, как кролика, за загривок. Я соскальзывала вниз, прочесав языком растительность на его теле. Я впивалась в него, и мы падали в высокую траву. В укрытии за живой изгородью его пальцы цеплялись за землю. Черты лица растворялись под натиском цветов. Мы катались по траве, ломая одуванчики — их липкий сок брызгал на живот. Лежали на клумбах, прячась от назойливых солнечных лучей под навесом люпина. Валялись на свежей земле. Он перекатывался на спину, мурлыкал, раскинув в стороны руки и ноги, пока я не поднимала его снова. «Лео, — шептала я ему на ухо, — мой мохнатый зверь, тигренок», — и его маленькие усики дрожали. Он сидел спиной к кусту ракитника, желтые цветы капали ему за шиворот, мне за пазуху, и наши языки отправлялись в путь снова.

Вилла, возвышающаяся над парком, незаметно продолжала разрушаться, вступали в права ее новые хозяева: летучие мыши, совы и сенокосцы. Я привязывала его чулками к вишне. Он рассказывал, что, когда был маленьким, а родители еще были богатыми, атмосфера — душевной, садовник смастерил для него из каштанового дерева и пеньки качели, которые отец повесил на самый толстый сук...

Нейлоновые нити путались в трещинах похожей на кожу коры. Его запястья были крепко привязаны к стволу. Сок раздавленных на его груди вишен я слизывала языком. Мы ухаживали за садом: выпололи одуванчики и скосили газон. Ракитник подвязали, живую изгородь и люпин — тоже, чтобы солнце могло щекотать нашу кожу. Посадили розмарин, базилик и эстрагон. Мясистые помидоры. Мы кусались и катались по влажной земле. Я копала ямки, а он сажал розовые кусты и землянику. Когда она созрела, закладывал мне в рот ягоды, одну за другой. Целуясь, мы пачкали соком губы.

Мы жили только для себя. Обо всем остальном благополучно забыли. Пока не начал разрастаться ракитник. Никакое обрезание не могло его удержать. Бесконечная прополка не оставляла больше времени для любви. Вся жизненная энергия теперь принадлежала саду, в котором мы пытались поддерживать порядок. Ракитник продолжал, несмотря ни на что, свою экспансию, выбрасывал корни на луг, сыпал свои ядовито-желтые цветки на клевер.

Мой любимый сгребал и рыхлил, разбрызгивал гербициды, но ракитник уже подобрался к нашей вишне и обвил ее ствол, к которому я уже давно не привязывала Леонарда, потому что там теперь царили сорняки.

Он попытался поставить куст на место с помощью бензопилы. Приблизился к нему с вращающимся лезвием. Куст пошатнулся, хлопнув ветками себя по бокам. Несколько цветков скатились по шее за ворот рубашки и запутались в волосах на груди. Леонард попытался их стряхнуть. Они угнездились, приклеившись к волосам. Он бросил пилу и помчался в душ. Долго драил кожу, пока не смыл весь нектар. Мы вздохнули с облегчением и снова занялись садом. Не успели оглянуться, как созрели семена. Вторгшийся лазутчик начал душить моего любимого, перекрывая воздух. С каждым днем одышка становилась все сильнее. Я помогала ему переносить бензопилу, собирая помидоры, он вынужден был садиться. Корни уже пустили свои отростки в его сердце. Они оккупировали все тело. Которое вообще-то принадлежало мне, хотело принадлежать мне.

Мы пробовали противоядия, таблетки, ванны, инъекции. Ночью мы лежали без сна: он — страдающий от боли, я — не способная вернуть обратно его разодранное тело. Семена мигрировали по его кровеносным сосудам. Каждое отдельное зернышко взрывалось, выбрасывая фатальное ядро. Я должна была ему помочь. Защитить его от соперника, который разрастался все быстрее, процветал, пожирая все защитные силы.

Для меня места больше не оставалось.

В комнату едва поступал свет, потому что зелень заглушала окна. Через камин усы плюща заползли в кухню. Парк вышел из-под контроля. В садовом домике становилось тесно. Время от времени я продиралась сквозь джунгли вниз по лестнице, чтобы вскипятить на старой походной плитке чаю и взять медикаменты. Электричества больше не было, потому что в проводке теперь жили только корни. На обратном пути я пробиралась сквозь лианы, жонглируя подносом, потому что за пятнадцать минут моя тропинка успевала уже зарасти. Когда я входила, он едва оборачивался. Голова подперта белыми подушками, провалившееся лицо, загрубевшая и помятая кожа, глаза в потолок, призрачные скулы выступают. Я медленно теряла его. Раз в неделю с бензопилой наперевес я пробиралась через парк на улицу, чтобы купить продукты и посоветоваться с врачом, который уже не отваживался у нас появляться. Клены обступали гравийную дорожку все плотнее. Снаружи уже давно не было видно входа. Никто не подозревал, что в этой чаще скрываются два дома, есть люди.

При свете свечи я сидела, скорчившись, на краю постели, держала его руку, в то время как усы томатов, покачиваясь, проникали через окна и спускали воздушные корни на ковер. Разбитые стекла лежали на полу, в проемах торчали стволы. Из-под кровати сочились лилии, львиный зев. Астры и настурции обвивали основание кровати, подбираясь к моим щиколоткам. Цветки запутались у меня в волосах. Я попыталась встать и, изнуренная, упала обратно на перину. Вот так, прикованная, я была вынуждена наблюдать, как распадается его тело. Я оставила его, сдалась. Приговоренная сидеть рядом и видеть его страдания. Мои страдания. И это будет продолжаться, пока он не умрет. В конце концов, во всем виновата сама.

Один раз он еще встал, порываясь в бреду привести в порядок сад, хотя бы прополоть землянику — поле нашей страсти — в последний раз. Задыхаясь, подрыхлил землю, с искаженным от боли лицом, слабея. Положил мотыгу и упал в траву, силясь вдохнуть. Я должна была помочь ему, именно сейчас. Взяла мотыгу, рыхлила, полола — все сорняки нужно убрать, вырвать, уничтожить все корни, изгнать захватчика из нашего рая, из тела моего любимого. Мотыга ворвалась в его легкие, в сердце — все вон. Я замахнулась, чтобы освободить его. Он принадлежит мне одной, я долж-

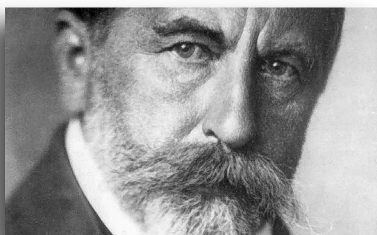
на защитить его от соперника, который настолько стал с моим мужчиной единым целым, что я могу избавиться только от них обоих, а точнее, от нас троих вместе. Глаза закатились, его последний взгляд предназначен не мне. Он бредет по клубничным грядкам к вишневому дереву. Его шатает, как будто он засыпает на ходу, потом падает в траву по колено, про которую он утром, когда я принесла в постель чай, бормотал, запинаясь, что скосит ее, сегодня наконец снова встанет и скосит, выполет. Я чувствую у своего уха его дыхание. Стебли склоняются, луг смыкает над ним зеленые волны. Я чувствую, как его грудная клетка поднимается и опускается, и поднимается. Вижу сквозь густую зелень, как его футболка теряет цвет. Из ткани вытекает светлый сок, проливается на землю, привлекает муравьев и мокриц. Свеча во мне горит в последний раз, вот лежит Леонард, такой тихий и манящий. Наконец он мой, все его тело только мое. Я ощупываю рубчатый хлопок его джинсов — спичка в кармане — меня бросает в жар, я бегу к домику, тороплюсь. Свеча, дерево, дом — все охватывает огонь, я ловлю его, добираюсь до цели, я парю, я лечу в его распахнутые руки. Сок с шипением вскипает. Пламя уже лижет пальцы его ног. В кроне вишни жалуется дрозд. Мои пальцы с красным маникюром цепляются за волосы Леонарда, я склоняюсь и слизываю сок с его губ, целую, а из его рта капает кровь.

Пламя пожирает газон, оставляя за собой дорожку стерни. Перекидывается на вишню — листья, шурша, взмывают друг за другом ввысь, как клочья сажи. Сучья трещат и раскалываются. Вишни падают, лопаются, смешиваясь с кровью. Мне становится дурно. Парк приходит в движение. Все кружится, в горячем воздухе дрожит живая изгородь, качается люпин, летит через дорожку дрозд. Я роняю голову любимого в траву. С меня капает, я иду, я бегу, как в замедленных кинокадрах. Мои ноги увязают в земле. Я пылаю, нужно выбираться. Я бегу и бегу. Нужно взлететь, загребая воздух руками. Я вижу мои ноги над опаленной травой, они ныряют в тень. Подлетаю к темной кленовой аллее, которая расступается, как колышущийся тоннель. Мои ступни тянутся со скоростью улитки. Я залипаю в землянике. Я бегу к аллее. Пламя торит мне путь. Потом клены по обеим сторонам дорожки снова сходятся, склоняют ветви, будто хотят накрыть меня своей листвой, втянуть меня в свой огненный тоннель. Листья, как руки, пытаются схватить меня. Кроны отбрасывают красные тени, расплываются, превращаясь в купола парашютов. Я должна их догнать. Неопаленные, они летят через сад, поднимаясь. Я, должно быть, вдохнула их — за мной остается белый след, похожий на Млечный Путь, след от самолета, моя тень сдувает прочь все яркие цветные пятна впереди, клены справа и слева отворачивают свои обожженные ветки в сторону, освобождают мне дорогу.

Я лягу возле него в глубокую траву, примостив голову ему на колени. Он мой, только мой. Буду лежать тут с измазанными губами, распущенными волосами, набухшими жилами. Нас будут гримировать? Счищать копоть? Ломать застывшие в трупном окоченении пальцы, чтобы сложить их вместе? Нас будут выставлять, фотографировать, мумифицировать? Холодные и тихие, мы будем лежать в холодильной камере, каждый на своем металлическом поддоне. Надеюсь, они не станут делать вскрытие. Надеюсь, не станут продавать органы. Сердце, глаза — все вырезать, красть и загонять — так, что мы в молитве преклоним колени над нашими разграбленными телами. Держась за руки, будем слизывать земляничный сок с восковых губ.

Я выворачиваю себе на голову пластиковый пакет с компостом — на глаза, на уши — среди червей и мокриц, перегнивающих земляничных кустов, вишневых косточек и сорняков я буду ждать лучших времен.

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.



АРТУР ШНИЦЛЕР

Я

До этого дня он был абсолютно нормальным человеком.

В семь утра вставал, стараясь не шуметь, чтобы не мешать жене, которая любила поспать подольше, выпивал чашку кофе, целовал в лоб восьмилетнего сына, собирающегося в школу, и, шутливо вздыхая, напоминал шестилетней Мари: «Да, в следующем году наступит и твоя очередь». Пока он общался с детьми, обычно входила жена, завязывался ничего не значащий разговор, порой очень даже приятный и всегда спокойный, потому что это был благополучный брак, без недопонимания и недовольства, и супругам не в чем было друг друга упрекнуть. В час он приходил с работы домой, не особенно уставший, потому что его обязанности не были слишком утомительными и ответственными — он был начальником отдела в универмаге среднего звена на Вэрингерштрассе. Затем следовал простой, вкусный обед, дети сидели тут же, послушные и милые, мальчик рассказывал об учебе, мать — о прогулке с малышкой и о том, как они встретили старшего из школы, а отец — о всяческих незначительных событиях из жизни универмага: говорил о новых поступлениях из Брно, отмечал отсутствие рвения у шефа, который обычно появлялся только к двенадцати, рассказывал о каком-нибудь примечательном клиенте — элегантном господине, бог знает каким образом очутившимся у них на окраине, который вел себя поначалу высокомерно, а потом восхищался каким-то галстуком, замечал, что госпожа Элли завела нового ухажера, хотя ему и нет до этого дела — она была продавщицей в отделе дамской обуви.

Потом он ложился на полчасика, просматривал газету, в полтретьего возвращался на рабочее место: предстояло много дел, особенно с четырех до шести, посвящал себя полностью клиентам; дома все шло привычным путем, жена уходила с детьми гулять или заходила в гости замужняя свояченица или теща — иногда он заставал их дома.

Около восьми ужинали, дети были уже в постели. Каждую вторую субботу ходили в театр — третий ярус, третий или четвертый ряд, он предпочитал оперетту, хотя иногда смотрели и что-нибудь серьезное — классическую пьесу или сатиру, вечер обычно заканчивали в скромном ресторане. Дети оставались под надежным присмотром госпожи Вильхайм, бездетной жены доктора с первого этажа, — ей было в радость провести с ними вечер, пока не придут родители.

Также и в этот день, в субботу, накануне Троицы, они были в театре, затем чета Хубер поужинала в ресторане маленькой гостиницы, а когда отправились в кровать, супруг был в таком игривом настроении, что Анна усомнилась, не перепутал ли он ее случайно с госпожой Константин, которая сегодня играла главную роль и особенно ему понравилась.

На следующее утро он собрался по своей воскресной привычке на небольшую прогулку, поехал на трамвае в Зиверинг, поднялся на гору Драймаркштайн, где встретил своего хорошего знакомого, остановился поболтать о погоде, затем спустился до Нойвальдэг. Он перешел через мостик, как делал уже сотню раз до

этого дня, здесь раскинулся большой луг с живописной группой деревьев, которые он, бог знает сколько раз видел, и его взгляд упал на грубую деревянную дощечку, прибитую к одному из стволов, на которой большими черными буквами, словно детской рукой, было написано слово «парк». Раньше он этой таблички не видел. Она бросилась в глаза, но он сразу подумал, что табличка здесь была всегда: видно по ее старой поверхности. Да, естественно, это был парк, никто не мог бы усомниться, Шварценбергский парк, частная собственность богемского княжеского рода, уже многие десятилетия открытая для широкой публики. Но на табличке стояло не «Шварценбергский парк» или «частная собственность», а, странным образом, просто «парк». Хотя было прекрасно видно, что это парк, — кто бы сомневался. Он не особенно отличался от окрестностей, не был огражден, не имел отдельного входа, не подчинялся каким-либо особым законам, это были просто лесок и луг, и дорожки, и скамьи — в любом случае казалось совершенно излишним вешать здесь дощечку со словом «парк».

Наверняка на это была причина. Может быть, были люди не совсем уверенные в том, что это парк. Возможно, они считали, что это обыкновенный лес на краю луга, как лес и луга, где он только что гулял. Им необходимо было напомнить, что это парк. Прекрасный парк, собственно говоря, великолепный, может быть, кто-то принял бы его за рай, если бы не табличка. Ха-ха, рай. В таком случае кто-нибудь и вести себя мог бы соответственно: сбросить одежду, чем вызвать общественное недовольство. Откуда мне знать, сказал бы он полицейскому, что это всего лишь парк, а не рай. Теперь такое не могло произойти. Это было в высшей степени благоразумно, повесить такую вывеску. Мимо него прошли мужчина и женщина, немолодая солидная пара, и он засмеялся так громко, что те посмотрели испуганно.

Было еще рано, и он сел на скамейку. Да, это была совершенно определенно она, хотя и не было написано, что это скамейка, и пруд напротив, хорошо знакомый, был действительно пруд, или маленькое озеро, или море, да, все зависит от того, кто смотрит: для мухи-однодневки это было, вероятно, все-таки море. Вот для таких мух и нужно повесить табличку: «пруд». Но для мухи это как раз был никакой не пруд, к тому же они не умеют читать. Вот летает одна над головой. Полдень, и ей полдня от роду, то есть пятьдесят лет... относительно, ведь вечером она уже умрет. Может быть, она как раз празднует свой пятидесятый день рождения. А остальные маленькие мушки, кружащие вокруг, явились ее поздравить. Торжество, на котором он оказался случайным гостем. Ему показалось, что он сидит здесь уже очень долго, посмотрел на часы. Прошло всего три минуты, да, это точно часы, пусть на крышке и не выгравировано, что это они. Но, возможно, все это сон. Тогда это никакие не часы, тогда он лежит в постели и спит, и муха-однодневка тоже только сон.

Мимо прошли два парня. Они смеялись над ним? Над его глупыми мыслями? Но они же ничего не могут о них знать. Но в этом он был совсем не уверен. Существуют же телепаты. Очень возможно, что этот молодой человек в роговых очках точно знал, что сейчас творится у него в голове, и смеялся именно над этим. Вопрос только в том, имел ли он на то основания, этот юнец в роговых очках? Ведь если все сон, то и смех тоже.

Во внезапном порыве он наступил себе одной ногой на другую и, чтоб уже наверняка, схватился за нос. Он чувствовал все совершенно определенно, что расценил как доказательство собственного бодрствования. Правда, не особенно убедительное: ведь, в конце концов, и нога, и нос тоже могут присниться. Решил все же удовлетвориться доказательством.

Отправился домой — в час его ждали к обеду. Чувствовал себя по-особенному легко, прямо-таки летел, парил, не только фигурально. Всякий раз была доля секунды, когда его ступни не касались земли.

Сел в трамвай. Тот мчался еще быстрее, чем он, все-таки электрическая сила — великая загадка. Было полвторого. Теперь муха празднует свой пятьдесят пятый день рождения. Дома проносились мимо. Так, здесь он должен сделать пересадку. Он точно знал, что должен здесь пересесть. Очень странно все это знать. А что если бы он вдруг забыл, что живет в Андреас-переулке? Андреас-переулок, четырнадцать, второй этаж, квартира двенадцать. Определенно. Как все помещается в мозгу? Он помнил, что завтра в восемь должен быть на работе. Видел перед собой галстуки — весь ассортимент. Вот красно-синий в полоску, вот в крапинку, вот желтоватая гамма. Видел их все, а также вывеску над отделом, на которой стояло: «галстуки», хотя, конечно же, каждый знал, что это галстуки. Вполне нормально, что там на дереве висела та табличка «парк». Ведь не все люди так находчивы и проницательны, как он, чтобы знать без подсказки, что это парк, а это галстук.

Он стоял перед дверью в свою квартиру. Даже не заметил ни как покинул трамвай, ни как шагал по переулку, ни как вошел в ворота и поднялся по лестнице. Может, и залетел. Сели за стол. Вот супница, вот тарелки, ложка, вилка, нож. Он знал это совершенно точно. Не было нужды подписывать названия. Он пристально рассматривал каждый предмет. Все молчали. И он рассказал о мухе-однодневке, которая праздновала свой день рождения. Муха собрала целую ассамблею. Слово трепетало в воздухе. Ни разу в жизни не произносил этого слова. Откуда оно пришло? Куда улетучится?

После обеда он не мог заснуть. Лежал на диване в столовой, один. Взял свою записную книжку — это была именно записная книжка, а не письмо или портсигар — и написал «сервант», на другой странице — «шкаф», на следующей — «кровать», еще на одной — «кресло». Затем он закрепил эти листки на серванте, шкафу, пробрался в спальню, где дремала после обеда его жена, и булавкой приколол листок на кровать, тихонько вышел, пока жена не проснулась. Потом спустился в кофейню, сел читать газету, вернее, пытался это делать. Печатный текст перед глазами приводил его в замешательство и успокаивал одновременно. Там были названия и определения, не подлежащие сомнению. Но вещи, к которым они относились, были бесконечно далеки. И так странно было осознавать, что существует связь между напечатанным словом, например, «театр в Йозефштадте», и домом, стоящим где-то далеко отсюда, на другой улице. Он читал имена актеров. Например, адвокат Дюбоне — господин Майер. Этого Дюбоне, что было самое странное, вовсе не существовало. Его кто-то выдумал, но в газете стояло его имя. Господин же Майер, который играл Дюбоне, существовал в действительности. Вполне вероятно, что он даже мог неоднократно встречать этого господина Майера на улице, не подозревая, кто это. Тот ведь не выходит прогуляться с визитной карточкой на груди. Ежедневно встречает он сотни людей, даже не предполагая, откуда они, куда направляются, как их зовут, кого из них за углом хватит удар. На следующий день напечатают в газете, что господин Мюллер, или как там его, скончался, а он, господин Хубер, даже не будет подозревать, что за пять минут до смерти встречал его на своем пути. Землетрясение в Сан-Франциско. Тоже здесь, в газете. Но кроме этого землетрясения, описанного в статье, было другое — настоящее, которое произошло на самом деле. Взгляд упал на раздел объявлений и уведомлений. Попадались известные коммерческие марки. При чтении объявлений ему представлялось конкретное здание, в котором располагалась та или

иная фирма. Другие же не вызывали никаких ассоциаций, оставаясь просто набором печатных букв.

Он поднял глаза. За кассой сидела госпожа Магдалена. Да, так ее звали. Это было несколько необычное имя для кассирши кафе. Он слышал его только из уст кельнера. Сам никогда к ней не обращался. Вот она сидит, немного полновата, уже немолода, постоянно занята. Ему никогда не было до нее дела. И вдруг теперь, просто потому, что на нее случайно упал взгляд, она затмила всех. В кофейне было довольно много народа, по крайней мере, шестьдесят, восемьдесят, а то и сто человек. Он знал имена максимум двоих-троих. Непостижимо, как эта равнодушная кассирша внезапно стала самой важной персоной. Просто потому, что он на нее посмотрел. О других он не знал ничего, они были лишь тени. Даже его жена, дети превратились сейчас в ничто в сравнении с госпожой Магдаленой. Вот только вопрос: что за этикетку нужно на нее наклеить? Магдалена? Госпожа Магдалена? Или кассирша? Ясно одно: пока не найдется точное определение, домой он не уйдет. Успокаивало лишь то, что где-то на дереве висит деревянная дощечка, на которой написано «парк». Вся местность, по которой он сегодня бродил, исчезла, словно за занавесом. Он больше не существовал. Вспоминая ту табличку, он вздыхал с облегчением.

Тем временем он допил свой черный кофе, официант убрал чашку с блюдцем, белая мраморная столешница лежала перед ним голая. Непроизвольно достал карандаш и написал большими буквами: «стол», отчего тоже почувствовал облегчение. Но это капля в море, сколько еще предстоит?

Когда он вернулся домой, все листки, которые он наклеил на различные предметы, были убраны. Жена спросила, что это он выдумал. Он почувствовал, что ее пока посвящать нельзя, и ответил, что это была шутка. Но все-таки довольно полезная шутка, правда ведь? Нужно вовремя учить детей, как называются те или иные вещи, люди. В мире такая путаница. Никто уже не ориентируется.

Вечером пришли в гости теща и замужняя свояченица. Пока пили кофе, он воспользовался возможностью: написал на листках «теща» и «свояченица» и прикрепил на пальто. Они ушли, ничего не заметив.

На следующее утро такими же этикетками снабдил одежду сына и дочери.

На работе он зашел к шефу с предложением повсюду разместить карточки с названиями, например, на галстуки, причем отмечать необходимо даже цвет. Серый галстук, красный — встречаются же и дальтоники. Также настоятельно рекомендовал подписать каждую продавщицу.

Вернувшись домой, он, возмущенный, обнаружил, что листков снова нет. Когда пришли дети, он нашел их этикетки на месте и немного успокоился.

Тем временем жена связалась с врачом. Когда тот приехал, господин Хубер вышел ему навстречу с табличкой на груди, на которой было крупно написано: «Я».

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.

ЙЕНС НИЛЬСЕН

Коллекция эпизодов

Греция

*Из моноспектакля «Все будет так,
как никто не рассчитывал»*

Я иду вдоль по улице
Мимо пансиона Ораниенбург
Кажется мне знакомым
Может быть здесь ночевал
Может быть что отмечал
На первом этаже пансиона ПИРСИНГ ОТКРЫТО
Справа фотостудия Мелисса с образцами в витрине
Я не верю людям на фото ни единому слову
Я не верю им ни единому взгляду
Я не верю им ни единому платью
Я не верю им ни единому волосу
Среди фотографий бросается в глаза фотоальбом
Темно-синий с беленым домом
Как на Эгейском побережье
Греция написано на нем золотым тиснением
Я вхожу в лавку
Добрый день
Я бы хотел купить фотоальбом Греция
Пожалуйста
Хозяйка снимает осторожно с витрины
Наверняка был хороший отпуск
Очень говорю я
Еще я хочу сфотографироваться
С удовольствием говорит она пожалуйста сюда
Я иду за ней
Вот здесь моя студия
Так а теперь пожалуйста туда на этот стул а это видите это камера а это освещение а это стул на котором мы сидим а это гирлянды а это задник или может быть хотите другой
Другой говорю я
Хорошо другой
Так а теперь пожалуйста на этот стул может быть вот так
Она смотрит на меня
Пятится к штативу
Смотрит на меня через видоискатель и поправляет камеру
Очень хорошо
А теперь может быть еще чуть больше вот так
Нет наверное у нас была рука чуть дальше
Хорошо
А теперь пожалуйста точка там на стене

Нет нет нет нет нет нет точка
Правильно
Очень хорошо
А теперь пожалуйста голову немного наклоните пожалуйста
Наклоните пожалуйста чуть-чуть
Будьте добры
Голову
Пожалуйста немного наклоните пожалуйста
Вы меня слышите
Я хотел сделать обычное фото говорю я
И мы все хотим того же мой дорогой
На снимке так получится лучше доверьтесь мне
Нет говорю я
О пожалуйста
Совсем чуть-чуть
Иначе я не буду удовлетворена результатом
Я тоже не буду удовлетворен
Но уважаемый вы же ничего не понимаете
Я очень хорошо понимаю
Ах ну давайте же
Нет
Но я настаиваю
Нет говорю я довольно громко и вскакиваю со стула
Но уважаемый
Я вам сейчас кое-что шепну
Моя многоуважаемая госпожа фотограф
Я держу голову прямо
Я хотел сфотографироваться
Таким какой я есть
Понимаете
Как сейчас
Как на документ
Традиционно
Никакого творчества
И пока еще эта голова стоит прямо
Не правда ли
Поэтому я держу ее прямо
Она смотрит на меня не понимая
Если вам надо наклоните свою камеру надвигаюсь я на нее
Тогда точно будет почти искусство
Сами наклонитесь глядя в видоискатель по мне так будет лучше
А теперь продайте мне альбом Алопеция
От фото я отказываюсь
На мгновение я теряю равновесие
Я загребаю руками гирлянды
Запутываюсь в них
Шатаюсь
Срываю их
Опрокидываю стул
Вываливаюсь из студии в лавку
Хозяйка следует за мной лепечет
Пожалуйста девять девяносто девять говорю я и сую в ее вялую руку банкноту в десять евро
И знаете что

Я вообще не был в Греции
И никогда не поеду в Грецию
Никогда никогда не поеду
Я поеду в Швецию в Швецию я поеду
А фотографии из Швеции я вставлю в этот альбом
Или нет говорю я
Вплотную лицом к ее лицу
Я сделаю совсем по-другому
Я все-таки поеду в Грецию
Но буду говорить по-шведски в Греции по-шведски
Закажу северную рыбу и хлебцы
Или еще лучше я поеду в Парагвай и вообще не буду снимать
И альбом останется пустым покроется пылью синева облупится как старый горизонт вот так
Или я буду фотографировать но только пустой альбом
Я буду фотографировать фотоальбом Греция немного наклонив его
И приглашу гостей
Смотрите мои дорогие скажу я
Это снимки из моего отпуска
Мой альбом Греция
На моем стуле
Под моими гирляндами
На фоне моего задника
И только позже
Очень очень очень очень поздно
Я подам ужин
Что же вы подадите спрашивает она тихо
Или нет я все-таки не буду снимать заорал я
Я поеду туда с альбомом
Да ха
Я поеду в Грецию с альбомом Греция
И я покажу альбому Греция Грецию
Я буду перебираться с острова на остров показывать альбому деревни и народные танцы
А по вечерам стоя на пляже Итаки буду медленно листать страницы чтобы они увидели закат а потом звезды
А потом захлопну его так-то
И пойду с альбомом домой
И этот альбом
Вы понимаете
Этот альбом
В мои последние ночи
Я буду класть вместо подушки
Вы можете понять
Мелисса
Я загнал ее в самый угол
Она вжалась между фотографий молодоженов на фоне искусственного ландшафта и смотрит на меня с ужасом
Цент сдачи говорит она и протягивает его мне
Оставьте себе говорю я
В качестве бонуса
Я беру альбом под мышку
Выхожу на улицу
И смешиваюсь с толпой

Пирсинг

Минидрама для школьного театра

Действующие лица:
ОН — рассказчик
ОНА — мастер пирсинга

Весенний вечер

ОН Я иду вдоль по улице
Мимо пансиона Ораниенбург
Кажется мне знакомым
Был здесь когда-то
Нет
На первом этаже пансиона ПИРСИНГ ОТКРЫТО
Я обращаю внимание на женщину там внутри
Какая она
Я просто должен сказать ей
Я вхожу
Добрый день я хотел бы
Я хотел бы
ОНА Что
ОН Пирсинг
Купить
Приобрести
Я имею в виду сделать
ОНА Значит вы попали по адресу
ОН Чудесно
ОНА Какой вы хотели бы пирсинг
ОН Я хотел бы пирсинг с отверстием
ОНА С каким отверстием
Пирсинг всегда с отверстием
ОН Именно
Вот такой пирсинг я и хотел бы
ОНА Да логично
Только где бы вы хотели пирсинг
ОН Ах да
Через живот пожалуйста
ОНА Вы имеете в виду пупок
Такой

она показывает ему пирсинг на своем пупке

ОН Нет
То есть да на пупке
Но я хотел бы пирсинг на пупке через живот насквозь
Через спину

он показывает место у нее на спине

ОНА Эй лапы прочь
ОН Извиняюсь

он показывает место у себя на спине

ОН Вот так
Отсюда досюда
ОНА Вы издеваетесь
ОН Нет
Почему
ОНА Так не пойдет
ОН Что не пойдет
ОНА Пирсинг через живот не пойдет
Там органы
Важные
ОН Вы не можете проколоть между органами
ОНА Нет
Даже если бы могла
Ничего не выйдет
Будет дыра в животе
Вы не понимаете
Нельзя так просто взять длинную иголку и проколоть живот
Вы умрете от кровотечения
Или от сепсиса
ОН Понимаю
ОНА Ну так что
Ты же не хочешь окочуриться или
ОН Мы уже на ты
ОНА Я да
ОН Я нет
ОНА Чудак

короткое молчание

ОН С другой стороны
Я спрашиваю себя
Почему вы не умерли от кровотечения
У вас же пирсинг по всему телу
ОНА Да но только через кожу
ОН Кожа ведь тоже орган
Она тоже необходима
А у вас штук сто
ОНА Ты действительно тяжело соображаешь
ОН Да это
Что-то
Врожденное
ОНА Так так
ОН Да
У нас была плохая акушерка
Думаю она была
Я не знаю
Но есть люди которые еще тяжелее
Я имею в виду соображают
Есть еще тяжелее ясное дело
А есть и легче
Можно спросить сколько вы весите
Нет извините
Я не хотел
Меня не касается
Я уверен вы в полном порядке

Н-да
Мы совсем отклонились от темы
ОНА Так ты хочешь пирсинг или нет
ОН Да
ОНА Хорошо
Пожалуйста
Но не сквозь живот
Сделай для начала сквозь ноздрю
Смотри приятно же на ощупь

она позволяет потрогать ее нос

ОН Ну хорошо
Для начала
ОНА Все ясно
Садись сюда

он садится
она готовится

ОНА Теперь сидеть тихо
ОН Ауа
ОНА Я еще вообще ничего не делала
ОН Да
ОНА Ты такой изнеженный
ОН Нет
Я закаленный
ОНА Так так
ОН Только
ОНА Что
ОН Ожидание боли
Это психика
ОНА Не будет никакой боли
Маленький укол ты же сможешь выдержать

она собирается начать
но

ОН Мне нравится ваш пирсинг
ОНА Мне тоже
ОН Я просто хотел еще сказать
Перед тем как я может быть умру
ОНА Здесь никто не умирает
ОН Здесь может быть нет но потом
Во всяком случае ваш пирсинг
Особенно вот этот
И этот мне нравится
ОНА Спасибо
Сама делала
ОН Ясно
Вы должно быть очень отважная
ОНА Сидеть тихо

на мгновение он замирает

ОН Ах вот что я еще хотел спросить
ОНА Что же
ОН Я могу оставить себе мясо
ОНА Какое мясо
ОН Кусочек мяса
Который вы мне удалите
Как говорится
Вырежете
ОНА Слушай пирсинг ноздри не проходит через мясо
Только через кожу
Ты вообще не слушаешь
И я не режу я прокалываю
ОН Тогда хорошо
Кусочек кожи
Который вы мне выколите
Я бы хотел
Все-таки это часть меня
И я хочу ее забрать
На память
На стенку повесить или так
ОНА Но я ничего не выкалываю
Все будет на месте
Только маленькая дырочка
Кожа просто расступится
ОН Жаль
Я уже как-то радовался в предвкушении этого кусочка
Пускай даже и кожи
Но если ничего не будет
ОНА Можно я начну
ОН Да пожалуйста
Только осторожно

она хочет наконец начать
но

ОН Кровь все-таки будет или
ОНА Да мужик
Немного
ОН Тогда я бы хотел по крайней мере оставить себе кровь
Как сувенир
ОНА Конечно
Не проблема
Я подержу у твоего носика ватку
И потом ты сможешь забрать ее домой если захочешь
На стенку повесишь или вклеишь в альбом
ОН Чудесно
ОНА Ты такой фетишист
ОН Что еще в этом мире достойно сохранения
ОНА Что ты делаешь по жизни собственно говоря
ОН Ох
То да се
ОНА Хобби нет
ОН Ну почему
ОНА Разговорчивый ты

Прямо как водопад
А теперь сиди тихо

она пытается в последний раз

ОН Вы
ОНА Что еще
ОН Я не хочу пирсинг
ОНА Что
ОН Я передумал
Мое желание
Совершенно неожиданно
Внутренне изменилось
Если совсем честно
Я не собирался с самого начала
ОНА Господи как ты действуешь на нервы
ОН Я бы хотел лучше
Выпить кофе или вина
В смысле с вами
ОНА Ну так и надо было сказать
ОН Я и говорю
ОНА Да действительно
Ну поцелуй меня тогда
ОН Да я хочу вас уже давно
Но вы постоянно разговариваете
ОНА Я постоянно разговариваю
Ну это вышка

короткое молчание
он целует ее
ее пирсинг на языке щекочет его
но приятно
она откидывает табличку
ПИРСИНГ теперь ЗАКРЫТО
с отверстиями хэппи-энд

Из коллекции эпизодов ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Заблуждение № 8

Был когда-то один
Да нет же
Он жив и сейчас
Итак есть один человек
У него проблема
Когда возвращается домой
Сложности у него
Он попадает не туда
Он работает по ночам
И когда он наконец-то утром приходит домой
Его дом оказывается слишком маленьким
Пропорционально все выглядит нормально

Но все строение не больше чем собачья будка
Он стоит перед ним
И край крыши достигает высоты его бедра
Я не войду внутрь думает он
Он прав
Он может только оставаясь снаружи
Через окна
Которые позволяют заглянуть с веранды в гостиную
При этом ему приходится встать на колени
Одной рукой он опирается на цветочную клумбу
Другой на гараж
Его стены крошатся
Наклонив голову набок
Он смотрит в гостиную
В собственную гостиную
Как она выглядит думает он
Эта мебель
Гардины
Зачем гардины
Я имею в виду зачем
Гардины как галстуки
Они просто висят здесь
Моя жена все обустроила
Мои вещи в подвале
Мое упрямство
Все убрано и заперто
Его жена лежит на диване
Она читает
Дети играют на ковре перед ней
Их одежда совсем новая
По сезону с головы до ног
Какие же они все маленькие
Они позавтракали без меня
Хотя я же говорил что приду
Привет
Но они не слышат его
Они его не видят
Как это
Думает он
Я же такой большой
Так он все смотрит в свой дом
Пока от неловкого положения не начинают бегать по ногам мурашки
Он перемещает центр тяжести
От этого рушится гараж
Машина его жены расплющена
Но шума никто не слышит
Он поднимается и оглядывается вокруг
Его дом стоит на легком возвышении на поляне
Вокруг лес
Он сбит с толку
Это вовсе не в моем стиле жить в лесу
Думает он
Я живу скорее в
Где-либо в другом месте
Но мой дом

В лесу
Лес невысокий
Он обращает внимание
Кроны деревьев едва достигают плеч
Итак я живу в невысоком лесу
Думает он
Это что-то значит
А для меня нет места в собственном доме
И никаких соседей
Почему я не построил большой дом
Зачем я иду домой если все слишком мало
Почему я женился на такой маленькой женщине
А дети
Как нарисованные
Я мог бы их оставить
Приходит ему в голову
Я мог бы все бросить и уйти
Он делает несколько шагов
Сплошной лес насколько можно видеть
При каждом его движении деревья ломаются
Он вырывает парочку чтобы освободить немного места
И вот стоит там в своем лесу
Теперь минуточку
Думает он
Что это значит
Мой лес
Да нет же
И все-таки так и есть
Весь лес принадлежит ему
И он стоит в этом лесу
Голова прямо над верхушками деревьев
Вместе они выглядят как плоскость
Дом поблизости
Его жена открыла окна
Она стоит на веранде
Дети кувыркаются на лужайке
Она кричит им что-то
Этот голос
Это не голос
Это писк
И отпечатки моих коленей на лужайке
Ее вовсе не удивляют
Огромные вмятины
Она не видит в упор испорченных клумб
Разрушенного гаража
Меня тоже ничто не выводит из равновесия
Мне бы нужно заявление на развод
Дети пусть остаются с ней
Мне не нужны дети которые меня не видят
А когда они вырастут
Но они не вырастут
Даже через сто лет
Я произвел на свет игрушечных
Моя жена похудела так похудела
Куда все подевалось

Так он стоит
Оглядывается
Размышляет
Целый день до вечера
Потом собирается и
Да

Из коллекции эпизодов ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Заблуждение № 1

Ко мне никогда никто не заходит
Жаль
Но почему бы и нет собственно говоря
Вероятно это из-за того
Что я живу не на первом этаже
Нужно подниматься по лестнице
Во-вторых план моей квартиры
Он неточен
Комнаты на самом деле не прямоугольные
Они ромбовидные
Немного
Но это подсознательно воспринимается как помеха
Вызывает смутный дискомфорт
А кроме того
Может быть потому что я не открываю когда звонят
Никогда не знаешь кто там за дверью
Но бывают и другие причины
Порой идет проливной дождь например
Порой происходит несчастный случай
И посетитель чего доброго вынудит вмешаться в происходящее
Конечно я не ожидаю дни напролет такого несчастливого визита
С другой стороны
Иногда все-таки кто-то до меня добирается
Звонит
И я даже открываю
Я ведь тоже делаю исключения
И вот он стоит
Красивый импозантный гость
С улыбкой
С подарком
Подобающе одет
И я уже собираюсь пригласить его
Войти
Как дела
Прекрасно что наконец получилось
И что за наряд
Как вдруг в последний момент я вижу
У него что-то не так
Или нога
Что-то с ногой
Или блохи
И я не впускаю его

Я придумываю отговорку
И закрываю дверь
Бум перед носом
Возможно это плохо
Что я могу сказать
Но у меня есть и хорошие стороны
Еще срабатывают некие невероятные факторы
Тогда я вообще ничего не могу поделать
Землетрясение земля засыпает посетителя
Я знаю несколько таких погребенных
Они не придут
Даже если я письменно
Я уже отсылал приглашения
Такие карточки
Продуманно и тщательно разработанные
С подписью от руки
Уважаемый
Я был бы очень рад
Вас наконец
Сердечно
Искренне ваш
Но даже самое распрекрасное приглашение не переубедит погребенного
Жизнь полна необратимостей
Разве это не причина

Перевод с немецкого Юлии САВРИЦКОЙ.

ЛИ ЦЗО

И имя этой пытке — ностальгия...

Поэту — носителю языка гораздо проще переводить с иностранного на свой собственный, это понятно. Чем Ли Цзо, китайский поэт и каллиграф, с успехом занимается. Вместе с тем он дерзко пытается переводить стихи своих соотечественников и свои собственные на русский. Знает он его довольно хорошо, но все же недостаточно, чтобы обойтись без помощи редактора. В этом случае фактически от редактора, от его добросовестности и деликатности зависит, каким предстанет иностранный автор перед читателем: беспомощным, вызывающим недоумение или раскрывшим часть своего дарования. Полной картины мы все равно не увидим. Тем более, что в китайской поэзии все иначе. Например, как при переводе передать характерное чередование тонов? На европейских языках это невозможно. Мне довелось редактировать стихи Ли Цзо для документального короткометражного фильма «Лицо», который сняла моя дочь. Они были представлены в виде верлибра и хорошо воспринимались на слух. Но в напечатанном виде многое терялось: голый смысл, будто ветка с осыпавшимися цветами и облетевшей листвой. И тогда мне пришло в голову: «А не попробовать ли перевести его стихи в «нашем» духе»? То, что Ли Цзо поэт талантливый и глубокий, — для меня очевидно. Если в небольшой подборке мне удалось это показать, я считаю свою задачу выполненной.

Татьяна ШПАРТОВА

Увядающая роза

Роза, что была так свежа, увядает,
никнет головкой,
будто плачет тихонько.
Горько от бесповоротности жизни...
Молодость сходит румянцем с лица,
на глазах отцветая,
выветрив свой аромат,
потеряв красоту.
Душу мне немою печалью сковало
от осознанья, что и всесильной любви
не дано удержать красоты мимолетность —
лишь только образ ее
воображеньем дано оживить.

Старая песня

Это очень-очень старая песня,
В ней поется о тебе и обо мне, только прежних,
Когда муза летала, будто луч света, вокруг меня...

Слезы неожиданно навернулись,
Воспоминание обожгло
И платком перекрывает дыхание.
Перед глазами жена тихо дремлет,
Милый сын уже вырос и выше меня.
Только это старая мелодия возвращает
в мои прежние сны,
где я остался молодым навсегда...

Ностальгия

Я вижу иногда в кошмарном сне,
Что не судьба туда вернуться мне,
Что даже память с корнем вырвана...
Я горечь пью, и все не вижу дна,
И слезы не могу унять мужские,
И имя этой пытке — ностальгия.
В грядущем ли черты твои видны?
Я вдаль гляжу, но вижу только дым...
Сквозь жизнь иду одной дорогой я —
К тебе, единственная, Родина моя.

Морская волна

Душа моя —
волна морская,
которую вперед стремит любовь,

сверкает
на волнующейся шири —
так, синим пламенем
моя пылает кровь!

Передо мною лик
скалы темнеет.

Я знаю,
мне ее не одолеть,

но я несусь туда —
схлестнуться с нею,

как будто только в этом
смысл и есть.

И что мне в том,
что в брызги разобьюсь —

их шумный смех
услышан будет пусть.

Слагают волны
вольные стихи —

они поют,
они искрятся пеной

и славят юность
вечную свою

мелодией
любви
благословенной.

Одуванчик

(дню моего рождения посвящается)

В мире великом герой безымянный,
В гору стремящийся за небокрай,

Терпишь ты стужу зимы окаянной,
В поле раздольном встречаешь свой май.

Будто из сердца земли твой росточек —
Чистой росой напоен поутру,

Маленький тянется к солнцу цветочек
В танце веселом на легком ветру.

В осень свою, сединой убеленный,
Ты не теряешь земной красоты

И, вдохновеньем ветров окрыленный,
Дерзко стремишься достичь высоты.

Ангелом странствий, судьбе угождая,
Выполни предназначенье сполна.

В дали неведомой, у небокрая,
Новая ждать тебя будет весна.

Перевод с китайского автора,
Татьяны ШПАРТОВОЙ.

ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

*Романтика советской науки**

Глава 4

Космическое и земное, физическое и духовное в мифах о Потопе

Эсхатология — знамение времени?

В 1950—1960-е годы в СССР апокалиптические проблемы в популярных изданиях, а тем более в серьезной науке, не поднимались. Страна жила лучезарным, как считалось, будущим, о нем грезила, в него устремлялась, ради него упорно трудилась и немало терпела лишений. О географическо-исторической теории катастрофизма нам, школьникам, учителя говорили вскользь и, безусловно, с осуждением. Марксизм проложил четкий и строго линейный путь исторического развития человечества: от дикости — к варварству, от варварства — к цивилизации. Никаких остановок в пути, никакого регресса. Все ясно, логично, конструктивно красиво. Нам какое-то время было уютно внутри этой стройной теории. Более того, сейчас я думаю, что она принесла несомненную пользу: утвердив формулу прогресса, гармонизировала наши, еще неокрепшие, куцые, слабенькие, мозги. Марксизм — далеко не самая худшая из методологий.

Однако по мере усложнения общества и все большего нарастания в нем всяческих противоречий стали овладевать сознанием молодежи и интеллигенции крамольные и пессимистические мысли, а в печать проникать непривычная и часто шокирующая информация. Не знаю, строились ли странные для советских людей умозаключения, так сказать, натурально и органично, или же были подброшены, как многие другие идеи, экономические, нравственные, эстетические, извне. Могло быть и то, и то. Шла все же холодная война. А на войне естественны мысли об уничтожении и смерти.

Вообще, с глубокой древности люди заметили временность, скоротечность, конечность существования, прежде всего — самих себя, а также всего окружающего: растений, животных, предметов культуры и т. д. Шла ли речь о судьбе человека или о смене времен года, дня и ночи, поколений людей — всегда наш предок, который отличался острым умом, искал причины и скрытый смысл происходящего. Именно из потребности понять окружающий мир и ответить на вопрос о происхождении вещей и явлений и их исчезновении возникли представления людей о судьбах мироздания и своей собственной участи. Позднее подобные вопросы стали предметом раздумий древних мудрецов, положивших начало специальной науке, названной *эсхатологией*, то есть науке о конце света. Эсхатология имеет дело с представлениями о конечных судьбах мира и людей, самых последних

* Продолжение. Начало в № 12, 2013 и №№1, 3, 2014 г.

событиях, в том числе и о тех, которые произойдут после конца реального, нашего мира, в мире ином — потустороннем.

Эсхатологические проблемы — всеобщи, касаются всех людей в целом и конкретного человека в отдельности, поскольку все люди рано или поздно переходят из бытия в небытие, и вряд ли кого это не страшит своей неумолимостью и неизведанностью.

На каком-то этапе истории возникло осознание всем человечеством себя как качественной определенности, которая может быть когда-нибудь уничтожена. Разумеется, допущение о возможности вселенской катастрофы не было однозначным и простым, а базировалось на предпосылках гибели отдельного рода или племени. Память о катастрофах сохраняли мифы, легенды и героический эпос разных народов. Видимо, в этих мифах и литературных произведениях мы имеем дело с событиями прошлого, окрашенного различными прибавлениями и напластованиями, с одной стороны, и с перенесением сделанных обобщений и выводов о событии прошлого на будущее, то есть экстраполяцией прошлого в будущее, — с другой.

«Большой энциклопедический словарь» относительно направления философской мысли — эсхатологии — пишет: «Впервые эсхатология получила оформление как стройная система представлений в миссионерской деятельности иудейских пророков. Их пророчества о грядущих исторических событиях должны были иметь значимость для целых регионов. История при этом осмысливалась как имеющая конкретную цель, начертанную ей Богом. Христианство наследовало от ветхозаветных пророков мировую эсхатологию — учение о «*новом небе и новой земле*». Однако больший уклон в христианстве делается на индивидуальную эсхатологию: после конца истории праведники воскреснут для вечной жизни, а грешники — для вечной смерти... *Во многих христианских учениях (адвентисты, пятидесятники, баптисты) эсхатология является стержневой основой всего вероучения* [подчеркнуто мною. — **Т. Ш.**]. К таким эсхатологическим представлениям можно отнести веру в скорое пришествие Христа и наступление на земле тысячелетнего царства, а также веру в Армагеддон — последнюю битву между Христом и сатаной».

Среди различных мифов о сотворении и гибели мира наиболее широкое распространение получил цикл мифов о Всемирном потопе, позволяющий *проанализировать архаические структуры мышления и реконструировать реальные события прошлого.* «Потоп» в данном случае выступает обобщающим понятием всех мыслимых катаклизмов, которые происходили или могут происходить в будущем.

Представления о катастрофах в истории Земли формировались в сознании нас, молодых, очень постепенно, впрочем, со временем убыстряя темп. Я уже писала в предыдущих публикациях, что понятие «железный занавес» не нужно понимать во всем буквально, это — как некий лингвистический код, затуманивающий мозги обывателей, блокирующий возможности интеллектуального анализа. На самом деле, советские люди были в курсе всех мировых событий в искусстве, науке и технике (очень информативными, например, являлись еженедельник «За рубежом» и старейший в России из научно-популярных журналов «Вокруг света»); многие советские специалисты работали в странах третьего мира; постоянно ездили за рубеж спортсмены, артисты, ученые и писатели. Они привозили идеи и новости культуры. Лучшие фильмы мирового кинематографа шли на советских экранах, регулярно гастролировали знаменитые зарубежные артисты. Я думаю, что советские молодые люди были даже более эрудированными, чем их сверстники на Западе — прежде всего потому, что в СССР существовал культ знаний и научного поиска. В целом потребность в информации, в том числе информации, альтернативной по отношению к официозной науке, в советской прессе *постепенно* все более удовлетворялась.

Воссоздавая сейчас ход событий относительно теории катастроф, я в первый информационный ряд, давший затем целое направление в научно-популярных СМИ, ставлю загадки Бермудского треугольника, о котором начали много писать еще в 1960-е годы — сначала на Западе, затем не менее активно и в СССР. Ведь с тайнами океана сталкивались и советские моряки — их рассказы оказались востребованы, в том числе, в печати. Например, охотно печатал воспоминания бывалых моряков и путешественников популярный ежегодный сборник «На суше и на море», издаваемый Всесоюзным Географическим обществом. От тайн Бермудского треугольника цепочка протянулась к затонувшей, как предполагалось, именно в тех местах Атлантиде. От нее — к потопам в истории Земли. Затем к катастрофам разного рода. Наконец, к будущему концу света.

Сюжет раскручивался последовательно, но все более интенсивно. Сегодня тема, под разными соусами, доминирует в средствах массовой информации. Например, 29 января 2014 года в очень рейтинговой телевизионной передаче «Секретные территории» по СТВ прозвучала мысль, что земляне являются пищей для инопланетян. Мысль не новая, не раз мудрые и сведущие люди, святые и пророки, высказывали соображения о человеческой душе как энергетической подпитке для неких враждебных невидимых сущностей. Эта идея характерна и для всего мирового фольклора. Но в данной передаче утверждалось о пожирании инопланетянами, которые в основном рептилоиды и только принимают вид людей, уже не только душ, но и тел землян. И все это сопровождалось глубокомысленными рассуждениями научных авторитетов, очень часто докторов наук и даже академиков, о значении белковой пищи. По-моему, журналисты их используют «вслепую», задавая будто бы невинные вопросы, а затем монтируя высказывания ученых по своему усмотрению, и специалисты-биологи даже не подозревают, в какого рода передачах будут фигурировать, какой бред комментировать своими учеными выкладками. Мракобесие, взявшее на вооружение серьезную науку, — знамение нашего времени.

В играх ума относительно инопланетян была сначала определенная занимательность — достаточно почитать книги Владимира Ажажи, признанного авторитета в этой области еще в советское время. Да и сейчас не может не вызвать уважения стремление честных исследователей разобраться во многих феноменах Земли и Неба, пусть даже увлеченные люди и допускают самые фантастические гипотезы. Но то, что все больше навязывается в СМИ, подобно упомянутой выше передаче, становится похоже на информационную диверсию, своего рода интеллектуальный терроризм. Встает только вопрос: с какой целью?

Периодичность катастроф в истории Земли

Слово «допотопный» было нам знакомо с раннего детства и несло семантику чего-то безумно архаического. Когда мы сегодня говорим «допотопная жизнь», то часто вкладываем в эти слова иронию: речь идет о таком давнем прошлом, которого, может быть, и не было никогда. Между тем настает время понимать это выражение в буквальном смысле. Накопленные определенного рода факты сегодня взорвались новым качеством: все более утверждающейся теорией о возможном циклическом развитии человеческой цивилизации, время от времени уничтожаемой и вновь возрождающейся.

Геологи, антропологи, археологи, палеонтологи во многих странах мира сделали сенсационные открытия, которые разрушают наши привычные представления об истории человечества. Так, еще в конце XVIII в. во Франции, близ городка Экс-ан-Прованс, при добывании камня на глубине 12—15 м, под несколькими слоями известняковых горизонтов, нашли обработанные блоки, деревянные инструменты, фрагменты колонн. То есть древние люди работали в этом месте задолго до того, как сформировались пласты камня, значит, в невообразимом

прошлом. Там же, во Франции, но уже в 1968 году, сообщили о находке металлических труб разных размеров, обнаруженных в массе мела, датируемой, по меньшей мере, в 65 миллионов лет. В 1830 году в каменоломне вблизи американского города Филадельфии был извлечен из глубины 21 м мраморный блок, на котором изображены подобия букв. Современные ученые утверждают, что объяснить происхождение букв естественными причинами вряд ли возможно. Гораздо логичнее считать, что это — продукт деятельности людей, обитающих здесь в глубокой древности. В 1852 году журнал «Scientific American» опубликовал статью, рассказывающую о находке в ходе взрывных работ: «Каменные глыбы — некоторые из них весили несколько тонн — разбросало в разные стороны. Среди осколков был обнаружен металлический сосуд, разорванный взрывом пополам. Сложенные вместе половинки составили колоколообразный сосуд 11,3 см высотой, 16,5 см в основании, со стенками примерно 0,3 см. Сосуд был изготовлен из металла, по цвету напоминающего цинк или некий сплав со значительной долей серебра. Стенки сосуда украшали шесть изображений цветов в виде букета, великолепно инкрустированных чистым серебром, а его нижнюю часть опоясывала, тоже инкрустированная серебром, виноградная лоза или венок. Резьба и инкрустация исполнены столь мастерски, что предмет можно отнести к прекраснейшим произведениям искусства». Возраст породы, в которой найден артефакт, не менее 600 миллионов лет. Это сообщение не раз перепечатывалось в разных изданиях и в XIX, и в XX, и уже в XXI веках.

В штате Невада США археологами был обнаружен отпечаток подошвы на камне, на котором четко видны следы шва от толстых ниток. Странность заключается в том, что человек прошел по каменистой пустыне 2 миллиона лет назад. В Туркмении также в окаменевшей глине нашли отпечаток человеческих стоп рядом с ногами динозавра. В местечке Костёнки под Воронежем люди жили 50—30 тысяч лет назад, и их быт был вполне комфортабельным, даже в чем-то утонченным. В Москве, в Палеонтологическом музее Российской академии наук, хранится череп бизона, которому не менее 40 000 лет. У него во лбу сквозное отверстие, сделанное, как оказалось, пулей. Пуля прошла навылет, но животное прожило еще не меньше года, ужасная рана начала затягиваться. Итак, охотники с винтовками 40 000 лет назад? В Каповой пещере в Сибири (бассейн Лены) найдены совершенные по мастерству рисунки, которым 34 000 лет. В 1933 году немецкая археологическая экспедиция доктора Ф. Вейленрейха неподалеку от столицы Китая Пекина в Чжоу-Коутяне обнаружила останки древних людей с очень высокой культурой, живших на Земле 30 000 лет назад.

В Латинской Америке находки еще более удивительные. Так, в 80 км от столицы Перу — Лимы, в Маркахуаси, доктор Даниэль Русо обнаружил амфитеатр, стены которого покрывала искусная резьба с изображением людей и животных. Рисунки на камнях запечатлели отнюдь не индейцев — лица оказались кавказские, семитские и негроидные. Людей окружали звери, которые в Америке не водились: слоны, львы, быки, верблюды и лошади, вымершие в этих местах 12 000 лет назад. Причем все фигуры сразу увидеть невозможно: они появляются поочередно — одни на утренней заре, другие — ровно в полдень, третьи — лишь на закате. А в лунном свете на камне отчетливо проступают контуры гигантских рептилий, доисторических ящеров, которые, как считается, вымерли задолго до появления на Земле людей: 65 миллионов лет назад.

Приведенный выше удивительный факт мало известен, но зато очень популярными в последние двадцать лет стали публикации о коллекции Ики, также в Перу. Здесь на тысячах камней, имеющих так называемую «патину времени», которую подделать невозможно, прочерчены рисунки, воспроизводящие жизнь какой-то высокоразвитой цивилизации, где люди странного вида ездят на динозаврах, созерцают небо в телескопы и делают операции по пересадке органов.

Список подобных сенсационных находок можно было бы продолжить (ныне накопилось около 200 артефактов в разных музеях мира), но любое упоминание

о них неизменно вызывает скепсис у так называемых академических ученых. Официальная наука всячески старается обходить, замалчивать, игнорировать эти неудобные для нее факты, так как с их обнародованием пришлось бы менять всю сложившуюся концепцию истории Земли. Романтикам от науки остается лишь строить догадки о существовании в незапамятные времена цивилизаций, погибших от каких-то катаклизмов. Причем катастроф даже на памяти человечества было несколько.

Концепция эпох или исторических периодов, которые приходили к концу в результате внезапных природных катаклизмов, является общей для всего мира. Количество этих эпох отличается у разных народов и в разных традициях. Это различие зависит от количества катастроф, которые каждый отдельный этнос хранит в своей памяти, или от способа подсчета времени.

Гесиод, один из ранних греческих авторов (VIII в. до н. э.), писал о четырех поколениях людей и о четырех веках, которые были сокрушены гневом планетарных богов: веках Золотом, Серебряном, Героическом, Медном. Он описывает конец одного из веков: «Дающая жизнь земля растрескалась от огня... вся земля и воды океана кипели... казалось даже, будто Земля и бескрайнее Небо сомкнулись; и такой мощный удар произошел, словно Землю раскололи, а Небо сверху обрушилось на нее». Пятый век, согласно Гесиоду, — это век Железный, в котором жил он и в котором живем мы.

Греческие философы Анаксимен и Анаксимандр в VI веке до н. э. и Диоген из Аполлонии в V веке до н. э. высказывали предположения о многократном разрушении и последующем воссоздании Космоса. Великий диалектик Гераклит (VI—V вв. до н. э.) учил, что мир уничтожается в пожаре по прошествии каждых 10 800 лет. Римский историк Цензорин (II в.) отмечал: «Существует период, названный Аристотелем «последним годом», в конце которого солнце, луна и все планеты возвращаются к своему первоначальному положению. В этот «последний год» бывает великая зима, названная греками «kataklismos», что означает «потоп», и великое лето, названное греками «ekpyrosig», или «горение мира». Похоже, что в каждую из этих эпох мир затопляется, а потом сжигается».

Священная книга индусов «Бхагавата Пурана» рассказывает о четырех веках и о планетарных катаклизмах, в которых в различные эпохи человечество почти полностью уничтожалось. Пятый век — это век нынешний (так же, как у Гесиода). Мировые века называются «югами». Каждая «юга» заканчивается пожаром, наводнением или страшной бурей. Однако «юга» на Земле — это в Космосе, согласно мифологии Индии, всего лишь «*день* Брахмы», верховного бога.

Мифология Индии вообще наиболее *космологична*. Не случайно ею в последнее время чрезвычайно интересуются астрофизики, берущие на вооружение идеи из Вед. В литературе древней Индии период существования всего Космоса (либо нашей Вселенной — здесь я употребляю эти слова как синонимы) назван «*веком* Брахмы». Для выражения длительности данного периода в нашем исчислении лет требуется 15 цифр — это 311 040 000 000 000 лет. И хотя Космос существует на протяжении столь невообразимо долгого времени (по современным научным представлениям это 15—17 млрд. лет), что оно кажется нескончаемым, все же срок его ограничен: наша Вселенная не вечна. После каждого «века Брахмы» происходит новый акт творения, и Вселенная воскресает к новой космической жизни, к новому «веку Брахмы». Так продолжается, без начала и без конца, чередование периодов жизни и смерти Космоса (в астрофизике эта теория названа *сингулярностью,* и она одна из самых модных сегодня).

В сменяющихся циклах Бытия и Небытия Вселенная — вечна! *Она периодична в непрестанном появлении и исчезновении миров — и вечна в целом.* Макрокосмос проявляется в жизни и растворяется в небытии совершенно так же, как рождается и умирает микрокосмос — человек. Аналогия здесь полная. Она в индийской философии распространяется и дальше. Как человек каждую ночь испытывает «малую смерть», засыпая вечером и просыпаясь утром, так же

бывают и «ночи» Вселенной, когда «умирает» все живое. И весь мир не исчезает, но остается в спящем состоянии. А на «утро» все снова оживает. Это повторение периодов сна и бодрствования в Космосе можно сравнить со сменой зимы и лета в природе.

Все же большинство мифологических систем мира говорит о катастрофах, происшедших не в Космосе, а на Земле. Китайцы насчитали десять периодов от начала мира до жизни своего пророка Конфуция (VI в. до н. э.). Каждый из таких периодов заканчивался катастрофой. Промежуток между двумя катастрофами рассматривался как «великий год». В продолжение «года» космический механизм смещается, и, «следуя общей природной конвульсии, море выходит из берегов, из земли возникают горы, реки меняют свое течение, люди и все существа погибают, и старые тропы исчезают» (По И. Великовскому).

Очень устойчивые древние представления о мировых веках, закончившихся в результате космических катастроф, были обнаружены в Америке среди инков, ацтеков и майя. О мировых пожарах и потопах свидетельствует основная часть наскальных надписей, найденных в Юкатане. Кодексы мексиканских и индейских авторов, составлявших анналы своего прошлого, также уделяли исключительное внимание теме планетарных катаклизмов, которые уничтожали человечество и изменяли лицо земли. Причем большинство мифов и письменных свидетельств говорят о четырех катастрофах. Еще совсем недавно, в 2012 году, масс-медиа нагнетали психоз о «конце света», основываясь на мифологии именно народа майя.

Первый из мифов о Потопе — шумерский

Шумерская цивилизация (IV тыс. до н. э.) — одна из первых возникших на Земле, о которой достаточно хорошо известно благодаря как археологическим раскопкам, так и расшифрованной шумерской письменности, зафиксированной на большом количестве глиняных табличек. На многих из них — рассказ о пантеоне шумерских богов, которые вступают между собой в сложные и часто довольно драматичные личные отношения. Однако в некоторых шумерских мифах рядом с богами фигурируют и люди. Таков, в частности, миф о Потопе.

То, что в Месопотамии были не только локальные наводнения рек Тигр и Евфрат, но и грандиозный потоп, обнаружил английский археолог Леонард Вулли в конце XIX века. Ведя раскопки вблизи города Ур, он ниже исторических пластов грунта вдруг обнаружил толстый слой ила, совершенно лишенный следов человеческой деятельности, и на основании этого сделал вывод, что здесь когда-то очень долго стояла довольно высокая вода. А ниже ила вновь шел слой, наполненный артефактами. Паводок погубил, видимо, развитую цивилизацию: от нее не осталось письменных памятников, но остались медные изделия, что говорит о металлургическом производстве. Шумеры (по-славянски сумеры) сюда пришли в IV тыс. до н. э., *после* того, как вода спала. Шумеры якобы и создали древнейшую письменность, скорее всего, принеся ее с собой в своем долгом, круговом, через Индию, пути с Памира.

Табличка, содержащая шумерский вариант мифа о Потопе, дошла до нас в сильно поврежденном виде; эта пластинка, обнаруженная в древнем месопотамском городе Ниппуре, до сих пор остается уникальной. Несмотря на то, что сохранившийся на ней текст тщательно восстановлен и внимательно изучен, кое-какие места до сих пор остаются неясными. Документ имеет огромную историческую ценность (М. Белицкий. «Забытый мир шумеров»).

Доступный пониманию текст начинается с того места, где некое божество (большинство исследователей считают, что это отвечающий за землю и воды бог Энки) сообщает остальным богам о своем намерении спасти человечество от гибели. Он уверен, что спасшиеся люди построят храмы и сделают свои

города религиозными центрами. Сложный и испорченный текст следующих строк повествует, видимо, о том, как вообще создавался мир. Миф переносит нас в незапамятные времена, «когда Ан, Энлиль, Энки и Нинхурсаг // Создали черноголовых, // Пышная растительность покрыла землю, // Животные, четвероногие [обитатели] равнины // Были искусно сотворены» (Пер. Ф. Л. Мендельсона). По мифологии шумеров, Ан — верховный бог, Энлиль и Энки — его сыновья, Нинхурсаг — дочь. Это верховные боги.

К сожалению, дальнейшее описание акта творения на табличке отсутствует. Лишь рассказывается о том, как были созданы обряды и высшие божественные законы и как бог, имя которого не названо, «основал пять городов в освещенных местах».

Таким образом, до Потопа существовало пять городов. Но отсутствуют строки, где, по мнению шумерологов, говорилось, видимо, о греховных поступках людей, которые и заставили группу богов ниспослать на землю потоп и уничтожить человечество. Решение пантеона, как следует из текста, не было единодушным. Две богини даже рыдали.

И вот на сцене появляется последний перед Потопом царь — Зиусудра, шумерский прототип библейского *Ноя*. В тексте он изображен как благочестивый, богобоязненный правитель, который постоянно служит богам и повседневно воздает им почести, возводит в их честь храмы и дворцы. В сновидениях и во время его молитв боги сообщают ему свою волю относительно постройки огромного корабля, причем указывались (согласно вавилонской легенде, повторяющей шумерскую) точные размеры ковчега. Затем следует описание самого потопа и последующих событий: «Все бури с небывалой силой разбушевались одновременно. // И в тот же миг потоп залил главное святилище. // Семь дней и семь ночей // Потоп заливал землю, // И огромный корабль ветры носили по бурным водам, // Потом вышел Уту, тот, кто дает свет небесам и земле. // Тогда Зиусудра открыл окно на своем огромном корабле, // И Уту, герой, проник своими лучами в огромный корабль. // Зиусудра, царь, простерся перед Уту. // Царь убил для него быка, зарезал овцу» (Пер. Ф. Л. Мендельсона).

Выше цитировался, видимо, самый древний из сохранившихся письменных свидетельств о Потопе, он датируется IV тыс. до н. э. Обычно этот текст не приводится в вузовских учебниках, но без него представление об архаической мифологии было бы неполным. Я останавливаюсь на нем специально, поскольку сегодня на тему именно шумерских мифов существует множество научных спекуляций. Самая распространенная — инопланетная: речь якобы в древних текстах идет не о богах, а о пришельцах с планеты Нибиру, которые и создали людей, а затем, что-то сотворив с Землей, наслали на них потоп.

О потопе говорится и в шумеро-аккадско-вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» — *первом* в мире литературном произведении. Эпос — высшее достижение литературы Месопотамии — в наше время изучается во всех мировых университетах. Самая поздняя его версия сохранилась в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии на 12 табличках, содержавших свыше 3000 строк, а также на обломках табличек, датируемых ново-вавилонским периодом. Более ранний материал можно изучать по шумерским версиям. Несмотря на относительно большое количество источников пока невозможно восстановить весь текст без лакун, однако и то, что найдено — в конце XIX века, — во многом перевернуло представления современных людей об архаике и древней литературе.

«Эпос о Гильгамеше» переведен на многие языки мира. На русский язык первый поэтический перевод-переложение сделал один из лучших творцов Серебряного века Николай Гумилев в 1919 году. Академик Игорь Дьяконов в 1961 году осуществил научный перевод эпоса с оригинала — с ассиро-вавилонского языка — и снабдил его подробнейшим комментарием. Переводом на белорусский язык в последние годы жизни занимался наш замечательный писатель Янка Сипаков.

Гильгамеш — полулегендарный царь шумеро-аккадского города-государства Урука на юге Месопотамии. Из эпоса ясно, что население недовольно своим царем, принуждающим строить храмы и городские стены, и взывает к богам. Чтобы одернуть дерзкого Гильгамеша, гордящегося своей богатырской силой и удалью, боги создают ему равного по силе противника — звероподобного Энкиду (по-моему, это неандерталец). Однако Гильгамеш и Энкиду, сразившись между собой, в конце концов, становятся друзьями и уже вместе ищут приключений. Например, они убивают священного быка, посвященного самой могущественной из богинь месопотамского пантеона Иштар. В гневе Иштар насылает смерть на Энкиду. Этот момент — поворотный в повествовании. Тема дружбы и ужаса перед смертью придает эпосу особую человечность. Гильгамеш потрясен смертью побратима и впервые задумывается вообще о жизни и смерти, о смысле жизни, о бессмертии.

Экстатическое переживание смерти — важнейшая тема мировой мифологии, а «Эпос о Гильгамеше», как и другие архаические эпосы, полностью основан на мифологических представлениях. Известнейший в XX веке писатель и историк религии Мирча Элиаде отмечает, что миф и ритуал в наибольшей степени придают форму неведомому и устрашающему миру смерти: «он организуется в соответствии с определенными схемами. В конце концов, в нем появляется структура и со временем он становится знакомым и приемлемым». В центр повествования «Эпоса о Гильгамеше» впервые в мировой литературе ставится именно проблема смерти и ее преодоления.

После кончины Энкиду сюжет поворачивает как бы в новое русло. Настроение Гильгамеша, поскольку он задумывается об экзистенциальных вопросах, резко меняется. Герой отправляется на поиски какого-нибудь эликсира, дарующего бессмертие. Царь Урука не стремится больше к славе и к героическим подвигам, а упорно обходит землю в поисках магического зелья. На двух табличках рассказывается о том, как Гильгамеш бродит по свету, проникает в недоступные его соплеменникам районы, где ему предлагают различные средства избавления от смерти, но каждый раз коварно обманывают.

Поиски героя связаны с многочисленными опасностями. Упоминается его переход через гору, охраняемую чудовищами, полускорпионами-полулюдьми, лежащую на краю света, там, где солнце заходит. Есть описание — к сожалению, фрагментарное — сада драгоценных камней и рассказ о встрече со странной, скрытой под покрывалом женщиной, «хозяйкой богов», Сидури, живущей на морском берегу, — этакой месопотамской сивиллой (предсказательницей), сведущей в делах человеческих и божественных. Сидури (по-моему, рудимент архаической Богини Матери, прототип нашей Бабы Яги) предупреждает Гильгамеша о тщетности его поисков, но все же указывает местонахождение единственного человека, которому удалось добиться того, к чему так стремится Гильгамеш, — бессмертия. Им оказался Утнапишти — месопотамский Ной. (Его имя — дословный перевод шумерского Зиусудры — «нашедший дыхание», или «нашедший жизнь долгих дней».)

Перебравшись через «воды смерти» (море), Гильгамеш встречает Утнапишти на Острове Блаженных. Герой просит Утнапишти рассказать ему, чем тот заслужил милость богов. В ответ Утнапишти повествует о потопе, о том, как боги, создавшие людей, чтобы те им служили, решили потом их уничтожить, полагая, что людей стало слишком много, и они приносят одно беспокойство. И только бог Энки, зная, что если все люди погибнут, их придется создавать заново, решает спасти одного из них — именно Утнапишти. И вот, взяв все необходимое, человек спасается в ковчеге от вод потопа.

«Описание потопа, занимающее менее двухсот строк, — вершина месопотамской эпической поэзии. Рассказ полон непринужденных описаний, пересыпанных различными эпизодами, которые месопотамские поэты передавали в нескольких словах. Приводятся остроумные вопросы и ответы, следует вос-

хитительное описание потопа и строительства ковчега. Поэтический язык повествования столь богат, что невольно приходит на ум, не была ли сухость стиля предшествующих табличек специально задумана, чтобы оттенить особую яркость последней» (А. Оппенхейм. «Древняя Месопотамия»): «Едва занялось сияние утра, // С основанья небес встала черная туча, // Адду гремит в ее середине, // Шуммат и Ханиш идут перед нею, // Идут гонцы горой и равниной... // Что было светлым, — во тьму обратилось, // Вся земля раскололась, как чаша» (Пер. И. Дьяконова).

«С большой эмоциональной силой в поэме выражено страшное потрясение, испытанное единственным спасшимся человеком при взгляде на погибший мир и от сознания своего бесконечного одиночества» (Г. Синило. «Древние литературы Ближнего Востока и мир ТаНаХа»): «Я открыл отдушину — свет упал на лицо мне, // Я взглянул на море — тишь настала, // И все человечество стало глиной! // Плоской, как крыша, сделалась равнина // Я пал на колени, сел и плачу» (Пер. И. Дьяконова).

Утнипишти выпускает трех птиц — голубя, ласточку и ворона, — причем ворон не вернулся, что свидетельствовало об окончании потопа. Утнапишти приносит жертву богам, а они решают не подпускать к жертве главного виновника потопа — поднебесного бога Энлиля. Тот в гневе: он не рассчитывал, что кто-то спасется в водах. Однако бог Энки, основной радетель за людей (и их создатель), стыдит его. Раскаявшийся Энлиль, брат Энки по отцу, дарует Утнапишти вечную жизнь, то есть приравнивает его к богам.

Выслушав рассказ единственного на Земле бессмертного человека, Гильгамеш просит его сказать, как избежать смерти. Подобно Сидури, Утнапишти отвечает, что ничто на земле не вечно, и что человек должен умереть тогда, когда прикажут боги. Однако, намекает Утнапишти, Гильгамеш может спастись, если не будет спать шесть суток. Именно сон, подобие смерти, определяет различие между человеком и бессмертными богами. Гильгамеш пытается пройти эту инициацию, но не выдерживает испытания — засыпает. Тогда Утнапишти убеждает Гильгамеша искупаться в ручье, который, по-видимому, был источником молодости и вечной силы. Гильгамеш снова-таки не смог этого сделать (почему — из текста непонятно). Правда, на дне моря, по указанию Утнапишти, он добывает некое зелье — цветок или злак — «*растение жизни*», с которым, радостный, и отправляется в обратный путь. Во время сна героя на одной из ночевок змея крадет волшебное растение, съедает его и благодаря ему, сбросив кожу, омолаживается. Этот внезапный поворот сюжета использован как драматичный прием, предрекающий окончательную неудачу Гильгамеша, которому остается ни с чем вернуться домой. Тут интересен, по-моему, вот какой момент, на который не обращали внимания прежние исследователи: Утнапишти получил вечную жизнь от Энлиля, но в то же время в руках этого месопотамского Ноя, любимчика богов, находятся и другие средства достичь бессмертия — живая вода источника и дарующее молодость растение. Мне кажется, здесь зашифрована какая-то очень важная информация.

Правда, конец поэмы лишен какой-то бы то ни было сказочности. И все же он достаточно оптимистичен. «Завершая поэму и описывая богатый, цветущий Урук, автор словно возвращает своему герою, а с ним и всем людям, радость земной жизни, которая, по словам Сидури, и есть единственный удел человека» (Ж. Боттер. «Гильгамеш — царь, который не хотел умирать»). Да и бессмертия в каком-то смысле Гильгамеш все же достигает: ведь он построил стену вокруг своего города и тем увековечил свое имя.

Открытие в конце XIX века «Эпоса о Гильгамеше», который был написан, по крайней мере, за две тысячи лет до Библии, свидетельствует, как будто, о заимствовании Книги Бытия из месопотамских источников. Особенно много совпадений именно в версии потопа: и там, и здесь бог (или боги), которые предупреждают Утнапишти и Ноя, предлагают построить корабль-ковчег. В обоих памятниках

потоки дождя обрушиваются на землю, затопив ее, уничтожив все живое, кроме тех людей, животных и птиц, которых успел захватить с собой Утнапишти-Ной. И в Библии, и в «Эпосе» троекратно выпускают птиц, чтобы они нашли землю. После долгого плавания ковчег останавливается — по Библии: у горы Арарат, а в «Эпосе» — у горы Нисир (последние лингвистические исследования показали, что это шумерское название именно Арарата). Спасенные люди начинают новую жизнь.

Обычно в учебниках и в научно-популярной литературе указывалось, что в Месопотамии, омываемой Тигром и Евфратом, были локальные наводнения, и даже очень мощные, а в безречной Палестине, где жили евреи, создавшие Ветхий Завет, разрушительных паводков не было и быть не могло. Отсюда делался вывод, что Библия, несомненно, заимствована из более ранних источников, в частности, шумеро-вавилонских. Эта мысль прочно утвердилась в науке после скрупулезно проанализированных мифов о потопе крупнейшего из мировых этнологов рубежа XIX—XX веков Д. Д. Фрезера (с его классическим трудом «Золотая ветвь» мы познакомились еще в 1970-е годы). Однако современный российский историк Александр Афанасьев в книге «Мифология катастроф» доказывает, что Потоп произошел именно в Палестине. Он ссылается на миф о Содоме и Гоморре, который разнесли по свету выходцы из Палестины древние арийцы (!?) где-то в IV тыс. до н. э. Катастрофа в Палестине, скорее всего, была, от нее образовалось Мертвое море, но она вряд ли стала всемирной. Все не так просто.

Библейский миф о Потопе и его истолкования

Библейский миф о Потопе — хотя бы в виде фабулы — известен всем. Он изложен в Книге Бытия.

В старших классах школы, при атеистическом обучении, мы, тем не менее, имели некоторое представление об основных эпизодах Библии — главным образом из произведений русской классической литературы, которая у нас преподавалась отлично. Я, кроме того, интересовалась мировой живописью, а это тоже кладезь сведений по Ветхому и Новому Заветам. На филфаке по дисциплинам «История древней белорусской литературы» и «История древнерусской литературы» мы знакомились с Библией уже основательно. Это определялось самим материалом, а также и преподавателями. Белорусскую литературу читал профессор Михаил Григорьевич Ларченко, в то время еще декан и заведующий кафедрой. Личность легендарная. Именно он, демобилизованный по ранению фронтовик, возобновил обучение на филологическом факультете во время войны на станции Сходня под Москвой, а сразу после освобождения Беларуси, в 1944 году, привез факультет (вместе с преподавателем Иваном Мележем) в Минск. Он ничего и никого не боялся и открывал нам целые культурные материки. А древнерусскую литературу преподавала доцент Лариса Леонтьевна Короткая, женщина исключительная, с совершенно самостоятельными взглядами, образец прямоты и честности. Знаменитая партизанка, отмеченная многочисленными орденами и медалями, мать известного критика, тонкого литературоведа-аналитика Варлена Бечика. Она, естественно, тоже преподавала не догматически. Я настолько полюбила старобелорусскую и старорусскую литературы, что Библией тогда заинтересовалась всерьез.

Мало кто знает, что ветхозаветный рассказ о Потопе представляет собой смешение, сделанное «грубо и неуклюже» (Д. Д. Фрезер), двух вариантов, известных в библеистике как Яхвист и Жреческий кодекс. По яхвистскому рассказу, дождь лил сорок дней и сорок ночей, после чего Ной оставался в ковчеге еще три недели, пока не спала вода, то есть потоп продолжался всего 61 день. А вот Жреческий кодекс свидетельствует, что до спада воды прошло 150 дней, а сам потоп длился 12 месяцев и десять дней. В этом, по мысли российского исследователя

Н. В. Мамуны, явно заключается символика лунно-солнечного календаря. Евреи придерживались лунного календаря, согласно которому 12 месяцев составляют 354 дня; прибавляя еще 10 суток, получаем солнечный год.

Мне кажется, что и шумерский миф, ставший основой для мифологии всего Ближнего Востока, и библейский рассказ о Потопе имели в основе некий высокохудожественный пратекст, нам, к сожалению, неизвестный. При этом, знакомясь с самыми разными версиями потопа у многих народов, я обратила внимание, что большинство из них, в том числе шумеро-вавилонский и библейский, указывают именно на всемирность потопа, его исключительность. Ведь локальные наводнения случались в Месопотамии постоянно и носили, так сказать, системный характер. А раз системный, значит, не могли стать материалом мифа, в котором все — необычно.

И именно по причине необычности история о Потопе пронизана символическим, эзотерическим смыслом. Миф о Потопе, подобно всем другим великим мифам, имеет отнюдь не одно значение. Великий Потоп, как и грехопадение, относится к событиям одновременно духовным и физическим, космическим и земным.

Потоп в символизме каждого народа означает хаотическую, неустановившуюся материю — Хаос как таковой (именно с большой буквы, где Хаос выступает как Первосущность мира).

Знаменитые философы Античности Платон (V—IV вв. до н. э.) и Аристотель (IV в. до н. э.) представляли Хаос пустым пространством (вакуумом), вмещающим в себя те или иные физические объекты. Такого же мнения относительно вакуума еще недавно придерживались практически все ученые современного мира. Однако большинство других философов Греции классического периода считали Хаос беспорядком, неорганизованной материей, смешением разных ее форм. Примерно в том же значении мы понимаем слово «хаос» сегодня, хотя в последнее время вкладываем в понятие не столько физический, сколько социально-политический смысл: неработающие законы, некомпетентные чиновники, атомированный социум, развал экономики, деградация культуры, то состояние общественного сознания, которое чревато гражданской войной (все названное в основном характерно для наших стран-соседок). Тут к месту вспомнить, что и во время агонии Римской империи хаос римляне отождествляли с Аидом, подземным царством мертвых, видели в нем страшную бездну, в которой бесповоротно разрушаются жизненные формы, навсегда уничтожается все живое. Причем римские авторы понимали хаос не только в физическом, мистическом смысле, но и переживали его глубоко интимно, мрачно и трагично. До такого пафоса далеко современным творцам постмодернизма, хотя почти каждый из них чувствует себя и общество на краю бездны.

А вот греки с их оптимистическим, жизнеутверждающим мироощущением не рефлектировали относительно будущего конца света, а стремились по-философски понять его начало. И хотя они не оспаривали понимание Хаоса, действительно, как беспорядка и неоформленности, как смешения основных натурфилософских стихий — земли, воды, огня и воздуха, — но все же видели в нем *в зародыше* явления и вещи, которым надлежит в будущем развиться, развернуться, проявиться. Античная мысль сводила в одно концы и начала, жизнь и смерть, интуитивно чувствовала колоссальную сложность Космоса, в котором постоянно идут процессы зарождения, обновления и гибели-уничтожения, который одновременно — и ноль (ничто), и бесконечность. В конце концов, Хаос предстает как величественный, трагический образ космического Первоединства, где расплавлено все бытие, где оно появляется и где оно же гибнет; потому Хаос — универсальный принцип сплошного и бесконечного становления, развития, формирования. В то же время он — вечная смерть для всего живого. Видимо, и мы должны понимать хаос в двух смыслах: хаос как полное уничтожение всего, без надежды на возрождение; и хаос, удерживающий в себе некое твор-

ческое начало, какие-то потенции, имеющие тенденцию к развитию. Я неоднократно писала, что уже лет тридцать с чувством отчаянья наблюдаю, фиксирую нарастание элементов хаоса в мире и в родной стране, хотя не могу не отметить и упорные попытки сопротивления ему.

Таким образом, Хаос — один из наиболее сложных образов мифологии и понятий древней философии. Необходимо добавить, что только необычайно развитое, рафинированное мышление способно создать такого рода концепцию. Австралийские аборигены, например, не задумывались об этом, хотя сегодня ученые полагают, что и у них миф о потопе существовал. В то же время греки очень полно и глубоко разработали идею Хаоса — первыми из всех народов древности. О существовании данного понятия у германских, балтийских, славянских народов свидетельствуют, как мне кажется, косвенные данные, главным образом, обряды и фольклор. Можно полагать, что некоторые сказки — осколки древнего космического мироощущения. Например, в сказке «Волк и семеро козлят» темные силы Хаоса поглощают Солнце, Месяц и планеты. Или же в «Курочке Рябе» отозвался архаический миф о гибели одного из солнц двухзвездной системы, какою, можно полагать, была раньше наша Солнечная система (астрофизики это вполне допускают). В результате коллапса второго солнца воцарился хаос — он рисуется наглядно в недетских версиях сказки: «Об этом яичке дед стал плакать, // Бабка рыдать, вереи хохотать, // Курицы летать, ворота скрипеть, // Сор под ногами закурился, // Двери побутусились, тын рассыпался, // Верх на избе зашатался...»

Одна из философских школ Греции — стоицизм — объявляла хаос водою. Многие другие мифопоэтические традиции, в том числе славянская, склонялись к той же мысли. Толчком для их возникновения было, видимо, знакомство древних людей с океаном, удивление и страх перед его безграничностью, колоссальной силой, неукротимостью, таинственностью, странностью его обитателей. Этот страх становится еще более понятным, если принять версию Всемирного потопа.

Миф о Потопе — великое и грозное предупреждение человечеству. Правда, миф сохраняет оптимистическую веру, что лучшие люди — спасутся. Ковчег — универсальный символ спасения. И сегодня очень часто в публицистике встречаются названия, упоминающие ковчег в символическо-жизнеутверждающем смысле, например, «Ковчег Россия» (то есть Россия еще жива, еще держится в своем национальном качестве на плаву). В теориях мистиков корабль-ковчег — символ женского зарождающего принципа: на небесах он олицетворен, в частности, Луной, на земле — деторождающим чревом. В разных мифологических системах образ потопа относится к космогонии. В теософии Ной — Дух, нисходящий в Материю; он плавает в своем ковчеге по водам, подобно тому, как Дух Божий в начале Творения носился над водою. Иными словами, спасение от потопа и появление новой земли и живых существ на ней — это аналог миротворения.

Во времена Нового Завета апостол Петр признал веру в Потоп в качестве средства предупреждения преступлений, предостерегал: «Бог... не пощадил первого мира, но... сохранил семейство Ноя, праведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых» (2 Пет., 2,5).

Обладая богатой символической семантикой, Всемирный потоп в то же время, безусловно, историческое событие, более того, таких потопов (разного рода катаклизмов) было, скорее всего, на памяти человечества несколько, и многие современные науки неопровержимо доказывают это. Одно из доказательств было известно мне еще в старших классах школы, и оно значительно поколебало — видимо, не только нашу, подростков, но и ученых, — устоявшуюся картину жизни по Марксу-Энгельсу. Вот это доказательство. В начале 60-х годов XX века на границе Ирака и Ирана работала американская археологическая экспедиция. Довольно высоко в горах она обнаружила пещеру, названную Шанидар, в которой *постоянно жили люди*. Самый старый слой относится к 65—60 тыс. до н. э.

На границе 30—20 тысячелетий неандерталец был вытеснен человеком кроманьонского типа, то есть современным. Но главное не это, а то, что культурные слои пещеры Шанидар перемежались слоями ила, песка, ракушек и мелкой гальки. И это в пещере, которая никогда не была морским дном и находилась вообще очень далеко от моря!

Археологи вынуждены были констатировать четыре катастрофы, постигшие не только саму пещеру, но и живших в ней людей. Один из потопов сопровождался мощным землетрясением: десятки погибших неандертальцев не просто утонули, — их придавило обвалившейся стеной. Однако всякий раз после катастрофы человек возвращался (!), продолжал селиться в пещере: разводил огонь, делал орудия охоты и труда, здесь же погребал своих умерших. Самый разрушительный потоп был в XI тыс. до н. э.

Есть еще одна веская «улика», которая взволновала меня еще в детстве, — мамонты. В Сибири были обнаружены останки несметного количества крупных животных, включая большое количество туш с неповрежденными мягкими тканями (их ели собаки) и невероятное количество идеально сохранившихся бивней мамонтов. У некоторых мамонтов в пасти еще даже оставалась трава, которая указывает на то, что в то время в Сибири был степной умеренный климат, но также и на то, что катастрофа произошла мгновенно, потому туши и сохранились так хорошо: вдруг наступила зима, и животные оказались молниеносно замороженными. Кстати, в это время — в промежутке между 11 000—9 000 лет до н. э. — по всему миру вымерло свыше 70 видов крупных млекопитающих. Чтобы почувствовать динамику, скажем, что в течение предыдущих 300 000 лет исчезли всего 20 видов. Все это говорит о действии каких-то чрезвычайно мощных, буквально космических, факторов (Г. Хэнкок. «Следы богов»). Сегодня я думаю, что произошла переполюсовка, геомагнитная инверсия, в результате которой на какое-то время исчезла защитная электромагнитная оболочка Земли, потому холод и наступил так внезапно. Правда, в 1960-е годы идея о переполюсовке еще не высказывалась — она появилась позже.

В последнее время все большее число ученых становятся на позиции теории катастрофизма, заклейменной и высмеянной в советской науке. Притом, что конкретные исследования ее как раз уже тогда полностью подтверждали. Вот беру я, буквально наугад, журнал «Вокруг света» № 12 за 1974 год (у меня на даче сохраняются комплекты с 1972 года), а там заметка о последних исследованиях советских ученых в Антарктиде, которые доказывают цикличность периодов потеплений-похолоданий. Вывод я цитирую: «Сопоставление температурных колебаний в Антарктиде с данными по северному полушарию свидетельствуют о синхронности климатических изменений. Наша планета попеременно переживает то «оттепель», то «заморозки», и каждое такое климатическое изменение длится по нескольку веков, а то и тысячелетий». Во время «оттепелей» естественно таяние ледяных шапок Земли и ледников, а значит, потоп.

Современные исследователи заявляют, что история Земли представляет собой лишь отдельные относительно спокойные периоды, разделенные катастрофическими событиями как локального, так и глобального масштаба. И что именно эти катастрофы сыграли определяющую роль в формировании современного вида нашей планеты. Погибали, видимо, высокоразвитые государства, типа Атлантиды или Гипербореи. Но правильнее было бы говорить о том, что разрушалась в целом Человеческая Цивилизация. Человечество, конечно же, не вымирало абсолютно, отдельные представители человеческого рода спасались (в мифах их символизируют Зиусудра, Утнапишти, Ману, Ной, Девкалион и Пирра и т. д.), но сама цивилизация оказывалась безнадежно отброшенной назад. В результате спасшимся людям приходилось каждый раз возвращаться к начальным этапам — думать о том, как добыть пищу, как обрести надежную крышу над головой, как вновь установить связь с какой-нибудь группой. При этом, однако, сохранялась и память о предках, о физическом и душевном комфор-

те, о счастливой жизни — отсюда важнейшие понятия мифологии: Золотой век, Эдем, Острова Блаженных, Подсолнечное царство и т. д.

Характерно и другое: духовный кризис общества, бывает, порождает массу имитаторов, которые возводят повторение каких-то культурных форм, например, строительства храмов или типов стихосложения, в ранг священнодействия. Например, если по каким-то причинам невозможно создавать духовные культурные ценности (когда вся энергия идет на выживание), общество начинает умело копировать старые формы (в этом, скажем, исток постмодернизма в современной литературе). Тем более, после катастрофы уцелевшие формы культуры, пришедшие от «допотопных» предков, приобретали оттенок сакральности, высшей святости. Со временем забывался их смысл, но традиция жила. Так, индийские жрецы сохранили понятие о миллионной доле секунды. Зачем это было знать, никто сказать не мог, но они свято хранили знание, дошедшее от предков. Многие ученые говорят о том, что большинство так называемых «примитивных» народов располагает знаниями, значительно более глубокими, чем они сами предполагают. Да это свойственно и высокоразвитым народам. Достаточно здесь указать на символику белорусской вышивки. Наши бабушки, вышивая традиционные узоры, не знали, что они означали; ученые только в последнее время занялись их расшифровкой. В этом смысле мифы, ритуалы, сказки, элементы одежды и убранства дома заключают в себе огромное, неисследованное еще в полной мере, богатство, которое говорит об удивительной культуре наших пращуров. Узнав их жизнь, мы лучше поймем самих себя. А поняв себя и свою миссию в мире (я абсолютно уверена в этом), мы можем вообще не бояться катастроф — их не будет!

Описание Потопа у разных народов Земли

Мифы о Потопе зафиксированы у всех народов Земли, в том числе, у тех, кто не был знаком с Библией до прихода белых людей. Приводя здесь отдельные эпизоды, я хочу обратить внимание на колоритность картин катастрофы. В чем-то описания катаклизма у разных народов имеют общие черты, но в каждом письменном памятнике авторы фиксируют внимание на конкретных ярких деталях.

Миф о Потопе в наиболее полном виде дошел до нас от народов *Америки и островов Тихого океана*. Еще Д. Д. Фрезер отмечал их абсолютную самостоятельность, независимость от Ветхого Завета.

В мексиканском «Кодексе Чималпотока» сказано, что однажды небо приблизилось к земле, и она погибла в один день. Под водой оказались даже горы, и все кипело вокруг. Другой памятник культуры — кодекс «Пополь-Вух» индейцев кечуа излагает: «Густая смола пролилась с неба... Лик земли потемнел и начал падать черный дождь: ливень днем и ливень ночью...». Люди все погибли, отмечает эпос. Все же, однако, кое-кто уцелел, раз в «Пополь-Вух» упоминается это событие...

Целостная концепция творения и дальнейшей судьбы мира сохранилась и в мифологии индейцев тольтеков. Как свидетельствует их реконструированная схема бытия, мир создал верховный бог Кецалькоатль, и все было хорошо до тех пор, пока один из сыновей бога не захотел возвыситься над братьями, преобразившись в солнце. Кецалькоатль вмешался, уничтожил солнце и землю, и тогда все оказалось смыто водой, а люди превратились в рыб. Спаслась лишь одна пара, кстати, предупрежденная богом. Потом началась «эра Пятого Солнца», в которой мы живем, как утверждают индейцы, и по сей день.

Чрезвычайно правдоподобен инкский (Южная Америка) миф о Потопе. Он рассказывает о пастухах, которых предупредили о катастрофе собственные домашние животные — ламы (видимо, было замечено их странное поведение, ведь животные очень чувствительны к геомагнитным изменениям, а катастрофе,

конечно же, предшествовали некие геофизические и метеорологические явления). Пастухи запаслись едой и спаслись в горной пещере: «Они взяли с собой стада, вошли в пещеру, и начался дождь. Он продолжался много месяцев. Глядя вниз с горы, братья понимали, что ламы оказались правы: весь мир погибал. Братья слышали крики несчастных, умиравших внизу. Горы же волшебным образом становились все выше и выше по мере того, как поднималась вода. И все же через некоторое время воды стали плескаться у самого входа в пещеру. Но тогда горы сделались еще выше. Однажды братья увидели, что дождь прекратился и воды отхлынули. Инти, солнечный бог, появился на небесах и улыбнулся, и вся вода испарилась. Пища, которой запаслись братья, как раз подходила к концу; братья взглянули вниз и увидели, что земля высохла. Горы снова уменьшились до первоначальной высоты, и пастухи со своими семьями спустились вниз и возродили человечество. С тех пор люди по-прежнему живут повсеместно; ламы же никак не могут забыть о потопе и предпочитают селиться в нагорьях» (Д. Бирлайн. «Параллельная мифология»). Правдивость мифа заключается, по-моему, в том, что выжить в грандиозной катастрофе, когда, как предполагают ученые, громадные волны прокатывались по всем материкам (вспомним пещеру Шанидара), могли только пастухи, пасущие стада высоко в горах. Об этом, кстати, говорили и мудрые египетские жрецы, рассказывая греку Солону миф об Атлантиде.

Сказание о Потопе записано даже у такого небольшого народа, как сибирские *кеты*. Основа представлений о мире у кетов покоится на признании периодичности его уничтожения потопом и последующим возрождении. У этого народа существуют даже такие измерения времени, как «до последнего потопа» и «после последнего потопа».

Один из самых известных мировых эпосов — *скандинавская* «Старшая Эдда» — также не обошел вниманием данную тему. В его части — «Прорицании вёльвы» — картина потопа выглядит так: «Солнце померкло, // Земля тонет в море, // Срываются с небес // Светлые звезды».

Однако после катастрофы: «Вздымается снова // Из моря земля, // Зеленея, как прежде; // Падают воды».

Некоторые народы как-то связывают потоп с Луной. «С Луны обрушились на землю небесные воды», — говорится, например, в древнеиндийских Упанишадах.

Жители Гавайев называли катастрофу «потопом Луны». В одном из полинезийских мифов рассказывается, что уцелевшие после потопа люди спасались на острове Тоа-марама, что означает «Лунное дерево». Легенда племени муиски (Богота) гласила, что некогда жители этого племени были совершенными дикарями, не знавшими земледелия, религии и законов. Но к ним явился с востока бородатый старец Бочика, сын Солнца, и научил их обрабатывать поля, носить одежды, поклоняться богам и вообще жить цивилизованным обществом. У Бочики была прекрасная, но злая жена Гуитака, которая любила портить и разрушать все, сделанное мужем. По ее приказанию реки вышли из берегов и затопили страну: все люди погибли, за исключением немногих, спасшихся на высоких горах. Бочика рассердился, прогнал злую Гуитаку с Земли и сделал из нее Луну, так как до того Луны не было. Затем он разорвал скалы и образовал могучий водопад для стока вод потопа. После осушения земли он установил для спасшихся людей календарь, ввел праздничные жертвоприношения и поклонение солнцу. Таким образом, Бочика — это Солнце, а его жена — Луна.

Согласно пифагорейцу Филолаю, гибель Космоса бывает двоякой: в одних случаях — от обрушившегося с неба огня, в других — от хлынувшей лунной воды, которая выливается в результате переворачивания светила.

Луну и потоп связывают, видимо, потому, что потоп (любая всемирная катастрофа) обычно представляется завершением определенного цикла времени, исторического периода, эпохи. А ведь главным и первым небесным измерителем времени была именно Луна. «Луна — первый умерший, но также и первый воскресший, — указывает Мирча Элиаде. — Фазы Луны — появление, рост, убыль,

исчезновение, за которым следует новое появление через три темные ночи — сыграли неизмеримую роль в выработке циклических концепций. Аналогичные концепции мы обнаруживаем, прежде всего, в архаических апокалипсисах и антропогониях (мифах о происхождении человека) — обычно от мифического предка, спасенного от катастрофы, или от лунного животного. Стратиграфический анализ этих групп мифов свидетельствует об их лунном характере. Это значит, что лунный ритм выявляет не только короткие промежутки времени (неделю, месяц), но и служит архетипом для длительных периодов. Собственно говоря, рождение человека, его рост, его одряхление и исчезновение уподобляется лунному ритму».

Довольно необычна и очень дружелюбна по отношению к иным этносам концепция послепотопного возрождения жизни во *Вьетнаме*. Вьетнамские божества Таосуонг и Таонган специально спустились на землю, чтобы спасти представителей всех племен и народов, составляющих человечество. В восьми исполинских тыквах они поместили людей 330 народностей, семена 330 растений, священные книги. Когда вода схлынула, тыквы были распределены в разные страны — из них-то и вышли предки многих современных народов (В. Калашников. «Атлас тайн и загадок»).

Сказания о Потопе в культуре древних высокоразвитых цивилизаций

Когда *арабы* в VII в. завоевали Египет, они были поражены видом трех пирамид в Гизе. Историк Аль-Масуди (X в.), «арабский Геродот», полагал, что пирамиды возведены египетским царем Суридом за 300 лет до потопа (Сурид — это на самом деле библейский Енох, седьмой по счету из перволюдей). В данном мифе пирамиды уподоблены *ковчегу,* в них собраны все ценные предметы и все знания, уцелевшие от предшествующей цивилизации. Уже и современные ученые утверждают, что пирамиды имеют возраст гораздо больший, чем считалось ранее, и выстроены действительно *до* грандиозного всепланетного катаклизма.

Среди мифов народов древней *Индии* миф о потопе — один из самых распространенных. У бога Солнца был сын Ману, живший в уединенной обители близ южных гор. Однажды он спас выловленную рыбку, которая позже предупредила его о Потопе, посоветовала построить корабль и, более того, вела этот корабль в бушующем океане. «А потоп смыл все живые существа. Один Ману остался, чтобы продолжить человеческий род на Земле. В ознаменование своего спасения Ману принес жертву, бросив с горы немного масла и творога». (Мифы Древней Индии). Из жертвы возникли парень и девушка, которые и положили начало новому человечеству.

По-своему оригинален и *китайский* миф о Потопе. Он вообще центральный в китайской мифологии, встречается во многих источниках, правда, в отрывках. Тот или иной его фрагмент приводится обычно для того, чтобы «доказать» какое-либо философское, политическое или морально-этическое положение. Только в фундаментальном «Каталоге гор и морей» он излагается целостно, хотя и достаточно кратко.

Усмирителем потопа в народном сознании явился Юй, один из самых любимых мифологических персонажей Китая, однако существует достаточно большое количество источников, где его отец Гунь выступает главным героем.

Можно предположить, что Гунь — первопредок народа *ся*, и первоначально он не был связан с героем Юеем, но, видимо, мифы о Гуне — китайском Прометее (подарил огонь и все блага людям) — были настолько важны, что их присоединили к мифам о Потопе. Или же это были два героя различных родовых (этнических) традиций, одинаково борющихся с наводнениями. Далее они предстают как отец и сын, поделив между собой приписываемые им деяния.

В «Мифах древнего Китая» известнейшего китайского мифолога XX века Юань Кэ говорится о наводнении, которое продолжалось 22 года и захватило весь Китай: «Положение было ужасным. Суша стала бескрайним водным простором, людям негде было жить. Они спасали детей и стариков и метались повсюду, бросаясь то на восток, то на запад. Одни поднимались в горы, чтобы укрыться в пещерах, другие забирались на верхушки деревьев и учились вить гнезда, как птицы. Вода затопила всю землю, и все злаки погибли...»

Вот тогда Гуня послали на борьбу с наводнением. Десять лет пытался он усмирить стихию, но ничего не добился. Это общепринятая модель мифа, которая приводится в разных изданиях на русском языке. Однако в версии Юань Кэ, который основывается на всем комплексе китайских письменных памятников и устных преданий, Гунь оказывается внуком Верховного Небесного владыки. Когда тот наслал на людей потоп за их грехи, Гунь пожалел людей и умолял деда забрать разбушевавшиеся воды в свой небесный дворец (то есть быстро испарить воду). Однако уговоры не дали результата, наоборот, только разгневали владыку, убившего Гуня с помощью огня.

Гунь перед смертью глубоко страдал от того, что не мог исполнить свою миссию, но ее осуществил его сын. Сын, надо сказать, своеобразный. Гунь на самом-то деле оказался бессмертным или же возрождающимся (во всех мифологиях земледельческих народов мира есть мифы об умирающих и воскресающих богах природы): тело его не тлело три года, а в чреве даже возникла новая жизнь — сын Юй. Он родился из тела Гуня в виде дракона.

Новорожденный дракон Юй не испугался отцовской неудачи. Он обладал чудесной силой, и все его помыслы были направлены на то, чтобы завершить дело отца. А Верховного правителя к этому времени уже охватило раскаяние за то зло, которое он совершил. Он решил не наказывать людей так жестоко и дать возможность Юю усмирить потоп.

Юй действовал умнее, чем Гунь. С помощью драконов он прорывал реки и каналы, возводил дамбы и плотины. Особенно тяжко пришлось Юю с Хуанхэ (Желтой рекой), самой полноводной рекой Китая. Когда-то она поворачивала вспять перед огромной горой. Юй с помощью своей сверхъестественной силы разделил гору на две части, чтобы река текла между двумя отвесными скалами, напоминавшими створки ворот. Это место и сейчас называется Лунмэнь, что значит «Драконовы ворота». Теперь вода падает с отвесной скалы и устремляется потоком к океану.

По всему Китаю встречается множество мест, так или иначе связанных с Юеем. То ли это ущелье, пробитое им, то ли вырытые колодцы, то ли следы его волшебного коня. Все это говорит о том, что усмирение наводнений — огромная проблема для Китая. Да мы и сами в этом убеждаемся: практически каждое лето СМИ сообщают о разрушительных наводнениях в Китае. Например, летом 2002 года разлившееся здесь всего лишь одно озеро стало драмой для 10 миллионов человек (количество, равное населению Беларуси). Однако обращу внимание на еще один момент — действенность древней мифологии в современном Китае: героев чтят, возможно, память о них даже помогает бороться с природными напастями.

Постоянно занятый работой, Юй до тридцати лет не женился. Но, в конце концов, он взял в жены красивую девушку. Однажды Юй в облике медведя нечаянно испугал жену, и она превратилась в камень. Так что сын Юя Ци родился от камня. Первые люди, согласно мифологии греков и белорусов, тоже родились из камней.

Тема потопа в китайской мифологии явно содержит в себе идеи о начале мира, его организации, возвращению к хаосу, преодолении хаоса и установлении порядка. Деяния Юя выходят за рамки представлений о разливе рек, которые, действительно, всегда были и сейчас являются бедствием Китая, и его административной деятельности по их урегулированию, сооружению дамб, прорытию

каналов и пр. Скорее всего, Юю приписывалась роль творца земли, ее природных объектов. То, что земля уже до того была сотворенной и на ней жили люди, не снижает космогоническую тему, а говорит о сохранении в ней чрезвычайно древних элементов. Именно так представляли себе мифические времена творений, судя по этнографическим параллелям, люди наиболее архаических обществ. Во многих мифах потоп приурочивается к началу времен и носит космический характер.

Вообще из культурной традиции можно видеть, что мифам о потопах, как и другим циклам мифов, свойственно достаточно свободное перемещение во времени и вхождение в различные сюжетные связи.

У *античных греков* существовало три версии о Потопе. Они относятся, видимо, не к вселенским, а к частным, местным наводнениям, впрочем, страшным и разрушительным на довольно большой территории. Зато по-древнегречески эти истории красочны и захватывающи. Занимательность мифа в полной мере перешла в литературу, сделав ее классической.

Самая древняя версия мифа — о царе Беотии Огигесе (Оге). Наиболее разработанная — о Девкалионе и его жене Пирре. Третья версия — о царе Дардане, сыне Зевса и плеяды Электры, основавшем у подножия горы Иды город Трою.

Я остановлюсь на Девкалионовом потопе, подробно описанном в источниках. Он произошел потому, что Зевс разгневался на нечестивого Ликаона, сына Пеласга (племя пеласгов заселяло Элладу до того, как туда пришли эллинские племена). Ликаон был первым, кто цивилизовал Аркадию и ввел культ Зевса, но разгневал верховного бога тем, что принес ему в жертву мальчика. В наказание Ликаон был превращен в волка. А на землю Зевс обрушил огромное количество воды, намереваясь утопить в ней все человечество. Однако Девкалион, предупрежденный своим отцом, титаном Прометеем, построил ковчег, погрузил в его трюм провизию, а затем взошел на него с женой Пиррой, дочерью Эпиметея, брата Прометея. Вскоре после этого подул южный ветер, пошел дождь, и реки с ревом понеслись к морю, которое, поднимаясь все выше и выше, смывало города, расположенные на побережьях и в долинах. Наконец под водой оказался весь мир, кроме нескольких горных вершин, и все смертные существа исчезли с лица земли. В живых остались Девкалион и Пирра. Ковчег носило по волнам девять дней, после чего вода стала спадать, и судно пристало к горе Парнас. Называют, впрочем, и гору Афон. Говорят также, что о появлении земли Девкалиону сообщил выпущенный им голубь (Аполлодор. «Мифологическая библиотека»).

Девкалионов потоп связан, как предполагали многие, причем еще античные, ученые, с прорывом перешейка, отделяющего Средиземное море от Атлантического океана — там, где сейчас Гибралтарский пролив. Прорыв произошел в результате таяния последнего европейского ледника примерно в X—XI тыс. до н. э. и поднятия в связи с этим уровня Мирового океана на 100—150 м. В результате были затоплены огромные территории как вокруг Средиземного моря, так и вокруг Черного. Касательно Черного моря есть, однако, и иная версия, о которой скажу позже.

У Девкалиона было несколько сыновей, но наиболее известен из них Эллин, праотец всех греков. Английский писатель и ученый-мифолог Роберт Грейвс предполагает, что имя Эллин указывает на поклонение Элле-Эллен-Елене-Селене, то есть Луне. Однако русские исследователи связывают имя со славянским Елень-Олень, жрецом, пришедшим из Гипербореи и также не раз упомянутым в источниках.

В изложенном мифе, в именах его героев есть какой-то, еще, видимо, не понятый учеными символизм. Ведь не случайно единственный спасшийся в катастрофе человек — *сын Прометея*, с именем которого связано становление Человеческой Цивилизации. В знаменитой драме Эсхила «Прометей прикованный» герой, прикованный цепями к горе Кавказа (вот так и надо обуздывать цивилизацию!), беседует с другими героями и вовсе не раскаивается в том, что дал людям огонь

и обучил их разным ремеслам, избавив от холода, голода и других бедствий. Как учили нас на филфаке, Прометей осмелился сознательно нарушить запрет Зевса. Эта фабула якобы убедительно свидетельствует о кардинальных мировоззренческих сдвигах в античной культуре. С одной стороны, Зевс предстает как деспот, тиран, который за прегрешения даже одного человека грозится уничтожить весь род людской. С другой стороны, поступок Прометея является прямым вызовом Зевсу, а более широко — устоявшимся представлениям о миропорядке, который, будучи совершенным, не терпит отклонения от жестко детерминированного течения событий. (Еще бы — даже земные боги не властны над законами Вселенной!) «Эсхил не воспринимает мир как игру анархических сил, но как некий постоянно меняющийся порядок, который человек должен понять с помощью богов и привести его в систему» (А. Боннар. «Греческая цивилизация»).

В вузовских учебниках обычно пишут, что своими деяниями Прометей вносит возмущение в состояние олимпийцев, свидетельствуя этим об изменяющемся отношении к ним со стороны людей. По-моему, нельзя сказать, что это хорошо. Человечество возгордилось, уверенное, что может властвовать над природой, — ведь античные боги олицетворяли различные природные стихии и явления. Тем более в своем могуществе уверены современные люди. Однако события даже последних лет — землетрясения, катастрофические наводнения в Европе, в Китае, ужасное цунами в 2004 году в Индокитае — свидетельствуют, что Зевс (Природа) все еще всемогущ. Мудрый Эсхил понимал это, потому позднее написал трагедию «Освобожденный Прометей», где титан и Зевс приходят к компромиссу.

В теме «Зевс — Прометей» наличествует еще один важный контекст, а именно: искупительная жертва *спасителя* ради рода людского. Данный сюжет получил дальнейшее развитие в христианстве и в других религиях. И в философском плане можно сказать, что мир стоит на жертвенности: растения приносят себя в жертву животным, животные — людям. «В случае с Прометеем, однако, наблюдается личностный выбор, самопожертвование, хотя, если Зевс выполнит свою угрозу и сбросит Прометея в Аид, — также и вынужденная жертва бога. И сам *спаситель* — не человек, а бог, то есть существо, наделенное большими возможностями в сравнении с человеком. Но глубинный смысл этого мифа состоит в том, что дело исправления несовершенного мирового устройства, в том числе предотвращение возможной вселенской катастрофы, переходит в руки самих людей, пусть еще с оговорками и предосторожностями. Все чаще в мировой порядок вносятся не только разрушающие, но и созидательные действия людей, которые начинают осознавать себя действительным субъектом (а не только объектом) исторического процесса. Наряду с этим усиливается и осознание меры человеческой свободы (или несвободы), поскольку творцом и демиургом этого опять-таки выступает человек» (П. Водопьянов. «Великий день гнева»). И все же с космическим катаклизмом человечество бороться пока не в состоянии.

Славянские предания о Потопе

На территории Восточной Европы тоже был потоп. Крупнейший исследователь славянского язычества академик Б. Рыбаков пишет об этом так: «Новая эпоха в истории первобытного общества начинается 12—10 тыс. лет до н. э., когда происходит смена двух геологических периодов: ледниковый плейстоцен сменяется голоценом, современным периодом, а в археологическом смысле палеолит сменяется неолитом. Крупнейшим событием было сравнительно быстрое таяние ледника. Огромная, тысячеметровая толща льда отступала на север, испуская из себя могучие, не знающие преград потоки, пробивавшие горные кряжи и создававшие новые моря и тысячи озер и болот... Важнейшим фактором жизни стала вода. Человек научился плавать, ловить рыбу (скорее всего, восста-

новил эти навыки. — **Т. Ш.**), располагал свои стоянки на прибрежных дюнах. Второй стихией стал лес. Лес был и источником жизни и средоточием реальных и кажущихся опасностей: волки, рыси, медведи; болота, трясины, блуждающие болотные огни, фосфоресцирующие гнилые пни и полное отсутствие четких ориентиров. Но человек уже перешагнул гряду ледниковых валунов, отмечавших южные рубежи оледенения, и начал свое проникновение в северные леса. В мезолите люди дошли до Прибалтики, Белого моря, севера Кольского полуострова, а восточнее — до Вычегды и Печоры. Мезолитические охотники Восточной Европы бродили на территории около 5 000 000 кв. км леса и тайги, пересеченных тысячами речек, текущих в разных направлениях».

Я думаю, что великая курганно-мегалитическая культура, характерная для территории Украины и Беларуси, была обусловлена необходимостью спасаться на возвышенностях от наступающей воды. С тех пор курган (по-белорусски «валатоўка») — самая характерная особенность белорусского ландшафта. Местом захоронения они стали позже, что совершенно естественно, так как являлись сакральными территориями. Возникли и иные мифологические представления. Так, по мысли того же Б. Рыбакова, «господство водной стихии могло именно в мезолите породить (устойчивый в будущем) образ ящера, божества водно-донной сферы, требовавшего себе человеческих жертв и получавшего их в качестве девушек (вспомним русскую и белорусскую игру «Ящер»)». Интересно то, что и в далеком Китае божеству реки Хуанхэ, представлявшемуся в виде дракона, также приносили в жертву девушек (это считалось заключением брака): самую красивую усаживали на украшенный плотик и пускали по реке — так надеялись уберечься от наводнений.

Огромный потоп случился на территории Украины. «Тогда растаявший Днепровский ледник обрушил в Причерноморье сто объемов современного Черного моря. Эти воды с ревом хлынули в Черноморскую впадину, перелились через Дарданелльский перешеек (пролива Дарданеллы еще не было) и устремились в Эгейское море, затопляя огромными волнами все Средиземноморье и разливаясь в глубины Азии» (А. Асов. «Атлантида и Древняя Русь»). Скорее всего, именно тогда произошел прорыв перешейков и образовались проливы Босфор и Дарданеллы (Босфор в этой версии ранее был рекой), а на месте так называемого Тритонова озера разлилось Мраморное море.

Однако в последнее время все более в науке утверждается другая версия относительно данных территорий. Действительно, Черное море было озером и отделялось от Средиземного сушей на месте Босфора (как и у А. Асова). Вся эта территория была густо заселена — здесь процветала высокая земледельческая культура. Но не Черное море излилось в Средиземное, а, наоборот, согласно последним исследованиям американских и болгарских ученых, в V тыс. до н. э. произошел прорыв Босфорского перешейка, и Средиземное хлынуло в Черное. Близ Босфора были обнаружены следы прорыва древней «плотины». Российский исследователь А. Волков пишет: «Мощь этого водопада в те дни превышала мощь Ниагарского водопада в двести раз». Вода прибывала каждый день. Через год уровень Черного моря поднялся на 55 метров. Такая модель катастрофы тоже возможна.

Все упомянутые места не так уж далеки от Беларуси. Притом, что именно оттуда, с юга, либо следуя за отходящим ледником, либо спасаясь от Черноморского потопа, люди шли на север, осваивая все большую территорию, в том числе нынешнюю нашу родину. Во всяком случае, в народном творчестве белорусов стихия воды занимает одно из главнейших мест. Тысячи заговоров — самого древнего жанра фольклора — начинаются зачином: *«На моры-акіяні,* на востраве Буяні...» Где находится этот легендарный остров, мифологи спорят до сих пор. Кроме того, именно у белорусов сохранились наиболее архаичные представления о морском боге или царе. Это, по-моему, свидетельство не только памяти о причерноморской прародине, но и о том, что относительно недавно было море и на нашей теперешней земле.

Так называемое Море Геродота — Полесье, залитое водой. «Страной вод и туманов» назвал нашу страну персидский царь Дарий во время своего похода на скифов в V в. до н. э. Геродот же рассказывает об огромном море, в которое вливаются четыре реки: Оар (нынешняя Горынь — самая капризная и опасная в смысле паводок река), Сюргис (Стырь), Лик (Случь) и Танаис. Вообще-то Танаисом греки называли Дон, который у нас не протекает, поэтому, о какой реке говорит Геродот, сказать трудно. Позднее на картах арабского географа аль-Идриси на месте Геродотова моря изображено огромное озеро Терми, в которое впадает семь рек с севера и четыре с запада и юга. В этих местах при обработке полей еще недавно находили якоря и даже остатки небольших кораблей. На родине моей мамы в Гомельском районе — сплошной песок, в котором ноги буквально тонут. Я всегда считала, что это остатки прибрежных дюн.

Многие белорусские топонимические предания именно Гомельщины и Брестчины рассказывают о бывшем здесь море. Например, в одной из легенд говорится: «Одно место у нас называлось Кораблище. Тут когда-то было очень большое озеро, как настоящее море. По нему даже плавали большие челны и корабли». В другом предании, о поселении Скородное: «Когда-то, несколько столетий назад, на месте нашей деревни было большое озеро». О местечке Красный Берег: «Когда-то у нас огромное озеро было, не то, что теперь. С одного берега на другой двое-трое суток перебирались». О селе Замошье: «Когда-то на месте нашей деревни, да и не только нашей, но и многих окрестных также, было море. Никто уже не помнит, как его называли люди... Плавали по нему корабли — деревянные, огромные, на два или три этажа. Такие, что в них сразу могли жители из нескольких поселений вместе со своим скарбом поместиться и отплыть». Характерно, что море стало болотом, деградировало, пропало, проклятое Богородицей, поскольку в нем утонул ребенок.

В целом объяснение особенностей земного рельефа, а также появление некоторых животных и птиц (аиста, гадов, кошки), белорусские и украинские мифы связывали именно с потопом.

Известный русский мифореставратор А. Асов свел все славянские предания о потопе (в переложении) в единый свод под названием «Звездная Книга Коляды». Изначальное предание о потопе, сходное с мировым преданием о рождении мира из вод (есть оно, например, и в Ведах Индии), а также с эллинским преданием о потопе Девкалиона, А. Асов воссоздавал в значительной степени на основе белорусских легенд, согласно которым первые послепотопные люди были сотворены из камней. Основывался исследователь также на русских былинах, например, о Святогоре и Пленке, на общераспространенных сказках о Кощее Бессмертном, на южнославянских песнях и духовных стихах.

Конечно же, реставрация А. Асова — это, прежде всего, художественное произведение, хотя и основанное на мифах. Но и греческая мифология не что иное, как обработка самых разных легенд Греции античными философами и писателями, о чем мы сегодня забываем. Потому такого рода мифореставрации, которыми и я не пренебрегаю как гипотезами-будителями фантазии студентов и читателей, думаю, полезны для развития как литературы, так и мифологической науки.

А. Асов пишет: «Конец Света в преданиях народов мира описывался удивительно сходным образом. Главные составляющие мирового бедствия — всепоглощающий огонь и воды Потопа. В сказаниях также обычно описывается, как последовательно уничтожался мир — словно Бог одну за другой убирает декорации, установленные при сотворении: свертывает небо, стряхивает на землю звезды и т. п. Последний спектакль, разыгрываемый на Земле, включает в себя битву богов и чудовищ, добрых и злых сил, Яви и Нави. Так же видели Конец Света и древние славяне. Все подробности восстанавливаются с большой точностью. Например, былинный Святогор часто грозит повалить столб, подпирающий небо. Его угрозы в былинах остаются лишь похвальбой. Но во время Конца Света он исполняет свою угрозу...

Исполнялись песни о Великом Потопе в марте, во время празднования Масленицы. Разливы рек, происходящие в это время, служили как бы напоминанием верховного небесного бога Рода-Сварога-Перуна о том Великом Потопе. А «пасхальные» яйца напоминали о Яйце, в котором была заключена смерть Кощея. И над землей русской раздавались голоса волхвов, убеждающих верующих, что если люди будут уклоняться от исполнения обрядов, от святых волхвований, то разливы рек не прекратятся, и вновь наступит Великий Потоп.

Важнейший философский смысл мифа заключается в том, что опасно побеждать Навь, поскольку за победой последует катастрофа. Эта мысль многократно повторяется в славянских мифах, она — стержень ведической философии. *Гармония — в равновесии, а в победе Яви или Нави — нарушение главного закона Прави* [Подчеркнуто мною. — **Т. Ш.**].

И потому в преданиях об Изначальном Потопе после победы Правды над Кривдой Правда идет на небеса, а Кривда остается на Земле. После победы Сварога и Семаргла над Черным Змеем приходится вновь творить мир. После победы над Вием Дажьбог освобождает Кощея, а после победы над Кощеем наступает Всемирный Потоп. И потому не следует разбивать Кощеево Яйцо, не следует бороться с Навью до победы, так как победа непременно обернется жесточайшим поражением. И потому окончательная победа одной религии, одной идеологии — это нарушение важнейшего закона Прави» (А. Асов. «Звездная книга Коляды»). Правь — законы Мироздания, Явь — явленный нам в ощущениях мир, а Навь, как представляется, мир иной, параллельный нашему, невидимый.

Предлагаю самим читателям оценить философскую концепцию А. Асова.

С его реконструкцией можно познакомиться по многим публикациям. Особенностью реставрированного Асовым славянского мифа — в отличие от мифов других народов — является большое количество действующих лиц: задействованы практически все основные боги пантеона, а также иные мифологические персонажи типа Кощея Бессмертного.

Но все же если взять только белорусские сказания о катастрофе, то можно убедиться, что их спецификой является осознание пусть катастрофичности потопа для огромного региона, но все же не вселенского его характера, как в шумерских текстах и в Библии. То есть, я полагаю, здесь не было молниеносности, внезапности, а значит, и оставшегося в генах ужаса перед бедствием. Наши предки уходили от наступающей воды постепенно. Зато очень много на территории Беларуси легенд о погруженных в воду озер церквей и поселений, то есть тема «града Китежа», пожалуй, именно у нас доминирующая. Вот характерный пример — топонимическая легенда о деревне Звонец в Гомельской области: за убийство родителями своей дочери «деревня за ночь пошла на дно. Потом и озеро пропало, а из глубины подземельной несся иногда малиновый густой звон». То есть я хочу сказать, что в мотиве «града Китежа», распространенного на востоке Европы, провалившаяся церковь или село не исчезают окончательно, а существуют под водой либо под землей, словно в другом измерении. Но существуют.

Поиски Ковчега

Книжная культура славян, как и иных христианских народов, ставит миф о Потопе в центр догматики — как второе миротворение. Достаточно сказать, что «Повесть временных лет» и белорусско-литовские летописи обязательно начинаются с этого мифа, со спасшегося в ковчеге Ноя и с возобновления человеческой цивилизации. Причем сам библейский догмат, в свою очередь, обрастает своей мифологией. Так, древнее армянское предание говорит о том, что в «конце времен» ковчег, в котором спасся библейский Ной, вновь появится, чтобы доказать истинность едва ли не самой важной из библейских историй — истории о Потопе и о горстке людей, выживших благодаря своей непоколебимой вере в Слово Божие.

Ковчег, который Бог велит построить Ною, по-древнееврейски называется «theba». В оригинальном тексте Библии это же слово употреблено для обозначения просмоленной корзины, послужившей для спасения младенца Моисея в водах Нила. Это же слово использовалось для обозначения иудейского Ковчега Завета. При этом слово «theba» имеет, видимо, египетские корни. В египетском языке «theba» — гроб-саркофаг, ковчег, в котором мертвые пересекают воды преисподней, чтобы очутиться в Дуате; это тот самый ящик, в котором был заключен бог Осирис, умирающий и возрождающийся бог природы.

Другое название ковчега — «arka». По-египетски «ark» означает «заключать внутрь», «спрятать». Латинское «arca» означает «ящик», «сундук», «ковчег». Ковчег прибило к горе Арарат, у подножия которой течет река Аракс. Я хочу здесь обратить внимание на постоянно возникающую удивительную морфему (в разных вариантах) «ар-ра», «ор-ро», «ур-ру», о которой неоднократно писала. Кстати, видимо, не случайно и название греческого корабля Арго, на котором греки путешествовали за Золотым Руном. Сегодня в науке утвердилось мнение, что Руно — вовсе не шкура барана, а тайное знание, записанное рунами. Может быть, как раз то знание, которое осталось от предшествующей цивилизации. Но и белорусское «труна» — также, по-моему, из этого гнезда слов. В языке остались какие-то следы *знания о пути* в иной мир, словно и у нас была своя «Книга мертвых», как в Египте и в Тибете...

Народные предания разных народов сообщают, что Ноев ковчег был трехъярусным. Видимо, это связано с древней трехчастной структурой мироздания, представление о которой существовало у многих народов: нижний мир олицетворял преисподнюю, первозданные воды, средний мир — мир земной (людей, животных, растения), а верхний мир — птиц. Таким образом, *Ковчег — Мир. И действительно, из Ноева ковчега и вышла вся новая жизнь на опустошенной потопом Земле. Он стал ядром, прообразом нового мира.*

Основной моделью мироздания в древних традициях считался *храм.* Не случайно потому в греческом языке слова «храм» и «корабль» очень похожи. И не случайно, разумеется, что в виде корабля строились и христианские храмы. Саму христианскую церковь очень часто сравнивают с кораблем, плывущим в море греха. Спастись могут лишь те, кто храним ею, как Ной своим ковчегом. В легендах белорусов о «море Геродота» сохранилась память о трехпалубных кораблях, каким был и ковчег Ноя. Кстати, в белорусских и украинских преданиях о потопе главное внимание уделено именно строительству ковчега. А сыновей Ноя в полесском мифе — не три, как в Библии, а два.

Круг Зодиака тоже уподоблялся ковчегу. И, конечно же, своеобразным ковчегом является человеческая душа...

Символика ковчега, действительно, очень богатая. Но вот с середины XIX века стали появляться сообщения о том, что на горе Арарат и в самом деле находится ковчег (!). Многие живущие у подножия горы крестьяне совершали восхождения, чтобы поклониться святыне, подобно тому, как совершают паломничество к Мекке мусульмане.

В книге В. М. Каммингс «Ноев ковчег» содержатся достоверные описания наблюдений ковчега, начиная с 1840 года. Самые поразительные события произошли буквально накануне Февральской революции 1917 года. Русские летчики делали облет горы и заметили с высоты старинное судно огромных размеров, превосходившее боевые корабли XX века. Когда летчики возвратились на аэродром и рассказали о замеченном объекте, над ними смеялись товарищи, но командир попросил доставить его туда и, убедившись сам, послал донесение русскому правительству. Оно вызвало большой интерес, и царь якобы направил две специальные роты солдат для восхождения на гору. Одна группа из 50 человек взбиралась по одному склону, а другая из 100 человек — по другому. «Потребовалось две недели тяжкого труда, чтобы пробить тропу через утесы нижней части горы, и прошел почти месяц прежде, чем люди достигли ковчега, сделали

точные замеры и множество фотографий, которые затем были отправлены царю. В ковчеге оказались сотни небольших комнат и несколько больших помещений с высокими потолками... Все было густо покрашено похожей на воск или шеллак краской, а качество работы в целом свидетельствовало о высоком уровне цивилизации. Использовалась древесина олеандра из семейства кипарисовых, которая не гниет, что в сочетании с покраской и пребыванием большей части времени в замороженном состоянии объясняет прекрасную сохранность судна...»

Через несколько дней после того, как экспедиция послала свой отчет в Петербург, царское правительство было свергнуто, и власть перешла к Временному правительству, то есть к безбожникам. Позже, уже при советской власти, бумаги как будто попали к большевику № 2 — самому Льву Троцкому, который приказал вообще их уничтожить, не допуская возможности подтверждения правдивости Библии.

Большинство участников экспедиции на Арарат или погибли во время гражданской войны, или эмигрировали в другие страны. Кое-кто из них опубликовал свои воспоминания, которые скрупулезно и собрала автор книги.

Во время Второй мировой войны вновь, видимо, подтаял ледник, в котором замурован ковчег, и его видел с самолета немецкий летчик. Однако в то время, конечно же, было не до поисков религиозной святыни. Летом 1953 года американский пилот вертолета Дж. Грин сделал над Араратом с высоты 100 футов шесть четких фотографий. На них были явно видны на горном уступе очертания того, что казалось Ноевым ковчегом. Судно наполовину ушло в горные породы и лед, покрывавший уступы. Будучи обеспеченным человеком, Грин начал срочно организовывать экспедицию на Арарат, однако не успел этого сделать, так как неожиданно скончался.

В 1956 году итальянец Ф. Наварра извлек из-подо льда замерзшего озера на вершине Арарата несколько досок якобы с обшивки ковчега и деревянный брус, вытесанный в форме буквы Г. Вдохновленный находками исследователь написал книгу «Ноев ковчег: я его касался» и организовал в 1969 году англо-американскую экспедицию для продолжения исследований. Экспедиция привезла с собой еще несколько досок с Арарата. Причем древесина была так крепка, что при ее обработке ломались электроинструменты.

В 1965 году в лондонской газете «The Daily Telegraph» появилась фотография горы Арарат, сделанная со спутника. На снимке четко просматривается очертание морского судна, увязшего во льдах. По своим размерам оно равно 2/3 знаменитого трансатлантического лайнера «Куин Мэри» (этот размер соответствует описаниям Ноева ковчега в Библии). Уникальная фотография была перепечатана русским журналом «Чудеса и приключения» лишь в 1993 году. Снимки делались и позже, но американцы почему-то засекретили их.

Семь безуспешных попыток найти ковчег предпринял американец Дж. Либи из Сан-Франциско. Однако в 1974 году турецкие власти полностью закрыли район Арарата как стратегический, запретив любые экспедиции в целях сохранения безопасности страны, поскольку Арарат — пограничная гора: часть ее предгорий находились на территории СССР (Армения).

Все это чрезвычайно подозрительно. Но отдадим дань уважения армянскому народу, притязавшему на район Арарата как на землю своих предков с доисторических времен, веками хранившему знания о ковчеге и о его приблизительном местонахождении. При этом неудачу многочисленных экспедиций можно объяснить, во-первых, чрезвычайно трудным подъемом на пятикилометровую гору, во-вторых, тем, что ковчег находится внутри ледника, и только в очень жаркое лето, когда ледник подтаивает, виден его нос. Армянские крестьяне, живущие у подножия Арарата, говорят, что ковчег действительно находится там, причем он полностью окаменел и похож скорее на баржу с домом наверху, но *он никогда не будет найден.* Сообщения о ковчеге стали в СССР активно появляться в 1980-е годы, то есть в конце советской эры. В этом тоже есть свой символизм:

лихорадочный поиск людьми хотя бы какого-то спасения. Впрочем, тогда многие обратились к религии.

В 2005 году в СМИ прошли сообщения, что некая экспедиция все же поднялась на Арарат и обнаружила: то, что из Космоса совершенно определенно казалось ковчегом, было всего лишь скальным образованием причудливой формы. Однако веры этому сообщению нет. Скорее всего, какие-то *силы* не желают такого весомого подтверждения Библии. Есть мнение, что ковчег пока и в самом деле *не дается* исследователям. Видимо, для явления его миру час еще не пришел...

Теологическая версия всепланетных природных катастроф

Конец XX — начало XXI веков ознаменовано все большим сближением науки и религии. Поэтому, прежде чем говорить (в последующей публикации) об Атлантиде и Гиперборее и о научных объяснениях природных катастроф, приведу теологическое, исходящее из того, что все, описанное в Библии, правда.

Чем отличалась Земля до Потопа от нынешней Земли?

В описании Сотворения Мира сказано: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом» (Быт., 1, 7—8).

Таким образом, переходя на современный язык и современные представления, при создании атмосферы (*тверди*) во второй день Творения некоторая часть земных водных запасов находилась с внешней ее стороны, то есть поверх воздушного слоя планету окружал слой водного пара. Подобный водный экран, свободно пропуская видимую часть солнечного света, задерживал переотраженное длинноволновое (тепловое) излучение, создавая глобальный парниковый эффект. В этом случае по всей планете от полюса до полюса должен был наблюдаться тропический климат. И действительно, в заполярных областях росли тропические растения: в Арктике ныне залегают огромные толщи каменного угля, который образовался из этих растений.

Далее: равномерный прогрев поверхности Земли исключал возможность ветров, ураганов, паводков и т. д. Кроме этого, слой водяного пара мог явиться прекрасным естественным щитом от жесткого космического излучения, приводящего к дегенеративным мутациям на генетическом уровне, сокращающим, в свою очередь, срок жизни живых организмов. Ведь и вправду праотцы до Потопа жили сотни лет: Адам — 930, его третий сын Сиф — 912, Енох — 905, Ной — 600 лет. При этом животные и растения были гораздо крупнее современных, например, пространство земли покрывали древовидные папоротники, а сегодня папоротник — трава; найдены отпечатки и гигантских насекомых, скажем, стрекозы с размахом крыльев в 1,5 м.

Специалист в области физики атмосферы доктор Дж. Диллоу (США) произвел математическую оценку того, какое количество водяного пара могло бы стабильно находиться поверх атмосферы. Оказалось, что подобный экран должен был иметь мощность, эквивалентную 12-метровому слою жидкой воды на земной поверхности. При разрушении такой слой должен был вызвать непрекращающиеся обильные осадки на протяжении примерно сорока суток, что, собственно, и произошло во время библейского Потопа. Вот почему, как кажется мне, и говорится во многих мифах, что дождь падал с Луны, поскольку вода, действительно, находилась выше земной атмосферы.

А куда же девалась вода? Да никуда! Она и сейчас покрывает планету более чем на 70 %. Однако в силу определенного свойства литосферы — изостазии — часть земли поднялась над водой (об этом свидетельствует миф инков). Кроме того, значительное количество воды аккумулировалось в начавших расти сразу после разрушения водно-парового слоя полярных ледяных шапках: парниковый

эффект был нарушен, и эти области недостаточно прогревались косо падающими солнечными лучами.

Сбегая с поднимающейся суши, вода промывала в еще не затвердевших осадочных слоях гигантские долины и каньоны, по которым по сей день текут современные реки.

По-моему, эта версия, высказанная образованными богословами, совсем не хуже иных академических теорий.

Далее теологическая гипотеза утверждает, что динозавры (в Библии динозавр предстает под именем Левиофана) были современниками людей до Потопа, а, возможно, некоторые из них выжили и позже. Свидетельств — сотни: и ископаемые останки, и рисунки (камни Ики), и мифы, и сказки (Змей Горыныч), и средневековый европейский эпос, в котором каждый уважающий себя рыцарь обязан был сразиться с драконом. Б. Рыбаков — чрезвычайно серьезный ученый с мировым именем — был уверен, что в болотах Полесья «ящер», то есть динозавр (типа варана), жил еще в средние века. При этом ученый основывался на летописных источниках.

«Любые научные книги, почитавшиеся в свое время вершиной миропонимания, старея, кажутся все более и более наивными, Библия находит все новые и новые подтверждения — как естественно-научные, так и исторические», — пишет теолог С. Головин в книге «Всемирный Потоп».

А причина Потопа совершенно ясна и в мифах разных народов, и в Библии: моральная деградация человечества, то, что мы наблюдаем особенно явственно в наше время. Потому нынешняя развращенная цивилизация, похоже, также обречена. Нас и пугают уже не первый год глобальным потеплением, а значит, неминуемым повышением уровня Мирового океана. Да собственно, и сама Земля не раз подавала знаки — достаточно вспомнить недавний 2013 год: настоящий потоп в Амурской области, летние наводнения в бассейнах Дуная и Эльбы, в Бразилии, Анголе, Намибии, Новой Зеландии.

Впрочем, в наше время можно вызвать и искусственный потоп. Еще в пору существования Советского Союза СМИ на Западе нагнетали такую же истерию о советской ядерной угрозе, как сегодня — о конце света. Был запущен слух о советских ядерных фугасах, заложенных у берегов США и европейских стран. Этот миф назвали операцией «Периметр». И вот недавно известный российский политик Владимир Жириновский в одном из телевизионных интервью вдруг вновь вытягивает на свет божий эту легенду, рассказывает о «глобальном Периметре» — десятках ядерных фугасах, заложенных вокруг США и Европы. Подрыв этих фугасов может вызвать подвижку литосферных плит, их разрывы и столкновения, что приведет к колоссальному шторму с 10-бальными земле- и моретрясениями, проседаниями земной почвы и вспучиванием морского дна. То есть к настоящему Всемирному потопу, еще похлеще библейского. Владимир Вольфович никогда ничего не говорит просто так. Впрочем, «предупрежден — значит, вооружен».

Однако Бог пообещал Ною, что потопов больше не будет. Что же будет? Что-то, мне кажется, совершенно удивительное, которое изменит сознание людей и сделает их лучше.

Продолжение следует.

ВИССАРИОН ГОРБУК

*Военные дневники**

5 июня — 5 июля 1942 г.
Лебедянь — Черепянь — Волотово.

Меня с Владимиром вновь перебрасывают на новый участок в деревню Дон-Избищи по распоряжению начальника УОС полковника Загороднего.

Организационный период, перестройка нашей организации закончилась, и мы, как прорабы, наконец, нашли свое место.

— Выезжайте быстрее. Здесь вам делать нечего, а там вы нужны.

С восьми утра до вечера мы в ожидании машины осматриваем город Лебедянь.

Я встречаю Ив. Ив. Романова, инженера, товарища по квартире в Кулачево. Несколько месяцев не видел его.

— Где ты был? Рассказывай.

— Не повезло. Болел какой-то новой болезнью — туляремией. В Красновидове в эвакуации лежали вместе с ранеными, прибывающими прямо с фронта.

— Расскажи про них. Как их настроение? Вообще впечатление.

— Меня одно поразило. Прибывают в госпиталь ребята тяжелоранеными, но все они довольны. Довольны, что остались живы, попали в тыл, вылечатся. Они живо шутят, курят, играют в домино, карты, вспоминают о девушках, рассказывают о боях. А картины боя — сгусток ремарковщины. Я внимательно изучал всех ребят, и у меня осталось в душе впечатление, что все наши бойцы — патриоты родины. Выздоровев, они снова пойдут в бой, и еще крепче будут драться. Они с любовью рассказывают о своих командирах, которые водят их в бой, которые заботятся об их жизни и яро ненавидят тех, кто боится приближаться к огню; тех чистеньких, упитанных, которые околачиваются в тылах, а должны быть на фронте. Это естественно. Чувствуется, что рядовая масса бойцов освоила немцев и бить их стала увереннее. Если обобщить все из жалоб на отрицательное, то основная их суть: неумение командного состава беречь жизнь бойца, вытекающая из, как бы тебе сказать, недостаточного умения руководить боем.

Бродим по пыльным улицам Лебедяни. Зашли в книжный магазин. На полке роскошная книга «Сталин». Смотрю. Изумительное издание. Вся история революции в фотодокументах. Живая история. С любовью, вновь ощущенной, бережно перелистываю записки Ленина, пожелтевшие, написанные карандашом, телеграммы Сталина, тезисы... Словно ощутил теплое дыхание рядом стоящего Ильича... Вот бы в каждую школу такую книгу! Сколько бы детских глаз зажглось огоньком радости, сколько бы сердец ощутило вспыхнувшую любовь.

Наконец, вместо восьми утра выбираемся в шесть вечера. Шофер и агент снабжения достоялись в громадной очереди до вина, выпили и готовятся ехать.

<...>

---

[1] Продолжение. Начало в №3, 2014 г.

Машина идет по полям. Море волнующихся хлебов. Высокая пепельно-зеленая стена ржи равномерно колышется. Она покоит твое сердце, ласкает тебя. Наше дорогое, мирное. Разве можно такие поля отдать врагу.

<...>

Я черчу схему огневого рубежа.

Вокруг расположилась группа инженеров-рекогносцировщиков.

— Смотрите, какой бешеный огонь. Какая насыщенность. Просто красиво, — восхищается один.

— А рубеж ни к черту не годен. Круговой обороны нет. В одном месте прорыв — и все оставляй. Огонь на восток не повернешь.

— Да. Только несколько точек смотрят на восток.

— Вот бы немцу эту схему показать, чтобы он сюда не шел.

— А он и так лучше нас знает наши рубежи. Я помню: мы никак не могли составить общей схемы Киевского рубежа, а однажды сбили немецкий самолет, так у летчика нашли полную литографированную схему всех точек. У нас еще и первого экземпляра нет, а у него печатный тираж готов. А он, сволочь, фотосъемкой занимался с самолета.

— Мощный был Киевский рубеж?

— Ого, если бы защита, его бы никогда не взяли, или миллиончик уложили.

— Вообще мы в свое [время] совершили две ошибки. Об этом когда-нибудь напишут. Во-первых, мы взяли у Германии территориальные подачки, не разглядев их смысл, обрадовались и стали возводить на новых границах рубежи и совершили вторую ошибку, забросив прежние укрепления, сняв с них все вооружение. И у нас не оказалось ни того, ни другого рубежа, чего и хотелось немцам. А вместе с новой территорией мы получили целую армию немецких шпионов, диверсантов. Я отступал через Львов и другие города. И всюду стреляли по нашим частям. Кто? В основном немецкие группы. По-моему, при иных обстоятельствах Германия не стала бы воевать с нами.

— Скверны наши дела на Юге. Что будет дальше? Неужели он так и пойдет?

— По-моему, наше отступление вынужденный, но своеобразный маневр. Мы еще раз жертвуем территорией, изматывая и обескровливая врага и сохраняя свою армию. Как и под Москвой, он выдохнется, а тогда мы ударим. А тут откроется второй фронт. В конце июля, в начале августа будет перелом.

— Мне тоже кажется, что мы действуем по закону сжимающейся пружины. Нам еще в перспективе предстоит борьба за организацию политического порядка в Европе. Мы не можем оказаться обессиленными, измотанными победителями. Нам нужно выиграть и войну, и мир.

— Я думаю, что в этом году Германия падет. Она слабее, чем представляется. Ее броски — броски выдыхающегося. Кто из вас читал мемуары Ллойд-Джорджа? Там есть любопытный эпизод. Однажды Ллойд-Джордж созвал военный совет и поставил вопрос: «Выскажите откровенно ваше мнение: когда мы сможем кончить войну?» — «Через год мы станем сильнее противника, через два года мы победим Германию», — был единодушный ответ. А через три месяца, это было в 1918 году, Германия капитулировала.

— У меня работают бойцы, воевавшие зимою на Западном фронте. Они все говорят, что этой зимою немцев можно было гнать до наших границ. Настолько они были деморализованы. Но мы не наступали как следует. Займем деревню, несколько дней гуляем, отдыхаем в ней. Бойцы рвутся вперед, особенно те, чья местность впереди, а нас не пускают.

— Видимо перед армией стояла задача уничтожения врага. Прогнать, не истребив, значит опять ожидать нового наступления.

— Много мы не знаем. Поэтому очень трудно обсуждать такие вопросы.

— Да, это верно.

Разговор переходит на обычные темы.

<...>

Выхожу на улицу. Идет группа мальчиков лет 7—9. Впереди важно шагает мальчуган, чувствующий себя вожаком. Он без рубахи, в лихо сбоченной пилотке. На пилотке яркая звездочка. Мальчик, рисуясь по-взрослому, курит. Вся группа копирует его действия и каждое движение. Все затягиваются дымом и лихим взмахом отбрасывают в сторону руки с папиросками. Задирая головенки, ребята, надуваясь, выпускают вверх дым.

— А ну, вперед! Бей фрица! — командует передовой. Все с места срываются в бег и, поднимая пыль, исчезают в переулке, где, видимо, скрывается противник.

— Будущие бойцы, — улыбаясь, говорит стоящий рядом со мной бывший учитель. — Многие из них под влиянием сегодняшних дней донесут в сознательную жизнь стремление уйти в армию, любовь к войне. А как курят!.. А? Они представляют, что настоящий боец должен пить и курить, чтобы лихо рубить.

— Сейчас дети только в военные игры играют. Во дворе моей хозяйки ребята собираются со всех изб и строят блиндажи, землянки, потом камнями бомбят свои сооружения, вновь возводят, и так — целый день.

— Вчера я на Дону купался. На обоих берегах группы ребят. Они обстреливают друг друга камешками, переплывают реку и кричат:

— Наш берег. Ура!

— Держи шпиона. Вон он в кустах.

— А как я быстро перебрался — и не ранили.

— Очень интересно. Вообще мир детских интересов война совершенно переменила. Я вспоминаю случай по работе на Можайском рубеже. Эскарпировали мы берег лесной реки. Вдруг, посоветовавшись, подходит ко мне группа ребят 10—13 лет и говорят:

— Дядя инженер, разрешите нам подорвать это дерево.

А по трассе рва стояла огромная береза. Нам ее нужно было убрать, и ребята об этом случайно узнали.

— У нас все есть, дядя инженер, и тол, и шнур, и рвать мы умеем, — просили они.

Я, конечно, не рискнул дать им разрешения, но был очень удивлен. А раз иду по лесному завалу, встречаю мальчика-школьника, стоящего над миной.

— Что ты делаешь? — спросил я, испугавшись.

— Мины ищу, — отвечает он спокойно.

— Зачем?

— Я их разряжаю, чтобы не было опасно ходить.

— Ты же подорвешься.

— Я уже пятьдесят три мины разрядил. Это совсем не страшно.

Посмотрел я со стороны на юного героя и, удивляясь, поспешил отойти. Я вспомнил, как один из мальчиков недавно здесь взорвался. Расспрашиваю в деревне про парнишку. Верно, оказывается. Лучше взрослых умеет разряжать мины. А с чего это началось? С игры, с любопытства. Он мог взлететь, как и взрослые взлетают, но случайно научился от бойца-сапера и стал мастером[1].

— Недавно я был в Москве. Встретил своего бывшего ученика семилетки. Летчик-истребитель, орденоносец. Узнал меня — растерялся, обрадовался. Я удивился, что с такою силою до сих пор сохранилась у него детская любовь ко мне, уважение, вера в меня, вызвавшая полную откровенность. Какой неизгладимый след на всю жизнь оставляет в душе ребенка любовь учителя. Я был сам смущен и рад за себя, за результат своего труда.

—

Из всех многочисленных встреч и знакомств за время войны самую лучшую память о себе оставили у меня два человека. Разные по характеру, они в моем

[1]Здесь и далее курсив мой — А.В.

представлении объединены одной общей чертою: чуткой и бескорыстной любовью к Родине.

Если позволят обстоятельства, я попытаюсь восстановить в своей памяти черты Серафима Николаевича Решетова — комиссара участка строительства Селижаровского боевого рубежа.

Я рад был встрече с ним в тяжелые дни лета и осени 1941 года. Трудно будет восстанавливать по памяти облик этого человека с проницательным умом, решительного волевого коммуниста.

В еще более напряженные и тяжелые дни лета и осени 1942 года на Донском рубеже, в Лебедяни, я встретился с инженером Васильевым Владимиром Николаевичем. К моей радости, из кратковременного общения с ним по работе мне удалось запечатлеть некоторую, небольшую часть черточек этого человека, вызывающего уважение и любовь к себе всех, кто с ним общался. Работая с ним, всегда хочется делать только очень хорошо, чтобы доставить ему радость и услышать его чуткую оценку.

Владимиру Николаевичу сейчас 53 года. Выглядит он гораздо старше, но ходит прямой энергичной походкой, держится бодро. Одет в военное, всегда чисто выбрит.

На второй день моей работы на новом рубеже, бодро стуча крепкими охотничьими сапогами, зашел он к нам в рекогносцировочный отдел и мне запомнилось, как все с искренней теплотою приветствовали его.

— Ну что, мой голубчик, как у вас на новом месте дела? — обратился он ко мне, положив на мое плечо свою теплую руку. — Устроились? Хорошо? Ну, работайте, работайте. У нас сейчас очень много работы.

Его обращение, полное участия и отцовской ласки, сразу вызвало прилив симпатии и желание чем-нибудь порадовать его.

— Вот что, голубчик мой, — сказал Вл. Ник. вошедшему в комнату инженеру-рекогносцировщику Федорцову, Косте, как все его звали здесь. — Вчера вы наметили точку в соседней деревне на месте пчельника. Ну, разве можно так? Там, я узнал, помещается шестьдесят ульев. Ведь это же наше, родное... Зачем разорять?.. Перенести надо, обязательно перенести. Дело от этого не пострадает.

— Перенесу, сегодня же перенесу, Владимир Николаевич, — смущенно улыбаясь, отвечает Федорцов.

— Ну, вот и хорошо. Хотя и говорят, что война есть война, а пока есть возможность, надо все беречь, жалко же свой труд губить.

На мгновение Вл. Ник. задумывается.

— А в молодости, эх, кто не грешил! — вдруг, предавшись воспоминаниям, улыбнулся Вл. Ник., и морщинки его лба и бровей разгладились. — Бывало мы, студенты, поедем летом на практику, без денег, голодные. Выйдешь в свой район и думаешь: что делать? Видишь — усадьба, веранда. На веранде барышни в белых платьицах, чаек попивают...Ну, и нацелишь свой теодолит прямо на угол усадьбы, снимаешь что-то, чертишь, записываешь. Там смотрят, смотрят, выйдут и озабоченно спрашивают:

— Что это вы, молодой человек, делаете?

— Видите ли, мы проектируем провести здесь железнодорожную линию. Так, понимаете, трасса как раз через вашу усадьбу проходит. Вам, вероятно, придется ее сносить.

—Ах, что вы, молодой человек! — восклицают барышни. — Зайдите, пожалуйста, к нам на чаек, отдохните у нас.

Смотришь, ты уже на веранде, чай со сливками, варенье, масло... Ухаживают за тобой и прочее. Поживешь несколько дней.

— Ну, ладно, мы как-нибудь обойдемся, постараемся не трогать вашу усадьбу, — говоришь на прощание.

Все смеются.

— Да-а! Умели ребята... Находчивый народ... Ну, вот...

И Вл. Ник. переключается вновь на деловую беседу.

— Эти данные чьи? — разворачивая громадный лист и щурясь на поле мелко уставленных цифр, спрашивает Вл. Ник.

— Нашего экономиста Федорова.

— А-а! Василия Константиновича. Он уже все составил. Молодец! Какой он усидчивый... Владимир Георгиевич, — обращается Васильев к начальнику участка, — надо старичка как-нибудь поддержать. Он нездоров, а курит всякую дрянь. Выпишите ему табачку, порадуйте его.

Мне кажется, что есть в инженере Васильеве что-то Кутузовское, какая-то внутренняя народная правда. Меня удивляет, как человек за свою долгую жизнь, через столько испытаний пронес чисто юношеское доверие, ласку, участие к людям, сохранил столько энергии. Настоящая любовь к труду, людям, к родине чувствуется в этом человеке — инженере Васильеве.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой дружок. Ну, как работа? Ого! Отличная работа!.. Хорошо, хорошо... Ну, какие новости? Мы без вас ни одной сводки информбюро вовремя не слыхали. Ах, нехорошие новости! Подумайте: Новочеркасск, Ростов, Батайск. Это страшно быстро, дорогой мой. Это катастрофически быстро...

Я гляжу на страдающее лицо Вл. Ник., в его глаза, полные душевной боли, и мне хочется его утешить.

— Вл. Ник., но сердце чувствует, что вот-вот должен наступить перелом.

— Голубчик, Вы смотрите на карту. Я привык видеть факты... Нет, это очень тяжело, очень тяжело...

И его голова в раздумье склоняется к карте голубенького карманного атласа.

В кабинет Вл. Ник. входит полный, тяжело дыша, больной сердцем, нач. колонны Тихомиров и сразу обращается к Васильеву:

— Вл. Ник., мне до сих пор не дали машины. Колпак не завезен.

— Как? Вчера же я сразу обо всем договорился, — удивился Васильев. — Позовите диспетчера.

— Я вас слушаю, товарищ главный инженер, — четко бросает слова вошедший молодой парень в штатском.

— Почему не завезен колпак на точку?

— Вчера к штабу колонны была подана машина. Шофер полчаса простоял, никого не найдя, вернулся, доложил мне, и я получил распоряжение направить машину в другое место.

— Как так? — возмущается Тихомиров. — Неужели не могли найти, кому отдать машину?

— Кого мы будем искать? — возражает диспетчер. — В заявке ничего не указано.

— В штабе всегда есть люди.

Вл. Ник. хмурится. Недоговоренность, мелочная, элементарная недоговоренность задержала на целые сутки строительство огневой точки. Он прерывает ненужный спор.

— Как сейчас исправить дело? У кого сейчас машина?

— Не знаю, — отвечает диспетчер, четко чеканя слова. — Пришел один прораб, говорит, мне нужно завести не один, а два колпака. Ему отдали машину.

— У нее много было бензина?

— На один рейс.

— Значит, она застряла где-то на дороге. Надо разыскать.

Нач. колонны и диспетчер уходят.

Вл. Ник. вздыхает.

— Вот где наша беда. Ведешь непрерывную войну с такими фактами. И это не случайность, а почти система. Не знаем, чего хотим. Работали, работали,

а в разгар работы приказ: переброска. Занялись ею — отставить! Потом снова. Ничего ясного... Вот отсюда и наше положение, голубчик мой.

Пауза. Тишина.

<...>

Я снова еду в командировку. Быстро мчится машина по дорогам мимо деревень с маленькими известковыми хатками, мимо обильных широких полей с золотистой рожью, зеленеющих яровых. Все залито бьющим солнечным светом. Меня охватывает детский восторг. Я встал во весь рост, уцепился за кабинку и устремился вперед. Ветер свистит в ушах, путает волосы, рвет одежду, охлаждает грудь. А я смеюсь, готов кричать, махать руками каждому ребенку на дороге, хвататься за ветки встречных деревьев. Как сладко упоение стремительным движением вперед. Еще быстрее! Еще! Лететь, молниться!

В пути познакомился с двумя Марусями — молодыми учительницами из Орловской области. Они рассказывали о своем бегстве при наступлении немцев.

— Мы остались вдвоем, остальных убило. Уходили в последний момент перед отступлением наших частей. Бойцы уходят, но почему-то об этом не сообщают населению, и оно догадывается, само эвакуируется. Уходят поголовно. Никто не остается.

— Почему же мы здесь отступили? — спрашиваю я.

— Несколько месяцев мы держали фронт под обстрелом. Наши самолеты бомбили их объекты. С их стороны не было никакого ответа. А потом сразу на одну только нашу деревню самолетов сто налетело немецких. Нельзя было удержаться. Пришлось отступить.

— Наши потери большие? Что у них за армия?

— Наши потери небольшие, а их косят. Они наступают не как наши, а строем, в полный рост. На Орловский фронт Гитлер бросил части, сформированные из западных украинцев, белорусов.

— Серьезно? Значит скоро — конец!

— Да. И они при первой возможности сдаются в плен.

— При первой возможности? — переспрашивает один из слушателей. — А когда ее нет — сражаются против нас. Не могут повернуть орудия против немцев!.. Стадо баранов! — раздраженно воскликнул он. — Почему Гитлеру не гнать их в полный рост, что ему их жалко? Хватит в Европе пушечного мяса. Да к тому же фрицам больше жизненного пространства останется.

— А что он делает с населением? — жадно расспрашивают девушек окружившие товарищи.

— В отбитых деревнях никого не находят. Буквально — ни души. Трупы и безлюдье. Часть расстреляна, остальные угнаны на запад. Поэтому перед отступлением и снимается все наше население целыми районами. Но вот мы проходили через деревни здесь, где не было немцев, — настроение у некоторых плохое. Не думают уходить.

— А что, они не знают про дела немцев?

— Не все верят.

— Крестьянин пока на своей шкуре не испытает — не верит, — раздраженно комментирует тот же слушатель. — Один думает: как я со своей избы уйду, другому индивидуальная жизнь вспомнилась, третий смотрит на соседа: авось обойдется, а может ничего не будет... Так в прошлом году с частью армии получилось... В плен пошли сдаваться... Обрадовались чему... Крестьянин все еще ограничен... А за все приходится многими жертвами расплачиваться... Но Гитлер подскреб все резервы уже и добрался до белорусов и украинцев! Это симптоматично! — воскликнул он. — Значит он ближе к катастрофе, чем мы можем предполагать, судя по его успехам.

И все с оптимистическими заключениями, окончив расспросы, разошлись.

В избах деревни Павловское, где расположился штаб нашего ПС, сплошная дикая грязь, блохи, вши. С трудом нашли избу почище.

У моей хозяйки две коровы. Но она — типичная кулачка. Я давно не видел таких старух и с большим любопытством изучаю ее привычки, поведение, как, например, изучают жизнь вновь открытого насекомого.

Старушка худенькая, лицо в сетке морщин, и только живые глаза подозрительно оглядывают меня и следят за каждым моим шагом. Она подвижна и словоохотлива.

— Вот мой сынок на фронте. Как он там, бедный? Сухариков просил, а посылок не принимают.

— Не беспокойтесь, бабушка. В какой он области?

— В Калининской, пишет.

— Там, бабушка, люди хорошие. В какую избу не зайди, в первую очередь сажают за стол кушать.

— А я думала, что ему плохо там...

«А ты три часа разговариваешь со мной, а молока не предложишь. Не доходит», — думаю я.

Она выходит на минутку — чуланчик на замок, шкапчик на задвижку, возвращается — подозрительно оглядывает все.

Вечером следует приглашение ужинать. Пустые щи, еле забеленные снятым молоком. Хозяин с глуповатым лицом жалуется мне:

— Я слаб стал. Круги в глазах. Доктор говорит — малокровие.

— Вы завтра умрете. Если так будете питаться.

— Бабушка, молочка, — просят двое детей.

— Сейчас, сейчас, детки. Все вам молока, — сокрушенно говорит старушка, возясь в кухоньке около длинного ряда кувшинов. Она долго и тщательно снимает сливки с отстоявшегося молока и, наконец, несет на стол кувшинчик.

Утром я иду на приступ.

— Бабушка, дайте мне позавтракать. Я хочу купить у вас простокваши.

Опять, спрятавшись в кухоньке, она начинает возиться.

— Вы мне дайте целый кувшин, неснятый. Я вам заплачу.

Покряхтела, принесла. С наслаждением, улыбаясь, ем сметану. Старушка внимательно следит за мной, сидя напротив.

— Вот вам спичек, табачку дают.

— Пока не дают.

— Не дают?! А я слышала, вам рыбку давали.

— Не получал. Я только приехал.

— А сольцы у вас нельзя достать?

— На руки нам ее не дают.

Весь день она копается в каком-то грязном древнем тряпье, рваных лохмотьях, сортирует их, сшивает.

Взгляд падает на кота. Даже кот смотрит зелеными подозрительными глазами кулака и вызывает чувство враждебности.

— Про сыночка моего в газете пропечатали, — с гордостью похваляется вдруг старушка. — Он ее нам прислал в письме.

— Неужели? — удивился я. — Покажите газету.

Она приносит грязный, залитый яичным желтком кусочек газеты. В небольшой заметке «Красноармейской правды» напечатано, что сержант Харитонов успешно громит врага и увеличивает счет мести врагу своего орудия. Заметка обведена карандашом во время дождя, на упавших каплях химический карандаш расплылся.

— Молодец Ваш Гриша. Хорошо, мамаша, что имеете такого сына-героя.

Взгляд мой с кусочка газеты упал на кучу лохмотьев, разложенных старушкой на полу, и мне ее стало жалко.

И так — всю жизнь. Как обеднен, изуродован человек.

<...>

Недавно приехал наш товарищ из штаба Б. фронта. С огорчением рассказывал: в 15 километрах фронт, враг, а в штабе — пьянка, женщины... Что же может быть? Что будет? Сердце сжимается от боли... Такой прорыв на Дону! А ведь могло бы его не быть. Конечно... Как мало настоящих людей. Ну, что могут сделать бойцы? Они все герои, но ими же нужно умело руководить, их направлять... Вот такое впечатление... Тяжело.

20—30 мая 1942 года.

Молча, в глубокой сосредоточенности работают в отделах штаба. У всех лица серьезные, нахмуренные. Ни разговоров, ни шуток. Иногда слышится глубокий вздох задумавшегося товарища. Невидимая, но страшная тяжесть, словно нараставшая в горах снежная масса, лавиной обрушилась на плечи всех и придавила.

Ее не ожидали. Первые признаки грозного движения были сочтены случайностью. Люди успокаивали себя, верили в свои желания, как в действительность, которая вот-вот очистит летний горизонт от смутного предчувствия надвинувшейся грозы. В каждом факте, в каждом отдельном слове, намеке искалось подтверждение надеждам. И все делалось для того, чтобы обнадежить, ободрить людей.

— Скоро, скоро час возмездия, час расплаты!

Но беспощадная лавина прорвалась на юг, стала катиться к Волге, падали город за городом, рубеж за рубежом. И люди вдруг ощутили и поняли страшную действительность. Она тяжестью непонятного стрясшегося горя рухнула на всех. Как это случилось? Завтра что будет? Неужели?!

Горечь. Обида. Мрачная перспектива на секунды вставала кошмарной картиной, но сразу же отклонялась восставшим сознанием, отбрасывалась всей силой протестующих чувств.

— Нет, этого не может быть! Наша родина должна остаться, должна устоять.

И опять тяжелые думы, мрачные думы.

— Товарищи. Сегодня 1 августа в 20.00 в штабе митинг. Должны явиться все и без опоздания.

Последнего можно было и не говорить. Все напряженно ожидали, что вот-вот что-то должно произойти, о чем-то новом, долгожданном должны сообщить.

Митинг открыл главный инженер.

— Мы получили приказ народного комиссара обороны товарища Сталина. Я вам его прочту, — сказал комиссар.

— Что скажет Сталин? Да, Сталин объяснит все.

В напряженной тишине люди слушают слова страшной правды о положении на юге, о положении Родины, о причинах поражения Красной Армии.

Части Красной Армии позорно отступили под Ростовом и Новочеркасском. Население теряет веру в силу Красной Армии. Оно проклинает наши части, которые без борьбы оставляют населенные пункты. У нас нет уже перевеса в людских резервах и материальных ресурсах. Уже 70 миллионов человек находится под игом немцев, а Красная Армия не вперед идет, а отступает. Каковы причины? Нет порядка и организованности, некоторые думают, что еще можно отступать. Но дальше отступать нельзя и некуда. Отступающий — предатель. В немецкой армии дисциплина и упорство в борьбе выше, чем у нас, хотя наша армия и руководствуется возвышенными целями борьбы за свободу родины. Немцы учли опыт борьбы зимой и организовали заградительные отряды и штрафные части. Мы должны учиться у врага.

Можем ли мы еще победить?

Да. Можем. Ни шагу назад! С отступающими расправляться как с предателями. Организовать заградительные отряды и расстреливать всех, кто отступает без

приказа. Паникеров, неустойчивых направлять в дисциплинарные части, чтобы они в боях искупили свою вину.

Чтение окончено. Минута напряженной тишины. Широко раскрытые глаза устремлены вперед. Неподвижны опущенные головы.

— Мне очень тяжело сообщить вам такой приказ, — вздохнув, тихим голосом сказал комиссар и остановился.

— Нужно сделать отсюда все выводы, — вдруг громко прозвучал его голос.

Все будто вздрогнули, и движение готовности прошло по рядам, словно эти слова сказала вся масса.

— Приказ говорит: отступление равно катастрофе. Отступающий — предатель. Приняты крайние меры.

Комиссар обвел глазами ряды.

— Дисциплина наших рядов плоха. Мы не работаем по-военному. Надо смотреть в глаза суровой правде. Мы только на днях начали вводить воинскую дисциплину. Отныне: долг, прямая обязанность каждого из нас — беспрекословно выполнять то, что потребуют обстоятельства, выполнять все приказы точно, безоговорочно. Кто нарушит дисциплину, кто не выполнит задания — совершит преступление. На него мы обрушим всю силу революционного закона военного времени.

Общее настроение овладело всеми.

Один за другим выступали с взволнованными речами командиры, инженеры, работники штаба, бойцы.

— Над Родиной нависла катастрофа. Приказ Сталина требует от каждого из нас железной дисциплины, порядка, организованности. Сегодня же, ночью, мы начнем работать по-другому. Мы понимаем всю тяжесть создавшегося положения.

И в теплую августовскую ночь из помещения штаба уходили люди уже другими, зная, как и с чем бороться, чтобы завоевать победу. Они были слишком сильно взволнованны, чтобы пойти спать и долго ходили по улицам уснувшей деревни, обсуждая впечатления, высказывая мысли, делясь нахлынувшими чувствами.

На одной улице было шумно. Слышались песни, звучала гармонь. Праздновалась свадьба.

Николай и Михаил вышли вместе и молча прошли до конца улицы. Она вывела к Дону. Блеснула узкая полоска далекой зари.

— Я боюсь: опоздал приказ. Раньше, зимой он должен был появиться, — тихо сказал Николай.

— Инициатива вырвалась из наших рук. Сейчас положение хуже, чем в октябре прошлого года. Некуда отступать. Нечего отдавать, — размышлял вслух Михаил.

— Не понимаю, Миша, не понимаю, как это случилось! Говорили о скором разгроме, а та же неожиданная молниеносность. Что такое?

— Я эти дни места не могу найти себе. Сердце обливается кровью, как вспомнишь про сводку. Я сегодня не мог работать. Слишком далеко забегают мысли.

— Со дня на день, с часу на час ждешь перелома, ждешь какого-то чуда... А вдруг его не будет?... Миша? Останется Сибирь — в Сибирь! Все потеряем — воля к борьбе останется. Останется, черт возьми!

— Немцы беспощаднее всех. В первую очередь погибнут честные, умные, преданные Родине люди. Ведь они не смогут приспосабливаться. Нет... Не может быть...

— Не может быть! — повторяет Михаил. — Не может быть.

Перерыв в мыслях. Молчаливые шаги. И снова мучительные вопросы.

— Легко ли при нашей организованности быстро создать эффективно действующую заградительную систему? На это месяцы могут уйти. Эта система —

палка о двух концах, а перелом сегодня нужно создавать. Быть может, завтра поздно будет.

Донеслись звуки гармоника и свадебные песни.

— Вот у них свадьба, — говорит Михаил. — Веселятся, пьют, поют песни. Все проходит мимо них. Вся трагедия в том, что мы родились и воспитаны при советской системе, весь наш комплекс чувств и мыслей связан с нею. Мы не можем представить себе жизнь вне советской системы. А вот им все равно будет. Придет помещик, они у него будут работать, лишь бы дали ковыряться клочок земли — и будут довольны. Ты вот мучаешься, а им все равно: лишь бы скорее кончилась война.

— Может и лучше, что они не мучаются так и заняты своим незаметным, но как воздух необходимым трудом? Нет. Мне непонятно одно. Мы шумели о разгроме в сорок втором, возбуждали надежды, сеяли оптимизм, мы все были полны радушных перспектив и вдруг — такая катастрофа. Почему так получается? Лето сорок первого. Лето сорок второго. Обидно, горько. Пишем одно, выходит...

Тяжелый вздох.

— Разве ты не нашел в горьких словах Сталина ответа, не видишь, что делается кругом? Порядка, организованности нет. Это же всюду. Сколько областей ты проехал? Что видел в колхозах? Единственные коллективы только могут назваться удовлетворительными. А в остальных задыхаются без преданных делу людей. Пьянство, родство, воровство, безразличие отбивают охоту работать, разрушают дисциплину, губят добро.

— Да, ты прав. Людей честных, преданных идее коммунизма мало. У всех стяжательские помыслы, привычки, все думают о родине через призму собственных выгод, думают только о себе. Вот где наша беда. Наш новый прекрасный мир мы строим руками людей из взорванного мира. А вот обломки, пыль, мусор, газы после взрыва снова обрушились на нас. В мирное время мы не ощущали так явно его громадной цепкой и удушливой силы. А сейчас — вихрь войны все взметнул в воздух, и мы задыхаемся.

— Что передадут завтра?

— Может — удар. Я жду его, как утром рассвета, солнца. С Кавказа должны начать... Мне не заснуть сегодня.

—

В шесть утра Николай был на своем объекте: у котлована огневой точки. Сегодня она должна быть собрана. Полдня на рытье, полдня на установку и сборку сруба.

Нервный подъем, возникший у Николая от вчерашнего вечера, не прошел. Он стоял у намеченной огневой точки и думал, как ускорить ее строительство.

Пришел взвод его рабочих. Вместо обычных указаний Николай, неожиданно для себя, обратился к пришедшим с речью.

Рабочие, человек 25, стояли, удивленные неожиданным и горячим обращением к ним. Вначале у каждого из них на призыв лучше работать возникли привычные возражения о беспорядке в столовой, об одежде и обуви, о невнимании к ним во всем. Но скоро один за другим все почувствовали, что эти возражения сейчас неуместны, и они исчезли. Страстное обращение Николая вызвало в сознании слушавших перелом, нарушило будничную одинаковость ежедневного тяжелого труда. Было ощутимо дыхание грозной опасности. Проснулась ответственность за свои поступки, за свою вчерашнюю и сегодняшнюю работу.

— Товарищи! Будем работать по-военному, как требует момент, или нет? — обратился Николай.

— Будем! — ответили многие.

Николаю показалось, что его рабочие-бойцы приносят торжественную клятву перед Родиной быть верными ей до конца.

— Ежедневно по точке строить будем?

— Будем! — звучала клятва.

— Запомните это, товарищи!

Очертили котлован, сняли дерн. Начались дружные броски земли. Работали молча, нахмуренные, некоторые с каким-то ожесточением.

Одни ничего не думали или копошились в кругу будничных мелочей. Большинство вспоминало свою семью, детей и думало, что с ними станет и скоро ли придется увидеть их. Отсюда у всех начиналась любовь к родине. От сознания опасности своему дому, своим детям, жене возникало сознание опасности родине.

Николай, нервно похлопывая палочкой-метром по голенищу сапога, смотрел на отделенную черную опушку леса. Не было трактора, который должен доставить сруб.

— Сволочи, опять сорвут работу, — в мыслях повторял Николай. — Что же делать?[1]

<...>

— Я перейду из этого отдела. Здесь работать нет расчета. Вот когда в Бекасово я был заведующим продларьком, там я пожил. Сыт был по горло, — он самодовольно поднял руку к шее и указательным пальцем, перепачканным тушью, провел по горлу, — и человек 30 около себя кормил. Ну, и от Москвы недалеко... Закатишься туда. Свою семью года на три обеспечил.

Он сделал паузу и провел карими глазами по глазам слушавших, слегка улыбаясь и вполне рассчитывая, что все разделяют его преклонение перед собой.

— Но я не дурак, как Федоров, на квартире у себя ничего не держал.

— А его посадили? — спросила женщина Поля, как ее звали, внимательно слушавшая рассказ.

— Сделали обыск и нашли ведро меду, несколько булок хлеба, полящика масла. Ну, как не засыпаться? У меня, кроме пайки хлеба, ничего дома не было.

— Так можно воевать, — тихо сказал Михаил.

Николай следил за слушателями. Они воспринимали рассказ К. как что-то обычное. Поля с длинным, покрасневшим от насморка носом, даже, как показалось Николаю, сожалела, что у нее нет такого мужа. В груди Николая начало подниматься возмущение. Ему хотелось встать и крикнуть: «Мерзавец, вор!» Но он продолжал стоять, и на его лице было обыкновенное выражение слушателя.

— Хуже всего то, что он считает возможным с гордостью откровенно говорить об этом, не думает встретить ни осуждения, ни отпора, — думал Н., слушая самодовольный голос К.

<...>

1 сентября.

Сегодня начало занятий в школах. Придет ли в моей жизни заветный день, когда я с трепетом в сердце переступлю порог класса и начну урок.

Сижу в парке. Перед глазами любимая картина заката. А на золотом фоне очертания руин, ближе — роскошные заросли бурьяна.

Встретил капитана Н.

— Все в Воронеже воюешь?

— Да. Собираюсь в Белоруссию. Как думаешь, скоро удастся?

— Боюсь — не скоро. Союзники похлопывают по плечу. Молодцы русские, героизм... стратегия... самопожертвование... Сволочи! Да это же понятно.

---

[1] Далее 6 листов оставлены без записей — А. В.

— А наше наступление?

— Что наступление. 5—10 километров в день на танках. Это меня не радует. Они обильно поливаются кровью. А что мы получаем? Вот он — голый тротуар. Ведь противник все уничтожает и увозит, что нужно. Хорошо, если пойдем быстрее.

Он прислонился к разгруженной стенке.

— Ты не знаешь, как я мучаюсь. У меня 39 сейчас. Затрепала малярия. Отдохну маленько. Вот хорошо, что его в Таганроге окружили. Хоть захватим технику, солдат. Ну, будь здоров, я пойду потихоньку.

<...>

6 сентября 43.

<...>

Проезжаем по Орловской области.

Непрерывные разрушения, пустыри. На поле близ уцелевшей деревни пашут под рожь пятеро женщин. Одна впереди с ярмом, три впряглись сзади нее, и одна за сохой. Над ними пролетает самолет, мимо них по шоссе спешат авто, у дороги лежит изуродованный комбайн. Техника помочь им бессильна. Война. Не обычная война, а война за право жить.

Поздно вечером в глухой степи проехали мимо остановившейся ручной тележки с убогим домашним скарбом. Старик, старушка, женщина и двое детей. Все утомлены, запылены, обветрены. Лицо старика освещено зарей. Он всматривается на запад, где среди серого бурьяна теряется дорога. Дует резкий ветер. Девочка в рваном ватничке держит на руках курицу и, прижав ее к груди, греется. Старушка сжалась и устало глядит перед собой на серые комья сухой грязи.

Мы со вспыхнувшей болью в груди провожаем их взглядами и переговариваемся.

— Какая глухая степь. Куда они идут к ночи? Что встретят?

— Руины, пепелище.

— Все равно. Родина зовет, тянет. Наш народ на все лишения готов, лишь бы вернуться к родному месту.

— Не добредут они сегодня к своим руинам.

— Заночуют здесь. Им разве привыкать.

Ночной фейерверк. Налет на Орел. Горят желтые гроздья ракет, перекрещиваются голубые щупальца прожекторов, вспыхивают кроваво-красные разрывы зениток. Полыхает зарево.

Мы останавливаем машину и молча смотрим. Вдали гул самолета, вблизи ночная тишина и до дрожи холодно.

Ночуем в землянке. Деревня разрушена и пуста.

7 сентября.

Около уцелевших селений приятно удивляют обработанные поля. Радостно видеть высокие стога хлеба. Давно я не видел их.

В обед остановились в 20 км от Орла в деревне. В ночной налет враг здесь сбросил бомбовый груз. Убит боец. Трое ранены.

Подхожу к ближайшей избе. Изо всех окон выглядывают детские головенки. Лица грязные, в волосах струпья, на губах болячки. Рои мух облепляют все. Платьица детей рваные, замусоленные. Приходит старушка-хозяйка, за нею женщина с тяжелым мешком картофеля. Убирают огороды.

— Не чаяли, когда вы вернетесь. Боже, когда ж кончится война! Вот опять изверг вчера чуть не убил всех, — говорит мне старушка.

К вечеру приехали в деревню Лужки под Орлом. Захожу в избу. Та же грязь и теснота. Много детей. Перегородка обклеена газетами. Они засижены мухами и желты. «Заря», «На освобожденной земле» — бросаются [в глаза] заголовки. Наша газета. Нет. Что такое? Берлинское издание на русском языке. Снимки. «Танки в деревне», «Помощь Германии освобожденным районам», «Эшелон с трактористами направляется на Украину». Здорово! Передовая «Наши задачи». Программная статья. Интересно. «Русскому народу история впервые предоставляет возможность тесно сотрудничать с Германией». Хорошее сотрудничество! «Эту историческую возможность мы не должны упустить!» Кто это — «мы»? «За почетный мир с Германией. За новый порядок, где каждому народу будет предоставлено место в соответствии с его способностями». Очень ясно. Не Гитлер ли собирается определять способность народов Советского Союза? Не выйдет. «Ни капитализма, ни коммунизма»... Безграмотная ложь. Звериный антисемитизм. А вот перл лжи: «Патриотический подъем в лагерях военнопленных. Вчерашний пленный сегодня с радостью идет сражаться на стороне немцев...» Клевета, ложь, провокация, пропаганда звериного антисемитизма, дикой реакции... Вот она — программа! Нет, не удастся устроить драчки.

— Мамаша, сорвите эти газеты, чтобы они не грязнили вашей стенки, — говорю хозяйке.

— Давно собираюсь, да все некогда. Нечем было обклеивать, а их продавали. Вот и купила, — объясняет хозяйка. — Сорву их.

Останавливаюсь на квартире одной бабушки. Корову отобрали немцы. Старушка рассказывает, что в 1941-ом в их деревне был лагерь военнопленных. Их почти не кормили, и они все вымерли. Жителей выгнали из домов. Перед уходом немцы взрывали пещеры со спрятавшимся туда населением, не желавшим уходить на каторгу в Германию. Весь вечер до поздней ночи старушка рассказывала мне страшную повесть мрачных дней немецкой оккупации.

Вот она — фактическая программа.

<...>

11—14 сентября.

Из Лужков переехали в город Орел. Та же картина, что и в Воронеже, Сталинграде, попутных городах и селениях. Комендант нашел очень уютную квартиру.

Хозяйка, преждевременно одряхлевшая женщина, приветлива. Рассматриваю размещенные по стеллажам, со вкусом подобранные картины, фото.

— Кто собирал эти картины? — спрашиваю.

— Нина, моя дочь.

— Где она? Работает, учится?

— До войны училась в восьмом, а сейчас работает санитаркой в госпитале. Работа тяжелая, а она слабенькая. Вот ее карточка.

Красивое личико.

«Удачно, — думаю, — симпатичная, с художественным вкусом, а вдруг и лирическая натура. Вот будет удача!»

Хозяйка рассказывает, как мучительно тяжело жилось в Орле при немцах. Я слушаю и ожидаю вечера.

Дверь распахивается. Впрыгивает девушка и сразу бросает на стол сверток.

— Вот и я. Давай есть.

— А у нас гость, — говорит мать.

Девушка грубо окидывает меня взглядом, здоровается.

Пытаюсь заговорить.

— Рассматривал ваши картины. Со вкусом подобраны. Как уютно в комнате.

— Ну, что за уют. Так, ерунда одна... Чепуха, — отвечает Нина.

Мать заискивающе обращается к ней.

— Много ты понимаешь, — грубит Нина, — молчи уж.

Мимика, движения девушки грубы и капризны.

У меня пропадает охота знакомиться. Я ухожу в свою комнату, зажигаю лампу и принимаюсь читать «Воскресенье» Толстого.

К Нине приходит подруга. Начинается возня, пенье, танцы, болтовня.

Невольно слушаешь, что доносится через тонкую перегородку.

— Ну, куда сегодня спикируем?

— Давай в клуб, там кино.

— А твой рыжий сегодня придет?

— Черта с два!.. Сама, дура, виновата. Не буду нос драть!

— Эх, скучно. Сейчас бы на вечер с вином да с хорошей закуской, — мечтает Нина. — Мама, — вдруг кричит она. — Иди сюда. Расскажем, что с нами было. Кого мы сейчас подцепили! Во! На большой палец с присыпочкой!

Мама послушно идет к ним. Девушки наперебой рассказывают.

— Идем по улице. Догоняют двое. В форме. Одеты — шик!

— Как в сказке! Мечта!

— Идут сзади и смотрят на нас.

— А один говорит: «Это те, кого мы искали».

— И под руку подсаживается.

— В кино пригласили. А билетов не было. «Дайте за любую цену», — говорит и достает 50 рублей. А билетов нет. Постояли и пошли гулять.

— Все улицы обошли. Все, все.

— А прощались: «Только не обманите, обязательно встретимся завтра!»

— Вот с такими по нашей Огородной слободе пройти. Все от зависти позеленеют.

— Тепленьких подцепили. У них и конфеты, и мыло, и одеколон. Для них я в доску расшибусь, а патефончик достану!

— Мы, — говорят, — давно не видели уюта. Хочется отдохнуть от фронтовой жизни.

— Моего мальчика зовут Витя.

— А моего — Толик.

На несколько секунд разговор прерывается.

— Вот бы мужа тепленького подцепить, — мечтает вслух подруга, — чтобы жратвы было — чего хочешь. По кино ходить, танцы, патефончик бы.

— Детки пойдут, — робко вставляет мать.

— Ну их к черту! Детей у меня не будет. Еще чего не хватало. Возись с ними. Для чего на свете жить тогда. Мне, чтобы ничего не делать. Ничего! Все надоело: и учеба, и работа... К черту все.

— Такого мужа не найдешь сейчас, — сокрушается мать.

— А не найдем, так погуляем. Все равно никакого толку. Было десять, станет пять. Война все спишет. Пойдем?

— Пойдем.

Тишина.

По возрасту девочки-десятиклассницы. Что им дала жизнь и что они передадут в наследство будущим поколениям?

Несколько раз, но безуспешно я пытался разговориться с Ниной откровенно.

Только один раз вечером, когда мы остались одни и у Нины было грустное настроение, моя попытка вызвать ее на откровенный разговор, удалась.

— Вы думаете, что я в самом деле грубая, дерзкая девчонка, — начала Нина, — нет, вы ничего не понимаете.

— Нет, зачем, — слабо возражаю я.

— Я никому не верю. Никому. Кажется, что все обманщики: добиваются одного, говорят другое.

— Почему все, вы напрасно так отгораживаетесь от людей. Вы этим многое теряете.

— Нет. Один только человек у меня был... Ох. Как я мучаюсь сейчас. Нет. Никому этого не знать.

Нина говорит путано, повторяясь, не находя слов.

— Ой, как я люблю природу... природу. Голубое море. Луна над морем... Как я люблю музыку... Скрипку... Ой...

Мы лежим в постелях по своим комнатам. В кухне еле теплится коптилка. Переговариваемся тихонько через перегородку. Нина порывисто вздыхает, мечется на кровати.

— Мне надоело быть одной. Нет. Не хочу... не нужно ни звезд на погонах, ни одежды, ни денег. Душа нужна его... Душа... Был у меня близкий человек... Один. Он понимал меня, уважал. Как брат был.

— Где же он? На фронте?

— Нет.

— А где же? Убит?

— Нет.

— А где же?

— Ой, я не могу...

— Что Вы, не бойтесь, говорите.

— Этот человек ... был... чужой... оттуда.

— Он ушел?

— Нет, он покончил с собой.

— Здесь похоронен?

— На нашем кладбище.

— Могила цела?

— Крест вырван, а насыпь, видимо, осела.

— Он по-русски разговаривал?

— Все понимал. Он из Вены. «У нас немцы то же сделали, что и у вас», — говорил он. Любил природу, музыку... Это его картины... Жалел нас. А как мне помогал! Я поступила в их часть работать на кухню. Ну, каково мне, советской девчонке у них. Я им дерзила, и ему тоже... А он мне все секреты рассказывал. Попадало ему за меня. Бывало, ведра не даст вынести, бежит помогать. Только я не отвечала взаимностью. Грубила ему, все видела в нем чужого... Как я теперь за это мучаюсь. Ни разу по-человечески с ним не поговорила. Все врага в нем видела. И вот его нет. Не вынес... Я его не могу забыть... Не могу себе простить.

— Я понимаю.

— Я знаю: они — враги, их надо ненавидеть. Но он — не враг. Он сам мучился... И я его мучила... А когда поняла, что он за человек — поздно было.

Пауза.

— И вот с тех пор никого... О, боже.

С ночного дежурства возвращается мать Нины. Разговор обрывается.

<...>

17. IX. 43.

Две девушки Нины с матерью вечером гадают. В обод решета втыкают концы ножниц. Ушки ножниц поддерживаются мизинцами и загадывают на человека, «жив или нет». Если решето закачается — жив, нет — убит, упадет — скоро вернется.

Мать просит:

— Загадайте на Костю. Жив сынок или нет.

Решето падает.

— Ах, боже мой! — вскрикивает мать. — Мне в глазах потемнело! Ой! Жив! Жив! Ведь правда. Даже решето упало! Как мое сердце забилось.

Гадают весь вечер до двенадцати.

<...>

27. IX . 43.

Началося вызваленне маёй радзімы. Доўгачаканае стала яўю. Перажываю дні бурнага душэўнага ўздыму. Нібы рэчаіснаць, устаюць прад вачыма хвалюючыя накіды фантазіі: школа, моладзь, любімая праца, творчасць. Мірны прытулак, асалода ціхага сямейнага жыцця.

30. IX . 43.

Родны край. Чаму ты мне так блізак, так дораг? Чаму твой лёс так хвалюе мяне? Ці не таму, што я маю надзею залячыць там свае душэўныя раны, нанесеныя вайной, знайсці там шчасце любімай працы, прытулак, адпачыць?

<...>

2 октября 43.

Вчера начались занятия в школах. О, как хочется к детям, в педагогический коллектив, к таким незабываемым товарищам как Петр Герасимович, Фатима, Владимир, Сергей Ильич, Иван Васильевич Зудов. Как хочется снова видеть умные пытливые глаза девушек и юношей, глаза Батракова, Игнатьева, Васильевой Оли, Мартовой Таси.

Ведь будет радость педагогического творчества. Будет!

3 — 13 октября.

Накуренная комната штаба. Поздно. Работа окончена. Задумавшись, сидят товарищи. Уходить не хочется. Людей сплотила тяжелая работа и чувство содружества заменяет семью, детей, родных, старых друзей. Начинается беседа.

— Пойдем ли мы за Днепр или нет, вот вопрос сегодняшнего дня. Будет ли немец отступать дальше или он решил остановиться на Днепре, хватит ли нас гнать его дальше? А гнать нужно, безостановочно гнать. Мы не можем останавливаться ни на минуту...

Товарищ сидит на табуретке, склонив голову на руки, поставленные на колени, и среди тишины размышляет вслух.

— Там, в Европе, своеобразное положение. Капитуляция Италии, к сожалению, не вызвала соответствующих реакций. Европа молчит.

— Но Гитлер не повторит своего наступления на восток. Это не будет иметь смысла. Ведь все: жизненные центры, промышленность, сельское хозяйство до Сталинграда и Кавказа разрушены. Понести тяжелые военные затраты и ничего не достичь — вот что значит опять наступать ему. Видимо, у него другие цели.

— У меня любопытная мысль. Не попытается [ли] он с нами заключить мир, возвратив все. Если у нас резервы недостаточны, мы союзникам скажем: «Вы не помогаете, а у нас нет другого выхода и т. д.» Но ведь Гитлер тогда в два лета разобьет Англию. Смотрите, она возится в Италии с несколькими немецкими дивизиями и ничего не может сделать.

— Они просто медлят. Для Англии и Америки вопрос поражения Германии решен. Их интересуют послевоенные взаимоотношения. Будет ли соревнование двух систем или не будет? А если будет, значит снова война.

— А для нас это и сложный, и тяжелый вопрос. В результате 25 лет напряженного строительства мы вопрос соревнования разрешили в свою пользу,

а война нас почти отбросила на исходные позиции: промышленность, сельское хозяйство разрушены, истощены людские резервы. В это же время наши союзники перестроили промышленность, окрепли, усилились в военном отношении. Обстоятельства заставили нас отступать, маневрировать. Смотрите: мы распустили Коминтерн, допустили у себя — через 25 лет ожесточенной борьбы! — в качестве фактора воспитания масс враждебное нам мировоззрение — церковь и помогаем ей отстраиваться. А раздельное обучение мальчиков и девочек, погоны, изменение характера наших газет, выступлений. Возможно, мы пойдем и еще на ряд уступок... подобных.

— Раздельное воспитание необходимость.

— Ну, что вы думаете, они дурачки. Не понимают, почему распустили Коминтерн, помогаем восстанавливать церкви. Остался бы Коминтерн — ничего не случилось бы. Буржуазия уже научилась вести с нами, то есть с революционным движением, борьбу. Верхушку снимают и все. Разве в Италии сейчас не было благоприятных моментов для революции? Были. Но возглавить массы, организовать их, не было кому. Вот результат.

— А в Москве говорят: попы, попы, попы. Важные, раззолоченные. И где их хранили столько лет?

— Из-за границы несколько вагонов привезли. Союзная помощь.

Смех.

— Все эти уступки не затрагивают принципиально ничего. Главный вопрос — сельское хозяйство. Изменим ли мы систему коллективного землепользования или нет, вот что интересует союзников, пожалуй, больше всего.

— Да и нас.

— Распустят колхозы, если надо будет, и даже оправдают их роспуск историческими моментами.

— Нет. Колхозы — последняя социалистическая ячейка в сельском хозяйстве — не могут быть они ликвидированы. Ведь это — вопрос существований нашей политической системы.

— А значит остается соревнование двух систем и в недалеком будущем перспектива войны.

— А вы думаете, мы обойдемся без войны?

— Нет, вопрос о войне надолго придется отложить. Мы не в состоянии воевать больше ни с кем.

— А что мы будем делать?

— А что делает петух после драки?

— Нет, товарищи, этот вопрос для нас — очень больной вопрос. Ведь мы жертвовали все годы личным благосостоянием, молодостью, жизнью, отказались от материальных благ ради того, чтобы догнать капиталистические страны, сделать родину сильной и независимой. А сейчас все, чего мы достигли, почти все, разрушено. Встает вопрос: что делать на второй день мира? Все восстанавливать на прежней основе? Вновь начинать ту же борьбу? Хватит ли нас, вернее — успеем ли мы? Ведь, несомненно, союзники затягивают разгром Германии лишь потому, что слишком интересуются, что мы собираемся делать?

— Постараемся подружиться с ними. Выручку мирового пролетариата пока отложим.

— Но вы посмотрите: карт мы не раскрываем. Нет статей о перспективах революции, о социалистическом строительстве.

— Это вполне понятно. Все наше внимание должно быть привлечено одним: разгромом врага. Да и зачем беспокоить союзников.

— Они не близоруки.

— Колхозная система должна остаться. Я себе иного не могу представить. Возвращаться назад нельзя. Во имя чего губить первые результаты беспримерного в истории опыта социального переустройства лишь потому, что его участники полны прежних привычек и устремлений? По-моему, задача состо-

ит в том, чтобы увязать колхозную систему, да и нашу торговлю, с частной, личной заинтересованностью в создании максимума материальных ценностей, с поощрением личной инициативы во всех областях нашей хозяйственной жизни, а то личная энергия многих по сути дела направлена на заботу только о себе в ущерб обществу.

— Примирить пока непримиримое.

— Тогда бы мы разрешили для себя самый трудный вопрос. Тогда горя не было бы.

— Сразу нельзя перевоспитать.

Участники беседы сидят, задумавшись. Дымят папиросы. У каждого возникает какой-либо вопрос, и он пытается вслух сформулировать ответ на него или выслушать ответ собеседника.

— Между устремленностью, воспитанной в нашем сознании, чувствами и действительностью возникли ножницы. Конечно, причина ясна: подготовка к войне, война. Платное обучение, ремесленные училища с мобилизацией в них, снижение призывного возраста, — все это многое изменило в жизни молодежи. Поворот в отношении к религии, погоны — для молодежи — возврат назад.

— Нет, не согласен. Я рассматриваю допущение церкви, как демократизацию.

— Попы — калифы на час.

— Ничего подобного.

— А любопытно, как объяснить восстановление Синода на 26-ом году революции?

— Седьмого ноября Иосиф Виссарионович ответит.

— Скажет: церковь, перестав быть оплотом контрреволюции, стала активной участницей и даже организатором народных масс на борьбу с врагом, а потому... ну, и так далее.

— А вы знаете, в Ульяновске на строительстве оборонительных рубежей попы помогали собирать массы. И собрали.

— Сказки.

— Совершенно верно.

Пауза.

— Кончится ли в этом году война? Эх, как бы кончилась.

— Ну, и напился бы я.

— Ликование какое будет!

— Я с полгода погуляю. Пристану к какой-нибудь вдовушке. Отдохну, отъемся, а там — за работу.

— Мои дети уже выросли. Не узнают меня.

— Погоди мечтать. Рановато.

— Нет, ребята, сейчас чувствам хочется в какую-нибудь глушь забиться. Чтобы тишина, лес. Ружье на плечо, за зайчишками походить.

— Я — в Москву и сразу — в Большой театр. На «Евгения Онегина».

— А я учебу кончать...

— Хватит мечтать. Пошли спать. Уже третий...

Все уходят, продолжая делиться вспыхнувшими мечтами в ночной темноте улицы.

<...>

6 октября — 14 октября.

Выезд в Белоруссию. Вместо 8.00 выехали в 15.00. Я забрался на крышу автобуса и там ехал всю дорогу. Замечательное путешествие!

На шоссе частые группы и одиночки возвращающихся на родину из немецкого плена. Их отбили части наступающей Красной армии. Люди

худые, обросшие волосами, черные от грязи, со странным, даже страшным выражением лица: угрюмость, ожесточение, тяжелое страдание исказили черты людских лиц. Многонедельная грязь усиливает худобу и подчеркивает искажение. Ручные тележки, тряпье, рухлядь на них; волы, коровы в запряжке, люди в отрепьях заполнили шоссе. И всюду дети. Они сидят в грязных лохмотьях, увязанные на ручных тележках, сосредоточенно шагают пешком за взрослыми. Их несут на руках матери и отцы. У редких детей сохранилось любопытство к дорожным картинам, большинство смотрит перед собой безразличным взглядом.

Вечером заезжаем на ночлег в одну деревню. Сыпной тиф. Останавливаемся в следующей: Дроново. Ищу с товарищем ночлега. При входе в избу удивил странный, словно тысячекрылый стрекозиный шелест. Мухи облепили весь потолок и стены. Что же здесь было в доме? Грязь, зловоние. Идем дальше. То же. Наконец, устав, останавливаемся, лишь бы кое-как переночевать. Тот же шелест мух. На грязном полу без подстилки, заигравшись, беспорядочно раскинувшись, спят дети.

Около печи, в темном углу каморки, кашляет умирающий от чахотки мужчина с черным страшным лицом и всклокоченными волосами. На полу стоит разбитый котел с соломой, куда он выхаркивает кровь.

— Ты вот едешь к себе на родину. А подумал ли ты над тем, как вот этот кошмар убогости, нищеты, дикой грязи и невежества уничтожить и дать своей родной белорусской деревне человеческую жизнь? — задает мне М. вопрос.

— Я всю сознательную жизнь об этом думал и не только думал...

— А я бы сжег все эти деревни, а на их место поставил бы новые дома.

— А кто это сделает? — задает С. вопрос.

— Государство должно сделать.

— Оно вынуждено еще брать у этой деревни... А у Есенина есть хорошее сравнение: деревни — лишаи. Да... лишаи. А они должны быть садом... дымом белых яблонь.

Хозяйка топит печь, варит нам картофель.

Поужинав, разослали на полу солому и быстро уснули.

7. X. 43.

Холодное утро. На дверях объявление: «С седьмого октября в Дроновской НСШ начинаются занятия».

— Немец сжег школу. Учителя собрали скамейки, столы в деревне, — объясняет хозяйка, — и будут учиться.

От платы за еду и ночлег отказалась.

— Мои сынки тоже так ходят. Не возьму.

Выехали в 9.00.

Проезжаем Карачев. Город — груды обломков и грандиозное пепелище. Из-за аварии машины ночуем в д. Козловка.

Та же скученность, грязь и дети. Та же бескорыстная гостеприимность.

— Часто у вас ночуют военные? — спрашиваю я.

— Каждую ночь.

— И вы всех так угощаете?

— А что же будешь делать. Всем же есть хочется.

— А хватит у вас на всех?

— Лишь бы войне конец. Как-нибудь проживем.

Вот она — народная поддержка, единство армии и народа.

<...>

8. X. 43.

Выехали в 8.30. Опять авария за аварией. Чуть доехали до Брянска. Остановились за городом на кладбище.

Радость: освобожден Невель! Осталось 25 километров до моей школы. Днепр форсирован в трех местах! У всех радостное удивление.

На перекрестке дорог плакат: «Воины Красной Армии. Здесь был город Брянск II. Смотри, что осталось. Отомстим врагу за руины».

9 октября.

Ночевка на кладбище. Звездная ночь. Тишина. С товарищем лег между двумя могильными холмиками. Романтика.

Случайно достал и прочитал «Чертухинский балакирь» Клычкова. Шедевр, словно палехская миниатюра.

Выехали в 13.00.

Строится мост. Рабочие и десятник.

Заночевали в д. Ольховка.

Весь день 10-го ремонт. Чтение книг. Был на охоте в лесу. Сказочное царство. Золотая осень.

Обработать рассказ Н. о бабе на Кубани, прятавшей немцев с передатчиком. Ее поимка через ребенка. Расправа местных женщин с нею. Избиение немцев, отбитых у конвоя женщинами. Бабы верхом на конвоирах.

— Много вас тут шляется.

В ответ граната.

11 октября.

Выехали, оставив автобус с людьми в Ольховке. Дорога плохая. Все мосты разрушены. Объезды трудно проходимы. Проехали за день 30 км. Ночевка в 20 км. от Рославля в д. Литовки.

12 октября 1943.

Рославль в центре разрушен <...>.

Застреваем в объездах каждые полчаса, пока не застряли окончательно. Деревни сожжены.

Грязь останавливает около землянок и редких домиков на пепелище большой деревни. На огороде копается женщина. Подхожу к ней.

— Хозяйка, какая эта область?

— Магілёўская, салдацік, — отвечает она на мягком белорусском языке.

Сердце забилось у меня.

— Радзіма, — прошептал я. — Што яны з табою зрабілі...

— Во — банька засталася. Цяпер наша хата, — показывает женщина. — Тры сям'і жывуць разам. Самі ледзьве выратаваліся. У лясах хаваліся. Хлеб папаліў. Убіраем, што засталося ў гародах.

— Хозяйка, у вас брюквы нельзя достать? — спрашивает подошедший товарищ женщину.

— Дачушка, нарві салдацікам, — обращается она к девочке, вышедшей из баньки с пустой корзинкой в руке.

— Яшчэ прынясі, — говорит она, когда мы разобрали корзинку брюквы.

— Хватит, хватит, спасибо.

— Выбачайце на гэтым, — адказвае жанчына, — што ёсць. Была б кароўка, малачком напаіла б.

Вот она — родина. Наконец я тебя увидел: обездоленную, измученную, растерзанную.

Аглядаю наваколле.

Гразь на дарогах, папялішчы, пустыя палеткі, пожні з пажоўклай рэдкай травой, пяскі, суглінкі. Па небасхілу цямнее лес. Тонкія бярозкі зраняюць апошнія жоўтыя лісцікі. Змучаныя, брудныя, абарваныя, у лапцях жанчыны, дзеці, старыя...

— Чтоб ей провалиться, твоей родной Белоруссии, — шутит Т., — побывал я в ней. Непролазная грязь.

— Зашел я в их хату, — передает свои впечатления Н., — как ударило меня вонью — отшатнулся. А хозяйки сидят в кружочке, ищутся и коллективно бьют вшей на табуретке. Бр-р-р! До сих пор тошнит. В одной избе четыре семьи. Одни ребятишки. Так хоть бы мало-мальски блюли чистоту!.. А то черт ее знает: дикари-не дикари! Эх! Больно за них.

Вось яны, першыя ўражанні аб маёй радзіме, дарагой сэрцу Беларусі.

Добрались до наполовину сожженной деревни Тимошки Климовического района и застряли в грязи.

Сразу же сошлись крестьяне, типичные белорусы по облику и начали помогать вытаскивать машину. Один пригласил меня к себе в избу.

— Вы ж з дарогі есці хочаце. Зайдзіце на хвілінку. А потым пабанімся. Баньку вытапіў.

Ён у лапцёх з абкручанымі чыстымі белымі анучамі, у даматканых белых штанах і кашулі. Паверх накінуты суконны армяк. Ён любіць размаўляць.

— Нешта сёння не чутна, каб стукалі. Мабыць, пагаўкаў, пагаўкаў ды пабег, — жартуе гаспадар. — Далі яму кавы нашы. Ён яе любіць.

— А скажэце мне, землячок, — мяняе ён жартаўлівы тон, — я, неяк, гляджу, ды баюся. Дужа мы малой сілаю прайшлі супраць яго тут. Каб ён не паварнуў назад.

— Не, гэта вам здаецца.

— А то мы збіраемся будаваць хату на калёсах. Хопіць — навучыліся. Чуць што — запрог ды паехаў, — зноў жартуе гаспадар. — А яшчэ я за што баюся. Калі немец куды пройдзе, дык перш-наперш масты ды дарогі спраўляе. А нашы ідуць ды ідуць, аб дарогах не думаюць. А як ён націсне? Вы вот завязлі. А колькі едзеце?!

— Партызаны далі ім страху. Усе паўцякалі ў мястэчка. Яго за тое Берлінам празвалі... Немцаў у нас дык мала і было. Усё нашыя. Іх тры, а нашых трыццаць. Каб не двулікія, дык нам лёгка было б ваяваць. У апошні час самі немцы злавалі на «бобікаў». Песню пра іх склалі:

Мы да хаткі,
Партызаны да маткі,
А вы, «бобікі»,
Рыхтуйце сабе гробікі.

— Во пад вокнамі могілкі. Немцы сваіх пахавалі. Агароджу кветкамі ўбралі. Загадалі слядзіць за ўбранствам. Ну, затое ж, як іх прагналі, дык мы сабраліся ўсёй вёскай, разняслі агароджу і давай танцаваць на могілках.

Я сяджу за сталом, працуючы да поту над супам з жырнай свінінай ды малаком, а гаспадар бесперапынку пытае, расказвае. Раптам тон яго робіцца патаемным, і ён, замяўшыся, пытаецца:

— А скажыце ж мне па-зямляцку, калі ласка, калгасы вы нам нясіцё, ці не?

— А як жа, нясём. А што, хіба дрэнна?

— Ды не... Толькі... дадуць што рабіць — добра, а не дадуць — ізноў добра. Каб гаспадара добрага далі, а то гаўкалу якога паставяць... Ды наша такое дзела: насі сабе лапці, ды ўсё...

— З фронта хлопцы прыдуць, ваенную дысцыпліну прынясуць у калгас. Жыва адбудуемся, — кажу я.

— Так то яно так. Зараз кожны свой «пай» апрацоўвае, а як калгас: той у старшыні, той у пазастаршыні, той у настаўнікі, адзін у лес, другі ў горад, а ты ўсю зямлю іх апрацоўвай. Вось чым яно абідна.

Раніцаю машына затрымалася і нам давялося прысутнічаць на сходзе, які склікаў стары настаўнік з былым старшынёй калгасу.

На сход, ля хаты, дзе мы начавалі, сабралася на бярвенні ля трыццаці чалавек: старыя з вялікімі барадамі, жанчыны. Толькі адзін з іх, настаўнік, быў у паліто, усе ж у даматканым, у лапцёх. Пацякла абмежаваная дробязямі невялічкага міру гутарка.

— Суседкі мае, я ж сваё рэшата знайшла. І-і... Каб вы ведалі дзе! У Ганулі!..

— Ая-яй! Ну, ці ж хто б падумаў...

— Во ты, кажы! А я свае дзежачкі так і не знайшла.

— Маю кабылу ў нарад ды ў нарад, а Халімонаву — хоць бы раз!

— Ну, дык гэта ж Халімонаву!

— Я яму ўсё прыпомню: былі немцы, ля немцаў уюном, прышлі нашы — ля нашых: віх, віх!

— Таварышы грамадзяне! — звяртаецца стары настаўнік у паліто, з пракуранымі вусамі. — Я ўпаўнаважаны правесці сход па абранню праўлення нашага калгаса.

Узрыў галасоў.

— А ці тыя ж хаты?

— А людзі дзе?

— Спачатку хаты адбудуем.

— Я за цябе не хачу работаць.

— А ты адзін паставіш хату?

— Я ў калгас, а ты за калгас. Не, і ты работай.

— У нарады пасылаюць усё роўна.

— Кабылу маю замучылі: у нарад ды ў нарад.

— Што ты лезеш са сваёй кабылай: мне ўсе вушы празвінелі, што яна ўсё лета гуляла, — апраўдваецца селянін з рыжай барадой у кажуху з лісіным варатнікам.

— Цішэй, грамадзяне. Я вам зачытаю прапанову каго абраць... Качубееў...

— Трохшкурнік... Зноў з нас кроў смактаць, — гаворыць пра сябе гаспадар, у якога мы начавалі. — Лісой накрыўся.

— Іванова...

— Куды мяне, жанчыну! Не буду я...

— У яе дзеці...

— Ва ўсіх дзеці.

— Мяне назначылі ў нарад! — не суцішаецца жаночы голас. — Як жа гэта можа быць. У мяне шасцёра членаў сям'і, а работаем толькі двое: я ды кабыла!..

Стары настаўнік глядзіць на размаўляючых ды спакойна пакурвае люльку.

— Другіх пытанняў няма? — пытае ён.

Невялічкая пауза.

— Чым жа коней карміць будзем? Сена папалілі, зладзеі, каб ім... — гаворыць селянін з белай барадой. — Як мы будзем у калгасе?

— Дык няма другіх кандыдатур. Тады я галасую. Адводкаў няма? Хто за гэтых людзей? Падыміце рукі.

Маўчанне.

— Нічога нам не трэба, так будзем жыць! — крычыць гаспадар, дзе мы начавалі.

— Ідзі ты ў хату, к чорту, табе болей усіх трэба! — сварыцца на яго жонка. — Калгас дык калгас.

— Ну дык галасуем. Хто за?

Падымаюцца некалькі рук.

— Адна... дзьве... тры...

Падымае руку Качубееў.

— Чатыры, я пяты...

З розных канцоў бярвенняў асцярожна падымаюцца рукі.

— Сем... восем... — абарочваючыся то ў адзін, то ў другі бок, лічыць настаўнік.

— Хто яшчэ? Дзевяць... Хто супраць? Няма. Я лічу — аднагалосна. Зараз я запішу пратакол...

— По машинам! Поехали! — раздается команда, и мы уходим.

Проехали километров 15 и застряли на весь день.

<...>

26 октября.

К хозяйке попросился ночевать мужчина лет 30-ти с ребенком. Он в третий раз, после двух отсрочек, призывается в военкомат.

— Как вы нашли меня и почему ко мне зашли? — спрашивает хозяйка.

— А помните, в первый раз вы говорили со мной и жалели моего ребеночка. Вы сказали, что с радостью взяли бы его на воспитание. Возьмите! — просит мужчина.

Ребенку, мальчику, 9 месяцев. Мать его умерла. Родителей у отца и матери нет. Приютить мальчика негде.

— Я согласна, — заявляет хозяйка. — Но согласится ли мой муж? Я с ним поговорю.

Всю ночь мужчина няньчит ребенка.

Днем он уходит в военкомат и не возвращается.

Хозяин, спокойный, флегматичный мужчина 55 лет говорит:

— Ну, что ты с ним будешь делать? Я старый, ты тоже. Не надо брать.

Вечер. Ночь. Второй день. Отца ребенка нет. Хозяйка беспокоится.

— Вымыла я его. Он весь завшивел, провонял. Как посадила его в водичку, он и заснул. Платьице сшила. Как стал он чистенький, так и жалко его стало. Я села, взяла его на руки и заплакала. Никуда его не понесу. Оставлю у себя. А может снести в военкомат?

— Никуда ты его не неси. Пусть уж остается, — сказал хозяин.

Так усыновили Вовочку.

27 октября 43.

Обработать рассказ. Семья: хозяин, хозяйка, 8 детей, старшей 13 лет. Война. Хозяина мобилизовали. Изба сгорела. Хозяйка не растерялась. Перебралась в баньку. Сделала пристойку. Все хозяйство обрабатывает.

— Как-нибудь проживем.

Шутит, энергична.

<...>

9 ноября.

Провел с местным населением собрание. Сделал доклад на белорусском языке. У всех одно опасение и один вопрос:

— Придет ли сюда немец? Хоть бы он не пришел. Тогда нам всем гибель.

Подведем итоги.

С мая по ноябрь провел: 24 политзанятия; 60 политинформаций; сделал несколько докладов; выпустил несколько номеров стенгазеты.

Сегодня праздник.

Двадцать седьмой год революции. Тридцатый год моей жизни. Только в войну я понял, как дороги мне судьбы революции, как радостны ее победы и как больно сердцу за ее поражения.

Когда же мы победим мир эгоизма, собственничества, лжи? Когда же станет правдой жизни настоящая человеческая правда, а не ложь, красящая низ-

менные стяжательские устремления? Сколько еще ходит по нашей безрадостной израненной Земле и мелких, и крупных хищников, воспитаных волчьим миром вражды собственников! Сколько жертв придется принести человечеству для торжества принципа: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям»?

Где-то вдали, за горами горя, голубеет счастливая жизнь творцов, созидателей, заботящихся о предоставлении всех благ каждому члену общества, среди созданного изобилия, могучей культуры, среди преображенной природы. Свободно ходит по Земле человек и с лаской в глазах встречает каждого человека, видя в нем собрата по созданию свободы, счастья, любви... Эх!.. Ведь будет же это!.. Будет!.. В кошмаре нынешних войн, лишений, одичания победит наша правда!..

<...>

24 ноября 1943.

Сегодня исполнилось тридцать. В душе — ни восклицания, ни вопроса. Разум дремлет. Я вслушиваюсь во врутреннее звучание своего «я» — ни мысли, ни чувства. Безразличие к бытию. Восприятие слилось до замкнутого круга будничного интереса и реакция «я» — реакция инстинкта, животная.

Обычный, я не жду от мира ничего нового, ничем не интересуюсь, все тускло, серо. И если ставлю вопрос: хочу ли жить, я не нахожу в себе никакого ответа. «Да, хочу, — говорю я и чувствую, что этот ответ механический, неискренний. Нет во мне будящего начала, способного вызвать нормальный ответ живого существа. Нет во мне, обычном, жизни.

Я вслушиваюсь в себя и хочу понять: все же, хочется ли мне чего? Одного: покоя. Я очень и очень устал. Я два с лишним года жил напряженной жизнью. Я горел, мучился. Я много страдал и очень мало радовался. Да этих ли только два года я жил напряженной жизнью...

<...>

27 ноября.

Нищая, убогая, грязная сторонка — моя родина, и люблю ее, сам не знаю почему. И грязь, и лапти, и ее убогость — все пронизано чем-то родным, близким, странно любимым. Оно волнует чувство, вызывая сладостный трепет... Разве разум не понимает, что всю эту нищету и темноту невозможно любить, необходимо бороться за беспощадное уничтожение ее... Понимает.

<...>

9 декабря.

Видел уборную, сложенную немцами из немолоченных снопов полновесной пшеницы. А вокруг — голодные глаза детей и матерей, холод, разрушения.

<...>

30 декабря.

<...>

— Подавайте заявление в партию, — сказал мне майор, — я за Вас поручусь.

— Я не готовился к этому. Когда стану лауреатом сталинской премии, тогда. Когда издам свою первую печатную книгу, тогда буду иметь моральное право, ибо этим я достигну своей основной цели.

31 декабря.

Весь день — работа. Вечером — спектакль. Читал Верхарна «В вечерний час», Руставели, Бокаччио. Торжественно вручили почетную грамоту. Новый год встретил дружеской пирушкой в кругу сотрудников по отделу. Захмелели. Подсчитал, сколько раз пил за год. Четыре. А иногда хочется выпить и забыться.

1 января 1944.

Красивое здоровое тело молодого мужчины мертвым лежит на земле у дороги, устланной желтыми листьями клена. Люди в военной форме привычно скользнут взглядом по неподвижному телу и проезжают. Невоенные останавливаются, подходят к мертвецу. Они осторожно приподнимают край одежды. На мощной груди алеет рваная рана...

<...>

29 января 44.

Радость!

Получил письмо из Мехового! От ученицы, своей ученицы!

Вис. Ст.! В один прекрасный вечер Фотя получила от Вас письмо, и я, узнав Ваш адрес, решила написать Вам несколько строчек.

В. С., я очень рада, что Вы живы и что я пережила это трудное время и снова вернулась к жизни. Я часто вспоминаю школу и школьную жизнь, своих друзей. Я написала бы больше, но если описать все, то нужно 10 тетрадей.

В. С., извините, что я плохо написала и безграмотно, ибо я за два года первый раз пишу.

Ваша ученица Семенова Нина Устиновна, которую Вы воспитывали и учили в 9-ом классе.

6. I. 44.

Какая радость! Какая радость!

<...>

5—7 февраля.

Получил нерадующее письмо из Мехового от хозяйки. Погибло все: фотографии, документы, дневники, библиотека, имущество.

Насилие, грабежи, расстрелы узнала мирная тихая деревня Меховое.

Узнала и встала на борьбу. Ушли партизанить наши воспитанники, ученики десятилетки.

Да...

Все мое существо уносилось домой. Что там? Милый мой, дорогой дядя... Сколько ты сил, бедный, отдал на мое воспитание, поддержку, сколько выстрадал за свою неудачную жизнь... Помню, все помню... Хочется увидеть тебя, дорогой, прижать твою, седую уже, наверное, голову к груди и... разрыдаться. Выплакать всю горечь, боль, страдания, пережитые за мою короткую жизнь... Без слов обо всем рассказать... Ты ведь поймешь, успокоишь... сам успокоишься...

Мама...

Моя одинокая, бедная, больная мама. Веришь ли ты, что увидишь меня, хоть на минуточку? С детских лет, все время, жизнь разлучала нас, отдаляла...

Ласки, заботы твоей материнской мне почти не довелось испытать... А я уже, кажется, вырос. Меня стали почему-то признавать взрослым, ответственным за свои поступки. А ведь никто, кроме тебя, не знает, что в душе я тот же маленький мальчик Виссанька, растерянный, застенчивый, странный... О, как

мне хочется спрятаться у тебя на груди... Но ведь люди скажут: стыдно. Неужели они правы?

Дорогая сестренка Ия! Где ты, моя любимая юность, цветочек мой голубой? Пройдемся ли мы еще раз теплым тихим вечером по тропинке, среди моря ржаных колосьев? Будем ли, сидя на диванчике, рассказывать друг другу про свои радости и огорчения? Посвящу ли я тебе свои лучшие стихи? Где я тебя увижу вновь, обниму, расцелую?..

Бедная бабушка. Переживешь ли ты непонятное страшное горе? Вымолишь ли у своего седенького бога мой возврат домой? Напошь ли меня своми сладкими сливками? Вымоли! Напои!

О, где вы, детские дорожки, одному мне знакомые, где вы, мои любимые кустики, лес? Где сладко пахнущие лесные опушки, полные земляники? Дадите ли вы мне то очарование, то забытье, ту радость, что в детстве? Увижусь ли с вами вновь?

<...>

7—22 февраля 44.

Командировка в УОС. Здесь богатейшая возможность читать. Читал до одури все: комплекты газет, журналы, Пушкина, Герцена, о эстетике, рылся в книгах.

Как я оторвался от литературной жизни, новинок. Сейчас словно прильнул к животворящему ключу, обновился, набрался сил, уверенности, ощутил биение нашей жизни, отраженное литературой.

И опять вопросы, обращенные к себе: как писать? Что из виденного отбирать? Все время чувствую: не удовлетворяют меня натуралистические зарисовки. Как я завидую Шолохову, Симонову, военным корреспондентам. Они имеют возможность видеть все типичное и многое увидели. А я?

23 февраля 44.

Слушали салют победы. Солнечным морозным вечером артиллерийские залпы один за другим катились по белоснежным просторам моей родины.

В груди медленно поднималась радость и выросла в торжество, гордость, и на несколько секунд дала ощущение счастья.

Слушайте, милые просторы моей Родины, притихшие деревеньки, города. В полной мере вы вынесли горе поражений, в полной мере отдали себя в священной борьбе. Так в полной же мере упьемся и радостью победы!

24 февраля.

Уже почти год, как я начал собирать художественный и иллюстративный материал к моим будущим занятиям по литературе...

Сколько счастливых бессонных часов отдано в ночи мечтам о моей будущей работе в школе. Как часто я вижу себя, вдохновленного, счастливого, в окружении ребят... Милые мои заветные мечты, когда же вы станете явью?

25 февраля.

Сегодня просмотрел фильм «В боях за родную Украину». Потрясающей силы документальный фильм. Все живущие на земле должны увидеть его. Потомкам на тысячу лет передать его. Не словами: дрожью в теле, слезами, ненавистью отвечаешь на увиденное. Вот где действенность силы искусства, его подлинный реализм. Он в этом фильме, в сихотворении «Убей немца», в образе Зои. Она, святая, создала своим подвигом и жизнью исчерпывающий нашу героику образ. Здесь ответ: о чем писать и как писать.

<...>

27 февраля 44.

Был в Гомеле. Город руин. Огромный труд многих поколений уничтожен. А что же даст человечеству следующая война? Новый взрыв ненависти? Вот она, фантазия Уэллсов, воплощенная в действительность. Сколько же страдания перенесено здесь? Чье перо, чья кисть, какое искусство отразит выстраданное, испытанное человеком за эти годы?

<...>

29 февраля.

День отдыха. Представлен к награждению почетной грамотой (четвертой) за образцовое выполнение заданий.

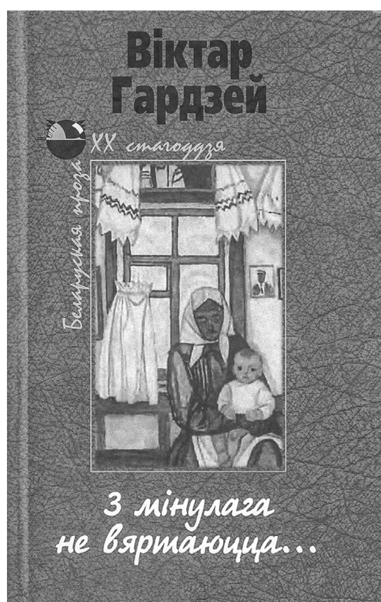
С сегодняшнего дня с товарищем начали изучать английский язык. К стыду, не владею ни одним иностранным.

<...>

Окончание следует.

С точки зрения рецензента

Энциклопедия народной души



Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в прошлом году. В нее включены три повести и шесть рассказов, которые связаны одной темой — темой белорусского села. Произведения глубинно перекликаются друг с другом, и по прочтении книги складывается впечатление, будто произошло знакомство с серьезным, глубоким, добротным романом.

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше неторопливо, смакуя сочный язык, отдавая должное наблюдательности писателя, точности подмеченных деталей *(«Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым ногцем праверыў клёп, пасля з поцягам грукнуў наском па калодзе — праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталёвы голас...»*), искусному вкраплению народной речи, поговорок, присказок, народных примет (*Прыйдзе коза да воза... Які хлебапек, такі і прыпек... Хлеб не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся... Лахачы — прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не пытай: трэба брацца за серп...*).

В произведениях оживают неживые предметы и явления: *«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў сваё халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у расчыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо вельмі ж проста паламаць рысоры ад такога грузу...»* Можно привести и другие примеры: вот плачет береза (*«яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у вокны, і плача — наўзрыд, па-жаночы, не шкадуючы слёз»*), вишня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми ягодами, переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое помнит, знает, *«таму не затрывожыўся, не захваляваўся — ён, здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес прывык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»*.

Через оживотворенную деревню писатель доносит вечные нравственные ценности, суд деревни и суд истории. В повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» деревня Ясенец не прощает предателя, сдавшего фашистам доктора — молодую девушку Дусю: *«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і праўда ў яго баліць*

нага? Ясянец не помніць зла, многае можа дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед». И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непримиримо осуждает предательство: *«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады». «Малое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя спагадлівыя сэрцы»...* Живет, дышит село, не только судит, но и оберегает, и сочувствует, как в повести «Жыта ганьбу не заслоніць»: *«Загор'е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач ей бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы... Загор'е ўмее прымаць сваіх блізкіх людзей... Загор'е, пазбавіўшыся адной бяды, думала цяпер пра Насцю — сплаканую, схуднелую, тоненькую, як чарацінка...»*

После знакомства с гордеевской деревней, наделенной человеческими чувствами сострадания, любви, памяти, судьбы деревень, и чернобыльских, и невоскресших после войны, и погибающих в нынешние мирные дни, вызывают особенно горестно-болезненные чувства. Даже у тех, кто никогда своей настоящей деревни не имел, как я, ибо родилась и выросла пусть и в малом, но в городе.

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о трагедии, нередкой в послевоенное время: гибели ребенка от фашистской мины, — также выражает боль, страх, тревогу, сострадание через одухотворенную природу: *«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася міна — круглае, іржавае пудэлка смерці... Поле зажурылася ў прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела ржавае пудэлка смерці. Але ў поля неставала сілы. Яно стомлена маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі і невярагодным смуткам... Поле прадчувала бяду... Яно хацела зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха Міцьку Дразда...»*

«Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што палатняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка ўжо, блізка куча камянеў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну — круглае ржавае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну».

Не могу представить, что можно написать этот эпизод лучше. Настоящий писатель вырастает из настоящей судьбы, которой не бывает без страданий, испытаний, проверки на прочность, нравственность, духовность, без чего, в свою очередь, не может реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор Гордей сам из послевоенного поколения 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, трудился в районных газетах, т. е. находился в самом центре сельской жизни. Яркие воспоминания из детства, юности, из всей деревенской жизни нашли отражение в его произведениях. *«І нельга ўжо Загор'ю без Пiлiпiхi на агародзе, без Кутчыхі з посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за Геніка і Вольку. Загор'ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор'е жыве і радуецца жыццю...»*

И кажется уже, что и автору повести, и мне, читателю, никак нельзя без Загорья, без Пилипихи, Насти, что это мы живем и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом... своим народом. Счастливо вздыхаем вместе с Ясенцом, глядя, как выходят на сенокос мужчины, крепкие руки которых *«узялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі касіць яшчэ не параспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, разбіваць валкі, сушыць сена і — пахучае, духмянае — складаць у стагі».* Вместе горюем из-за того, что мало осталось в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а многие и вовсе не вернулись с войны, потому остались во дворах нетронутые ярусы обтесанных бревен (приданое к свадьбе), уже почерневших от солнца, дождей и времени; постарели невесты без

женихов, погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить дома, в которых должны были играть и смеяться их дети...

А вот Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: у него есть отец, который заготовил к лету брусы и доски, — и теперь счастливый мальчишка норовит помочь деревенской толоке строить дом, в котором будет жить их семья: *«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака — тут Струкач і Баразна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашулях... Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць круціць дзіркі тэблем, які ен прынёс?..»* Не знает Славка, что за радостью приходит горе, за несчастьем — удача. Многое переживет он и вернется к этому дому с голубыми ставнями немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из прошлого...

Раздумывая над тем, какое заглавие дать этой статье, я перебрала несколько вариантов. Сначала решила назвать «Энциклопедия послевоенной деревни», ведь книга — об этом. Здесь и деревенские свадьбы, зажинки и дожинки, колядки, посиделки, танцы вечерами в какой-нибудь из хат... Автор книги, как самый настоящий «почвенник», хорошо знает жизнь деревни. Для него не секрет, как колосится, набирает силу рожь, как тесно полю в заросших травой межах, как красиво цветет картофель *(«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэтага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах... У такую прыгажосць і ступіць боязна...»*). А вот деревенское лето — оно особое: цветет и бушует, переливается яркими красками, завораживающе пахнет зерном, *«малінаваму лету патрэбны... касцы і жнеі — многа працавітых сялянскіх рук...»*

Но трудолюбивые руки нужны были в послевоенное время повсюду. Разве не восстанавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отечественной войны вот так же, как в гордеевских селах — дружной толокой — не только в каждой деревне, но и в городах? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» — это «Энциклопедия жизни нашей послевоенной Родины»? И все же... И все же чего-то не доставало и в этом названии, чего-то очень важного...

«Энциклопедия народной души»! — вот точное определение книги, написанной Виктором Гордеем.

Сколько сострадания всего в нескольких словах повествования, где говорится о том, как трактор по приказу начальства распахивает картофельные сотки Маньжурии, а это означает, что семья будет зимой голодать: *«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, Стась і Алёшка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна... Якія тут уюны, калі Цімка зімою будзе галадаць...»*

А сколько глубины в рассказе, поведавшем о том, как соседки-подруги сжали полоску пшеницы Антоле, которая загостилась у дочери. Пшеница могла бы перестоять, осыпаться, ведь муж Антоли, инвалид войны, — не работник. Так бы и осталась семья без хлеба, если бы не толока, не женщины, измученные работой, — но этой работой и счастливые, и ею возвышенные! Жадная же, расчетливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливость и презрение.

Есть в книге В. Гордея рассказ о красивой и скромной любви (судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о верности и преданности:

— Святая ты, Насця, — не мяняючы позы, сказаў Хвядос. — Святая, і ўсё тут...

— Гэта я — святая? Смяешся, Хвядос. Ты б спытаў: ці часта я малюся?

— Ды я не пра тое. Беражэш ты сябе. Мусіць, моцна любіла Сямёна, калі і па сённяшні дзень помніш?

Герои произведений не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, шутят, поют, танцуют. Да как танцуют — читаешь, а ноги сами в пляс идут: *«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мелодыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закружылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вымытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма Гаўрылава Ледзя... Танцоры і танцоркі нарабілі столькі грукату, что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах...»*

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную особенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. Стал пить один из героев, отец Славки, после смерти жены:

«— От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы.

Але з бацькам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць позна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне...»

И хоть сочувствием полны строки повести «Дом з блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делаешь вывод: не пил бы, не отобрала бы Лазина у него новую хату. У Антоли из повести «Жыта ганьбу не заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута»: *«Запіваецца дужа... Тут ён у мяне смалы нап'ецца, цытвару наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настачка, не прагаварыся каму. Сорамна»*. И в третьей повести находим юмористический и одновременно поучительный эпизод: корова Подласка напилась браги, которая была спрятана в лесу. Она так опьянела, что, разъяренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозяином, дьяконом Хамицевичем, и чуть не посадила его на рога, бодалась с коровами в стаде, била рогами в деревянные ворота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. (*«То ж не карова, а д'ябал з рагамі, — сказаў узмакрэлы Хаміцэвіч»*). Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно говорит с читателем о душе, о Боге (*«Бога трэба з вялікай літары пісаць. — Скуль ты ведаеш? — Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы за нас — айцец і вучыцель...»*). Автор не единожды цитирует в книге святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчиво приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще у меня сложилось приятное впечатление, что говорить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, буквально о каждой странице, о каждом эпизоде — они этого достойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, о чем бы ни поведал читателю — произведения его светлы, пронизаны высокой духовностью, нежной и тихой любовью.

Я уверена, что детей надо воспитывать именно на таких книгах, как «З мінулага не вяртаюцца», автор которой сумел в том числе изумительно рассказать о великом таинстве, которое когда-то творилось руками наших незабвенных мам и бабушек: *«Б'е з чаленікаў гарачы дух, на ўсю хату запахла аерам. Калі пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягваць боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая ганьба для руплівай гаспадыні. Насця паднялася з услона, і праз хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб — пяць маленькіх сонейкаў...»*

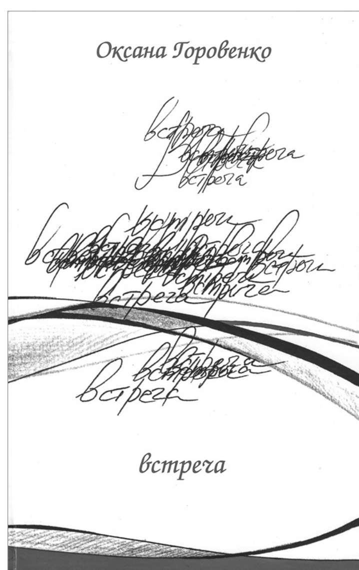
В прошлое можно возвратиться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки книги Виктора Гордея, который по-отечески бережно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков...

Пока прошлое остается в памяти и в сердцах, есть и будущее...

Наталья СОВЕТНАЯ

С точки зрения рецензента

Наедине со всеми



Как известно, поэтами не рождаются. Впрочем, как и солдатами, поварами, инженерами, врачами или даже космонавтами. Судьба и собственная биография выводят каждого из нас на свою, только ему предназначенную стезю земного бытия. Все так!

Но вот держу перед собой новую книжку стихов Оксаны Горовенко под названием «Встреча» (Минск: Кнігазбор, 2013.), кстати, уже вторую по счету, и понимаю, что есть, — наверняка есть! — в жизни этой молодой женщины нечто такое, что уже свыше обусловило ее приход в поэзию. В самом деле! Не рифмованные же поздравления по случаю юбилея коллеги или веселые четверостишия, приуроченные к очередному капустнику на кафедре, подвигли серьезного ученого, занимающегося проблемами международной экономики, кандидата наук, доцента, и прочее, и прочее, уйти с головой в стихи. Однако из забавных хохм и дружеских посвящений не слепишь собственный поэтический мир. Тут одного умения рифмовать мало. Да и просто желания писать стихи, тоже.

Так почему все же люди пишут стихи? Пишут вопреки всему и вся. И время нынче на дворе совсем даже не поэтическое: ушли в прошлое, безвозвратно канули в Лету полные залы (и даже стадионы) благодарных слушателей, трепетно внемлющих живому поэтическому слову. Наверняка и скепсис близких, друзей и знакомых тоже присутствует. Дескать, зачем изводить свои душевные силы (плюс материальные, с учетом того, что обе книги были изданы автором за свой счет) на то, что мало кто заметит, оценит или поймет. Не лучше ли потратить честно заработанные трудовые рубли с большим умом и пользой лично для себя? Дождаться, скажем, положенного летнего отпуска, расслабиться, уйти с головой в приятное времяпрепровождение курортника и просто отдыхающего. А еще лучше, закатиться на какие-нибудь острова, например, на Сейшельские, и просто лежать под пальмой, опасаясь только за то, чтобы не сгореть на тамошнем солнце. Но нет! Нет! Потому что, как написано самой поэтессой в далеком 1988 году:

Умом себя не превозмочь,
Коль сердце есть и сердце бьется!
Чем сердцу бедному помочь,
Когда умом — не удается..?

И вот тут на помощь спешат стихи, всякие и разные, и о разном. Они приходят в любое время дня и ночи (судя по многочисленным пометкам в обоих поэтических сборниках), наплывают на их создателя, словно корабли из заморских стран, ставшие на якорь в гавани авторской памяти, словно сны из далекого и счастливого детства, словно неясные грезы о чем-то высоком, светлом и — увы! — по большей части несбывшемся. Но, как справедливо восклицает Оксана Горовенко в другом стихотворении:

Спешите жить! Спешите быть
Превыше горестей и хворей.

И далее:

Нельзя позволить упустить
Свой шанс реально проявиться;
Писать, ваять, отдать, излить,
И так уйти и — раствориться.

Хорошо сказано! Вообще, когда вчитываешься в стихи Оксаны Горовенко, то не оставляет ощущение некой планетарности ее восприятия окружающего мира, словно поэтесса смотрит на нашу землю откуда-то сверху, то ли с высоты птичьего полета, то ли еще выше, уже с околоземных орбит, на которых сегодня парят первопроходцы освоения космоса.

Каких невидимых границ
В нас достигают крылья птиц,
Когда с земли они взлетают,
А нас бескрылых, отставляют?

Как тут не вспомнить к месту знаменитую реплику Катерины из грозы А. Н. Островского? «Отчего люди не летают? ...Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?»

Но, наверное, все же есть счастливчики, особая каста поцелованных Богом мечтателей, которые летают. Например, поэты. Оксана Горовенко точно из их числа. Впрочем, в ее взгляде сверху нет ни капли самолюбования или желания подчеркнуть, что я, дескать, — не такая, как все остальные, что мне, как пелось в одной детской песенке, «летать охота». Просто так устроена душа Оксаны Валентиновны, таков ее особый поэтический мир, совсем не похожий на мир других поэтов, ее современников и современниц.

Не потому ли на своеобразие этого внутреннего мира обратил внимание покойный Юрий Михайлович Сапожков, всегда очень чуткий к хорошему и полновесному слову? Обратил и даже подготовил к публикации подборку стихотворений Оксаны Горовенко, увидевшую свет на страницах десятого номера журнала «Нёман» за 2012 год. Можно сказать, что Юрий Михайлович стал настоящим крестным отцом молодого автора, выведя ее уже на стезю большой, профессиональной поэзии. Он, кстати, до последнего ревностно следил за творчеством Оксаны Валентиновны, присутствовал на презентации ее первой книги, всегда приглашал к участию в поэтических вечерах и встречах с читателями.

Как призналась в разговоре со мной поэтесса, стихи приходят к ней в самое разное время и в самых необычных местах: на автобусной остановке, в вагоне метро, во время пересменки между очередными парами лекций, но чаще всего — по ночам, когда можно отрешиться от будничных дел с их суетой-маятой и всецело сосредоточиться на высоком. Однако и без этого признания я, прочитав оба сборника, почувствовала, что поэтесса явно тяготеет к поклонению «царице ночи» и сонму ночных светил. Любит она ночь, любит ее строгое молчание и завораживающую тишину, звездное небо над головой, величаво проплывающую в небесах луну. И так проникновенно пишутся ночные строки.

Не могу удержаться и приведу целиком одно небольшое стихотворение, пожалуй, из лучших, если не самое лучшее (на мой вкус, разумеется). Стихотворение называется «Юная».

Трепетно-рассеянная, юная, нагая,
Шла луна, из облака в облако вступая,
Будто бы играя, словно бы смеялась,
Видимой недолго все же оставалась.

Запутавшись в тучах, хмурилась, темнела,
А освободившись — стыла и робела,
Да блуждала взглядом с края и до края
И страшилась утра, тая, тая, тая...

Разве что приписка «2 марта 2012 года, пятница» показалась совершенно неуместной. Зачем привязываться к конкретике, когда берешься рассуждать о вечном, невольно поморщилась я, споткнувшись об эту информацию, более уместную в деловом письме или в финансовом отчете. Хороший редактор подсказал бы, но вот только был ли у этого сборника редактор, как таковой? Или все делал автор, как это ныне водится в самиздатовских книгах? Вопрос!

А вот еще одно дивное посвящение «царице ночи»:

Луна за облаком светилась,
Его сдвигая каждый час,
Она плыла, она стремилась,
Собою увлекая нас,
Нет, не теплом — она не грела,
Но с ней как будто не болело...

На сей раз, я даже простила автору пометку «28 февраля 2012 года, среда, 4.00». Впечатлилась временем озарения: четыре часа утра. Наверное, подумала я, именно в предрассветный час и пишутся стихи такой высокой исповедальности, пронзительные и щемящие, хватающие за живое сдержанным проявлением глубоко спрятанных чувств.

Так есть ли у меня претензии к автору? Да сколько душе угодно! Как говорится в таких случаях, воз и маленькая тележка! Прежде всего, по части редактуры. Внимательное, отстраненное редакторское прочтение очень не помешало бы обоим сборникам. Вот, к примеру, читаю строки: *«Не вопрошай, не плачь, не мучай // Себе души и не страдай...»* Разве нельзя было сказать проще? «Своей души», и все тут! Можно, но для этого нужен свежий взгляд на написанное. У автора, как известно, глаз замыливается, и он порой не в состоянии увидеть очевидное. О тяготении к датам, к излишней детализации времени и места действия я уже упоминала. Разумеется, от этого надо уходить. Тем более, с учетом того, что аннотация, предваряющая книгу «Встреча», сообщает потенциальным читателям, что автор тяготеет к «философско-психологическому осмыслению мира». На таких заоблачных высотах время уже, как известно, теряет свою линейность, а, следовательно, и свой буквальный смысл.

При желании, можно найти и другие огрехи. В чужом-то огороде все изъяны издалека видны, не правда ли? А потом вдруг наталкиваешься на строчки: *«Такая разная любовь, такая разная...»* и сходу прощаешь автору все его несовершенства. Потому что:

«Так каждому свой каждый мил — «любовей» множество...»

Да и то правда! Кто без поэтического греха, пусть и бросает в Оксану Горовенко свои камни. А я, по счастью, прямого отношения к поэзии не имею. Стихи не пишу и даже не перевожу. Я их просто люблю, если они хорошие. А потому с легкой душой и чистой совестью констатирую: встреча с поэтом все же состоялась, и лично мне она подарила несколько очень запоминающихся мгновений.

Что ж, самое время оставить Оксану Горовенко наедине со своими читателями. Уверена, каждый найдет в этих сборниках что-то такое, что ляжет ему (или ей) на душу. Одни умилятся совсем не типичному посвящению, которым открывается первый сборник «Наедине». Обращаясь к читателю, поэтесса восклицает:

Я желаю Вам много счастья! (лучше бы: *всякого счастья*, замечу я в скобках — З. К.)
От семьи и начальства — участья,
Много собственной внутренней радости,
При особой терпимости — благости.

Спасибо! Радость — это всегда хорошо, да и умение видеть хорошее в окружающем мире (та самая благость) еще никому не помешало. А уж когда тебе этого напрямую желает сам автор, то и вовсе замечательно.

Другие читатели удивятся переосмыслению уже собственного твор-

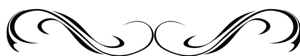
чества. Например, строки из стихотворения Татьяны Шпартовой «Пыль», вынесенные в качестве эпиграфа (Знает ли она сама, что ее стихи уже расходятся на эпиграфы?), дали толчок вдохновению Оксаны Горовенко, а в результате появилось стихотворение, в котором автор проникновенно и с налетом грусти размышляет о былом.

Третьи восхитятся почти акварельному изяществу зимнего пейзажа, словно запечатленного кистью наблюдательного живописца.

Невинно, хрупко, невесомо
Кружат снежинки за стеклом,
Все так привычно, так знакомо
Для них. Им ясно, что потом.

Четвертые... А четвертые, увидев поэтические сборники Оксаны Горовенко, просто не пройдут мимо. Возьмут их в руки, пролистают, задержат взгляд на той или иной странице и неожиданно для себя обнаружат, что слухи о смерти поэзии сильно преувеличены. Жива поэзия, жива! Даже в наше сугубо меркантильное время. И никогда она не умрет. Вот потому-то люди и пишут стихи!

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



Жизнь в искусстве

Пространство белого квадрата

Пока ведутся споры о том, какими будут и будут ли вообще печатные издания в новом тысячелетии, поэт Артем Ковалевский и дизайнер Руслан Найден создали книгу, которая по своему образному воздействию острее и парадоксальнее освоенного новым поколением виртуального пространства.

Телевидение, интернет изначально настроены на передачу объемной информации. Книжная же страница по своей природе плоскостна. Но при мастерском использовании всего только двух традиционных цветов — черного и белого, она может приобрести эффект пространственности. Авторы предлагают читателям визуально-поэтический проект «АКРЫ» (Мінск: Артыя Груп, 2013), который воспринимается в режиме «стерео». Белые квадраты страниц превращаются в оригинальное игровое поле, на котором интригующие своим лаконизмом поэтические строки и даже буквы вдруг прорастают еще более захватывающими визуальными образами. И на уровне подсознания понимаешь, кому посвящен жестко разрезанный железнодорожными путями, рельсами истошный крик «Пуці // мяне, // пуці!»: Ганна К. — та самая Анна Каренина. А потом, еще не прочитав, воспринимаешь колесо и рога, как колядные образы — колесо и коза. А может, это солнце опустилось на землю? Или мы взлетели в небо?

В этой книге есть то, чего не найдешь в виртуальной реальности: живые, осязаемые, чувственные впечатления. Вот отпечаток мизинчика, вот откуда-то стремительно прилетевшая в слово «Воля» буква «я», вот более чем откровенным образом воплощенная «Пясочная // Пяшчота // Пякучых, // Палаючых, // Пануючых, // Пачынаючых // Рук».

Переверни страницу — и уже будешь искать не рисунки среди слов, а слова, буквы среди взрывного рисунка. Авторы будто слегка подыгрывают читателю, предлагают оторваться от книжной страницы, поискать реальный текст на сайте... Но отрываться от книги не хочется. Великая сила минимализма. Не верится, что образы создаются всего белым и черным. Кроваво-красное проявляется лишь однажды.

Стремительная, зафиксированная бегущими, перепрыгивающими через

лужи, отражающимися в них, рассыпающимися в порыве чувств буквами Весна; задумчивая, улетающая облетающими и превращающимися в крылатых птиц листьями Осень; сосредоточенная в одном-единственном окне Зима; Лето, которое «Ляцела // Ля цела // Цяля- // ці»...

И рядом с документально оставшимися в памяти авторов авиабилетом, магазинным чеком вдруг, как вечность, возникает черная страница, черный квадрат, который не пугает, потому что на нем, как в бездонном космосе светит полная луна — буква «о», будто ракета, взмывшая из слова «поўня».

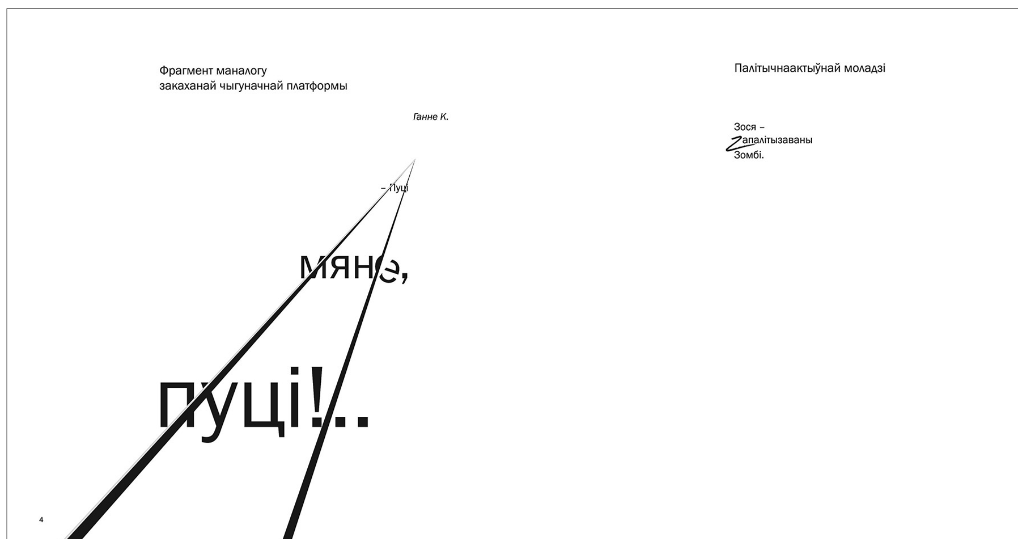
Да, пришло время, когда авторы книг должны и, как доказали Артем Ковалевский и Руслан Найден, могут использовать все имеющиеся образные средства. Иллюстрация призвана жить в единстве с текстом, а шрифт — это целая палитра новых образных средств. Удивительно, но ведь чем больше шрифт, тем, даже читая про себя, мы громче произносим слово. Таким образом, книга «АКРЫ», где некоторые стихи иллюстрированы лишь с помощью изменяющегося размера шрифта, то шепчет, то говорит, то кричит, одним словом — звучит! А в целом воздействует на все чувства. Визуальные игры завораживают, отпечатки пальцев и предметов оставляют ощущение прикосновения, стремительно отломанная половинка валидола пахнет и заставляет почувствовать мятный вкус под языком, прилетевшие в слово «Шопен» ноты и меняющие размер, а значит, и громкость, буквы вызывают слуховые галлюцинации... Есть стихи, которые нужно читать с помощью зеркала, есть стихи-отражения в весенних лужах.

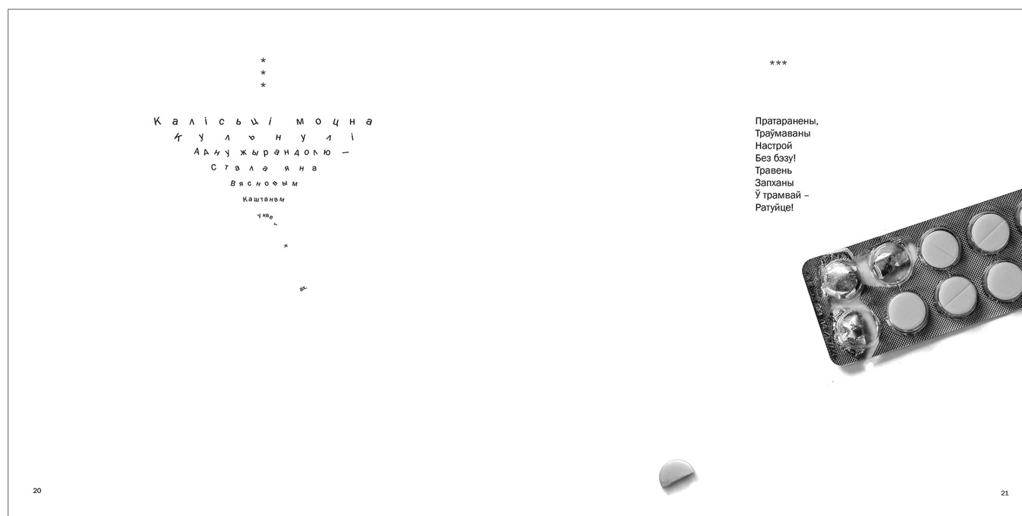
По итогам 2013 года книга «Акры» получила Диплом II степени в номинации «Литформат» Национального конкурса «Искусство книги».

Стоит добавить, что авторы этого уникального издания очень остро чувствуют время. Кроме того, что они занимаются творчеством, оба много лет работают со студентами. Артем Ковалевский преподает в Институте журналистики БГУ, Руслан Найден — в Белорусской государственной академии искусств.

В белом квадрате обложки — затканный алфавитом, черный квадрат. Он будто приглашает нас войти в пространство книги. Чтобы, закрыв последнюю страницу, в углу уже замолкающего того самого черного квадрата замереть в единственном слове, единственной букве — «Я», которая оставила три следа на целине белой страницы, многоточие черных квадратиков, каждый из которых тоже может стать завораживающей вселенной чувств, образов, вечности.

Осознание себя как личности начинается в тот момент, когда человек





переступает грань привычного, начинает творить. Сто лет назад Казимир Малевич, показав миру свой «Черный квадрат», заметил, что «Черный квадрат» не есть конец, а лишь начало новой реальности. Артем Ковалевский и Руслан Найден открыли для нас новую реальность книги, книги третьего тысячелетия, к которой хочется возвращаться снова и снова, чтобы острее ощутить такой манящий и так стремительно ускользающий мир.

Галина БОГДАНОВА

Жизнь в искусстве

Мультфильм в массы, или Забытые сокровища

Белорусские мультфильмы выходят на экраны уже более сорока лет. Но что мы знаем о белорусской анимации и ее создателях? Сотрудники Музея истории белорусского кино ликвидируют пробелы в знаниях и напоминают о наших забытых сокровищах. Очередной сезон в музее начался с презентации масштабного (рассчитанного минимум на два года) проекта «Беларуская мультпанарама. 40 гадоў на экране».

Музей стремится популяризировать белорусское кинонаследие: ретроспективы, киновечера, выставки. Хотя анимации здесь до последнего времени уделялось явно меньше внимания. Дело в том, что из почти 180 фильмов, созданных нашими аниматорами, несколько десятков (особенно начального периода — 1970 гг.) ни в фильмотеке Национальной киностудии «Беларусьфильм», ни в собраниях Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов в Дзержинске, ни где-либо еще на территории Беларуси не сохранилось. Понадобилось несколько лет кропотливых поисков за рубежом (в частности, в Госфильмофонде России) и привлечение спонсорских

средств, чтобы эта проблема наконец была решена. Зато теперь есть реальная возможность познакомиться с важным элементом белорусского кинонаследия в полном объеме.

«Включать в современный культурный контекст все лучшее, что было сделано за вот уже 90 лет существования белорусского кино, так сказать, его «золотой фонд» — наша прямая, главная обязанность, — отмечает директор Музея истории белорусского кино Игорь Авдеев. — Ну, а 40-летие белорусской анимации — отличный повод для особого акцента на одном из главных и ныне весьма результативном направлении деятельности Национальной киностудии «Беларусьфильм», для того, чтобы вспомнить с чего и с кого тут все начиналось, как эволюционировало и к чему в конечном итоге пришло».

Показы «Беларускай мультпанарамы...» организованы в музее по хронологическому принципу. Каждый месяц посетителям предлагают очередную подборку из примерно 10 лент. Главное для сотрудников музея на данном этапе работы с нашим анимационным наследием — представить зрителям все белорусские мультфильмы и одновременно «инвентаризировать» их. Следующий этап — создание разнообразных по жанрам и тематике адресных программ. И, разумеется, ремастирование (воссоздание первоначальных технических характеристик, прежде всего, цвета и звука) большинства наших классических мультфильмов. Насколько ремастирование обогащает просмотр, хорошо заметно на примере ленты «Неудачник» — пока единственного «возрожденного» из фильмов-первенцов белорусской мультокопилки.

Показы мультфильмов в рамках «Беларускай мультпанарамы...» обязательно дополняют творческие встречи с их создателями. Рассказы аниматоров позволяют зрителям представить исторический контекст создания той или иной ленты. При этом зрители не только открывают для себя неизвестные мультфильмы, но нередко и «неизвестных» известных аниматоров, многие из которых по разным причинам оказались вне творческого процесса. Так, как это случилось, в частности, на открытии «Беларускай мультпанарамы...», куда были приглашены (впервые за несколько десятилетий) родоначальники белорусской анимации, режиссеры Владимир Голиков и Марта Лубяникова.

«Наше кино интересно своей своеобычностью, трансформированной в яркие экранные образы, — говорит Игорь Авдеев. — К счастью, наши аниматоры это хорошо понимают. И сегодня престиж Национальной киностудии «Беларусьфильм» в значительной степени поддерживается именно аниматорами (наряду с документалистами), активно и плодотворно работающими в исторически-фольклорном русле,

*Кукольный мультфильм **«Неудачник»** (1972). Поучительная история режиссера-зачинателя белорусской анимации Владимира Голикова о злоключениях мечтающего стать дрессировщиком городского мальчишки, у которого ничего не получается до тех пор, пока он не начинает хорошо учиться.*

если иметь ввиду такие их замечательные работы, как минисериалы «Аповесть мінулых гадоў», «Прыгоды Несцеркі», «Музычная скарбонка», «Беларуские прымаўкі»...

Белорусский мультфильм может удивить и впечатлить не только маленького зрителя, но и взрослого, искушенного. Наша анимация начиналась с фильмов, рассчитанных на восприятие ребенка, а потом и сама стала расти, как ребенок, который стал задавать все более и более серьезные вопросы. Возникли целые серии мультфильмов на «взрослые» темы.

Игорь Авдеев рассказывает о «Беларускай мультпанараме...»: «Часть зрителей приходит поностальгировать, заново пережить свои детские впечатления. Или открыть непреходящий эмоционально-нравственный потенциал «старых мультиков» своим детям и внукам. Часть зрителей — достаточно молодых — приходят из любопытства. И в этом случае нам, конечно, очень важно почувствовать, узнать, сохранили ли наши классические мультфильмы свою актуальность для них, белорусов XXI века, или они принадлежат только своему времени. К нашей нескрываемой радости, в большинстве случаев отзывы благожелательные».

Здесь особо следует отметить, как внимательно сотрудники музея относятся к своим посетителям. При входе на видном месте — изрядно потрепанный журнал отзывов и предложений, записи в котором напрямую влияют на структуру ретроспектив и других профильных мероприятий. Не успевшие на репертуарные показы зрители могут посмотреть фильм (даже в одиночку) в удобное для них время (и не раз) в небольшом видеозале. В работе музея активно используются такие формы как «Сеанс по подписке» и даже «Сеанс для двоих»...

«Если внимательно почитать подшивки газет за 70—80 годы прошлого века, — вспоминает директор музея, — то в разделе «Письма читателей» можно встретить ряд таких, авторы которых негодуют по поводу отсутствия даже в Минске хотя бы одного кинотеатра, где можно было бы в удобное время в удобном режиме посмотреть их любимые фильмы 1930-х, 1940-х, 1950-х годов. Создание и деятельность нашего музея, который вполне можно считать ретро-кинотеатром, — прямой ответ на этот общественный вызов».

Музей истории белорусского кино возложил на себя непростую, но благородную миссию: стал для своих

***«Ладья отчаянья»** (1987). Экранизация одним из самых известных белорусских режиссеров-аниматоров Олегом Белоусовым повести классика нашей литературы Владимира Короткевича — романтической легенды о борьбе со Смертью. Режиссер и его постоянный соавтор — талантливый художник Вячеслав Тарасов, создавали этот фильм под очевидным влиянием творчества Сальвадора Дали, определившим пластическую символику ленты: смерть — это летучая мышь или прекрасная девушка; на экране доминирует фактура сухой, выжженной земли; ладья плывет не по реке, а по песку...*

***«Просветленная ночь»** (1988). Притча о человеке, который не сумел реализовать себя, не устоял перед испытаниями жизни и променял реальные ценности на воображаемые. Дебютная работа режиссера-аниматора Александра Ленкина, созданная посредством экспериментальной технологии — совмещением натурных кадров и игры живого актера Владимира Грицевского с последующей покадровой дорисовкой, использованием кукол-марионеток, в результате чего картина обрела необычную пространственную объемность и глубину.*

посетителей проводником в богатейший мир кинематографа, так сказать, в обратноисторической перспективе. «Заслуженному зрителю» он дает бесценную возможность вновь пережить букет положительных эмоций, испытанных 50 и более лет назад от первого просмотра шедевров мирового кинематографа. Молодому зрителю — наглядное представление о том, что мир кино, его возможности и богатства не ограничиваются чередой киноприключений в жанре фэнтези, заполонивших современный экран. Но самое важное: за последние 10 лет своей работы музей реанимировал множество «забытых киностраниц» истории белорусского кино. Проект «Беларуская мультпанарама. 40 гадоў на экране» — красноречивое тому подтверждение. Наряду с другими ретроспективами и ретропрограммами, которых сотрудники музея ежемесячно готовят от 3 до 5, новый проект уверенно протаптывает тропу к зрителю разного возраста. Потому что язык кино не имеет возрастного ограничения, он доступен и универсален. Он способен подарить незабываемую магию впечатлений каждому, кто лишь раз взглянет на киноэкран.

Ольга ЛИТВИНЮК

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

МОЗГО Владимир Минович. Родился в 1959 г. в г. п. Зельва Гродненской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, публицист. Автор ряда книг поэзии, многие стихотворения из которых положены на музыку. Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси и Литературной премии «Золотой Купидон». Живет в Минске.

ИВАНОВ Александр Николаевич. Родился в 1956 г. в д. Самойловичи Березовского района Брестской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор многих очерков и рассказов. Публиковался в журналах «Нёман», «Наш современник» и др. Главный редактор районной газеты «Маяк». Живет в г. Береза Брестской области.

ШПИЛЬКА Тадора (Бородуля Татьяна Васильевна). Родилась в 1977 г. в Минске. Окончила Институт современных знаний им. А. М. Широкого, исторический факультет Белорусского государственного университета. Автор книги стихов «Дуэль паглядаў». Живет в Минске.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новинки Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

ДЁРРИ Дорис. Родилась в 1955 г. в Ганновере (Германия). Окончила двухгодичные курсы драматического отделения UniversityofthePacific в Стоктоне (Калифорния), училась в Нью-Йорке в Новой школе социальных исследований и в Университете телевидения и кинематографии в Мюнхене. Кинорежиссер, сценарист, прозаик. Сняла около тридцати фильмов и выпустила шестнадцать книг. Живет в Германии.

ЛЕЕБ Хельга. Родилась в 1934 г. в Мюнхене (Германия). Окончила школу журналистики. Автор нескольких книг, среди которых «Старый дом и одни приятные люди», «В то время всегда было лето», «Истории про Джонатана», «Баско и его люди» и др. Живет в Германии.

ВОМАН Габриэла. Родилась в 1932 г. в Дармштадте (Германия). Изучала германистику, англистику, романистику, музыковедение и философию. Автор более 100 произведений: рассказы, романы, стихи, пьесы, сценарии, эссе. Самые известные из них — романы «Паулинхен была дома одна», «Звуки флейты». Живет в Германии.

РЕБЕР Сабина. Родилась в 1970 г. в Берне (Германия). Окончила Фрайбургский университет по специальности «Журналистика и теория коммуникации». Автор многих рассказов, стихотворений, романов, сценариев для радиопостановок. Живет в Швейцарии.

ШНИЦЛЕР Артур. Родился в 1862 г. в Вене (Австрия). Окончил Венский университет. Крупнейший представитель венского импрессионизма. Автор многих рассказов, повестей, романов, пьес. Проза и особенно драматургия Шницлера приобрели широкую известность, были на протяжении XX века многократно экранизированы. Умер в 1931 г. в Вене.

НИЛЬСЕН Йенс. Родился в 1966 г. в Дании. Получил актерское образование в Цюрихе. Основал театральную труппу под названием «Машина ангелов». Свободный писатель и актер-исполнитель собственных текстов. Живет в Цюрихе.

ЦЗО Ли. Родился в 1957 г. в Пекине. Окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Поэт, переводчик. Публиковался в периодических изданиях разных стран, автор нескольких книг переводов. Преподает китайский язык в Белорусском государственном университете. Живет в Минске.